Новый Журнал

90

THE NEW REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1967.

2. Title of Publication—The New Review.

3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025; Managing Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; President, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York, N. Y. 10025; Secretary, Prof. Zoya Yurieff, 46-04 196th St., Flushing, N. Y. 11358; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York, N. Y. 10032.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.

9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Names and addresses of individuals who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or holder of bonds, mortgages or other securities of the publishing corporation have been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securities of the publishing corporation.

10. Extent and Nature of Circulation.

		Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Single issue nearest to filing date*
A.	Total No. copies printed	1550	1700
B.	Paid circulation		
	1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	400	420
	2. Mail subscriptions	1050	1062
C.	Total paid circulation	1450	1482
D.	Free distribution/including samples/by mail, carrier or other means	50	60
E.	Total distribution/sum of C and D/	1500	1542
F.	Office use, left-over, unaccounted spoiled after printing	50	158
G.	Total/sum of E & F—should equal net press run shown in A/	1550	1700

I certify that the statements made by me above are correct and complete.

Roman Goul, Managing Editor

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать шестой год издания

Кн. 90 НЬЮ ИОРК 1968

Ввиду повышения типографских расходов корпорация "Нового Журнала", к сожалению, вынуждена с 1968 года повысить подписную плату с 9 дол. на 10 дол. (за 4 книги в год) и с 2 дол. 50 ц. на 3 дол. за отдельную книгу.

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ

СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, March 1968
Quarterly, No. 90
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price $10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Н. Ульянов — Сириус 5
Д. Кленовский — Стихи 26
Странник — Упразднение месяца, поэма 29
Л. Алексеева — Стихи 37
Л. Лунц — Путешествие на больничной койке 39
А. Величковский — Стихи 58
Л. Ржевский — Пилатов трех 60
Я. Бергер — Стихи 81
Г. Адамович — Оправдание черновиков 83
И. Одоевцева — Стихи 96
О. Ильинский — О поэме А. Белого «Первое Свидание» . . 98
И. Чиннов — Стихи 112
Л. Зуров — Дон Аминадо 114
И. Елагин — Стихи 121

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Т. Алексинская — 1917 год 124
Воспоминания А. Д. Нагловского 148
К. Кромиади — Последний рейд 177

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

К. Павлов — Шолохов и КПК 194
Н. Тимашев — Как возникают войны 205
Д. Кончаловский — Советские вузы и студенчество . . . 212
Д. Вайт — Военное обучение в школах СССР 236
В. Ледницкий — Почему Пушкин не окончил «Египетские ночи» 244
Н. Валентинов — О русском мессианизме 256

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

Б. Унбегаун — Андре Мазон 265
Ю. Иваск — В. Л. Пастухов 269

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Обращение сов. литератора Ю. Мальцева к У-Тану . . . 271
П. Лапикен — Неологизмы Карамзина 278
Р. П-в — Заметки 279
Н. Ельницкая — Алые паруса 282

БИБЛИОГРАФИЯ:

С. Пушкарев — Записки русской академической группы в США. *Т. Петровская* — **Requiem. A. Ahmatova — Marie Under.** *Н. Ильинская* — **Art Treasures of Russia.** *В. Завалишин* — М. Булгаков. Мастер и Маргарита. *Ю. Иваск* — Новелла Матвеева. Душа вещей. *Л. Земельс* — **E. Lyons. Worker's Paradise Lost.** *Г. Мотолянец* — **P. Debreczeny. N. Gogol and His Contemporary Critics.** Книги для отзыва . . 285

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

СИРИУС*

К Пскову подошли вечером, после семи часов. На перроне губернатор, начальник пограничной стражи, какие-то военные и штатские.

— Откуда наскребли таких? — пробормотал Штакельберг.

Он и его коллеги сразу заметили, что государя собираются встречать не по царски.

Пока отводили свитский поезд, чтобы освободить место для императорского, чины свиты вступили в разговор с собравшимися. Им отвечали коротко, неохотно. С шумом подкатил поезд из Петербурга. Приехавших оттуда расспрашивали, но ничего особенного не узнали. Одна только новость. Ее поведал пожилой господин чиновничьего типа. Он был свидетелем разгрома особняка графа Фредерикса на Почтамтской улице.

До сих пор, революция была отвлеченным понятием, полицейским случаем; ее не переживали лично. Теперь она стала ощутимой.

Часам к восьми возникли в темноте желтые глаза. Царский поезд приближался робко, с опаской. Окна занавешены, лишь местами пропуская иглы света сквозь щели.

Кто-то торопливо выскочил на платформу, за ним двое конвойцев. Спустили обитую ковриком лестницу. По ней сошел дежурный флигель-адъютант и направился навстречу генералу Рузскому, шедшему со своим начальником штаба генералом Даниловым и адъютантом графом Шереметевым. Рузский в очках, худ, строг, походил на ученого скворца из детской сказки.

---

* См. кн. 43 и 88 «Н. Ж.».

Copyright by The New Review.

— Ваше высокопревосходительство, не откажите предварительно пройти к министру двора, — проговорил флигель-адъютант, взяв под козырек.

Из открывшейся двери пахнуло теплом, светом и запахом будуара.

— Не обвиняйте нас, граф, за отсутствие почетного караула. Приезд государя явился полной неожиданностью, не было времени приготовиться. Строевых частей в Пскове нет, а вызвать их с фронта трудно в такой короткий срок.

— Да, да, — ответил Фредерикс, — мы уже это знаем. Его величество останется в вагоне и на платформу не выйдет. Сейчас я пойду предупредить государя о вашем прибытии.

Пока граф отсутствовал, свита установила, что лицо у главнокомандующего Северным фронтом — зеленовато-бледное, очки, как у волостного писаря, не смотрит в лицо, когда здоровается и, разговаривая, не умеет скрыть воспитанную за последний год неприязнь боевых генералов к придворной знати.

— Дрянь, мужичишка, — пробормотал Нилов. — Так встречать царя и верховного главнокомандующего! Да еще калоши надел...

— Ну, вот мы и во Пскове, опираемся на фронт генерала Рузского, — язвительно прошептал Воейков Дубенскому.

Через несколько минут Рузский с Даниловым были приглашены к государю.

Со времени приездов царя в Барановичи, ни Рузский, ни Данилов не бывали в царском поезде и теперь, войдя в отделанный зеленоватым шелком салон, в котором получали, когда-то, боевые награды из рук императора, испытали волнение. Государь встретил их в темно-серой черкеске, с поясом и кинжалом, украшенными кавказским серебром, рассказал, как его поезд был задержан в Малой Вишере и как он решил повернуть на Псков, в надежде пробиться отсюда в Царское Село. Потом он попросил сделать ему короткий доклад о положении дел на Северном фронте, сказал что ждет сюда председателя Государственной Думы, чтобы узнать от него подробности о положении в Петрограде.

— Некоторые сведения по этому вопросу и мною полу-

чены из Ставки, — проговорил Рузский, — угодно ли вашему величеству выслушать их?

— Хорошо. Доложите их мне после девяти часов сегодня.

Когда генералы вернулись в свитский салон, обергофмаршал князь Долгорукий передал им приглашение к обеду. Подошел Дубенский.

— Ваше высокопревосходительство, все просят уделить хоть несколько минут для разговора.

— Но меня ждет множество телеграмм и сообщений.

— Может быть, вы поручите их Юрию Никифоровичу? Граф очень просит не отказать.

Поколебавшись с минуту, Рузский согласился. Когда он сел на диван, его обступили. И опять не понравились всем его очки в простой никелевой оправе.

— Ваше высокопревосходительство должны помочь, — начал Фредерикс, — к вам направился его величество, когда узнал о событиях в Петрограде.

— О какой помощи вы говорите, граф?

— Силою обстоятельств вы поставлены вершителем судеб трона и государя.

— Я сделаю все, что прикажет его величество, но вы сами видите, как далеко зашли события. Мне предстоит доложить сегодня государю такое, что опасаюсь, как бы это не легло на него чересчур тяжким бременем.

Нилов многозначительно посмотрел на своих.

— Конечно, — продолжал Фредерикс, — какую-то дань событиям придется заплатить, но надо помочь государю с честью выйти из трудного положения.

Рузский помолчал, строго блеснул очками.

— Известно ли вам, господа, что в Кронштадте начинают убивать офицеров? Убит адмирал Виррен, начальник порта.

Главком и сам не предполагал силы своих слов. Все онемели. Потом бросились умолять:

— Что же делать? Вы видите мы стоим над пропастью... На вас вся надежда!

— Странно, в такое время, придавать значение одному

человеку. Что я могу? Надо было раньше думать и не доводить до катастрофы...

— Но почему же, непременно, мы довели?

— Вы ближе всех к трону и к государю. Ваши советы и ваше влияние...

— Вы ошибаетесь. Государь никогда не слушал наших советов, да мы и не решались обращаться с ними к его величеству.

— Но неужели вы не считали губительной всю эту историю с Распутиным?

— Я никогда не был сторонником Распутина, — начал Фредерикс, — я его не знал...

— А я, — вставил Нилов, — впал в немилость у ее величества за то, что в Севастополе прогнал его с царской яхты, куда он явился.

— Все это так, господа, но гнусные сплетни шли из дворца в петербургские салоны, в гвардию, в войска, в народ и никто не решился сделать представление государю о страшной опасности такого положения.

— Да разве вы не знаете, что государь уволил нескольких министров, дерзнувших сделать такое представление?

★

Обед длился не долго. Государь спрашивал, какая погода во Пскове и не начал ли уже таять на улицах снег? Рузский отвечал, что днем была некоторая оттепель и кое-где были лужицы, но к вечеру опять подмерзло. К этому Данилов прибавил, что дня через два, вероятно, сани будут заменены колясками и телегами.

— Я вас жду, Николай Владимирович, через час, — сказал государь, вставая из-за стола.

Генерал отправился к себе, подготовить бумаги для доклада и выслушать сводку известий с фронта. Час спустя, он был снова в царском поезде.

Повстречав Воейкова, попросил доложить о себе государю.

— Да, да, я сейчас распоряжусь, — сказал Воейков и ушел, оставив главнокомандующего в коридоре.

Простояв десять минут у окна перед пустынной платформой, генерал забеспокоился, прошелся несколько раз взад-вперед по коридору. Временами двери купэ открывались и оттуда выходили люди, недоуменно посматривая на прогуливающегося главкосева. Рузский начал терять терпение. Если государь не может принять его сейчас, то могли бы сказать об этом, а не заставлять его ждать в коридоре под оскорбительными взглядами придворных. Прошло еще десять минут.

— Где же, наконец, ваш дворцовый комендант? — спросил он проходившего офицера железнодорожного полка.

— Я полагаю, ваше высокопревосходительство, он у себя в купэ.

— Как в купэ? Ведите меня к нему!

Он, действительно, застал Воейкова за развешиванием каких-то фотографий по стенам.

— А, ваше высокопревосходительство, пожалуйста, садитесь. Хотите чаю или сигару? Устраивайтесь где удобнее. Вот я не могу справиться с этой рамкой, все криво висит.

— Рамка?.. Криво висит?.. Жаль не увидите, как сами будете висеть через день-два, когда нас всех схватят!

— Не пугайте, ваше высокопревосходительство. Да и что за причина такого гнева?

— Как что за причина? Разве я не по вашей милости битых полчаса жду приема, а вы, повидимому, даже не изволили доложить обо мне государю!

— Осмелюсь заметить, что докладывать не моя обязанность. Я велел сказать камердинеру и удивляюсь, почему он до сих пор этого не сделал и не позвал вас.

Лицо Рузского из бледнозеленого стало фиолетовым. Он поднял очки к покрашенному свинцовыми белилами вагонному потолку и прохрипел:

— Вот оно наше возмездие!.. Чиниться и погрязать в тонкостях этикета перед лицом таких событий!.. Да неужели вы не понимаете, что государю придется, может быть, сдаваться

на милость победителей, а люди, обязанные живот за него положить, курят сигары и развешивают картинки!

Воейков побледнел и молча повел генерала в царский вагон. Вернувшись, он вошел прямо к Долгорукому.

— Итак, на милость победителя!..

— Что такое?

— Рузский считает, что у государя нет другого выхода, как сдаваться на милость победителя.

— Как это понять?

— Как на войне понимают.

Когда весть об умонастроении главкома Северного фронта облетела поезд, свита пришла в необычайное возбуждение. Говорили о том, что государя надо изолировать от опасного влияния Рузского.

— Убить! — кричал Нилов. — Арестовать и убить! В этом единственное спасение!

Доклад длился долго. Доложили о прибытии генерала Данилова. Не успев войти в свитский вагон, он попросил немедленно вызвать главкосева, ввиду только что полученных важных известий. Его обступили.

— Скоро все узнаете, господа, а пока могу сообщить только, что полученная на имя государя телеграмма, очень важная.

— Ну, ради Бога, хоть что-нибудь скажите!.. Откуда она?

— Из Ставки верховного главнокомандующего, от начальника штаба.

Она касается положения на фронте?

— Нет, исключительно внутреннего положения.

Тихо ли в армии?

— И тихо и не тихо.

— Бросьте говорить загадками, Юрий Никифорович. Неужели вы не понимаете нашего состояния?

— Очень хорошо понимаю, но не толкайте меня на служебное преступление.

— Скажите одно только слово — грозит она личности государя императора?

— Нет, но она может повлечь большие перемены... Дело

зашло слишком далеко и нужны будут уступки для взволнованных умов...

В это время вошел Рузский и приняв телеграмму от Данилова попросил его выяснить на телеграфе час, когда можно будет разговаривать по прямому проводу с председателем Государственной Думы. Данилов удалился.

— Большие перемены... Уступки для взволнованных умов... Что же это, как не конституция?.. Но при чем здесь Ставка и генерал Алексеев?

— Я всегда говорил, что он порядочная лисица, — ввернул Воейков, — вот увидите какие от него художества будут. Вспомните его переписку с Гучковым.

Пробило двенадцать, а главкосев все еще не выходил. Чуть не в полночь пришел снова Данилов с известием, что гарнизон Луги перешел на сторону восставших и путь на Царское Село отрезан.

★

Государь в эту ночь почти не спал. Поднялся и оделся в шесть часов.

— Молились, стоя на коленях около кровати, патрет наследника взяли, целовали его и, надо полагать, много слез в эту ночь пролили, — шептал Воейкову Тетерятников.

В начале десятого, по платформе прошел к царскому вагону Рузский с адъютантом Шереметевым. Пробыл около часа. После его ухода стало известно, что во Псков едет Родзянко для переговоров.

Государь позвал к себе лейб-хирурга Федорова. Тот вышел от него в слезах и сказал, что разговор шел о болезни наследника.

— Мне кажется, государь спрашивал о ней неспроста.

Дубенский записал о прозвучавших шагах судьбы, но зачеркнул. Написал о роке и тоже зачеркнул.

— Не выходит? — хмыкнул Нилов.

— Это уже не летопись войны, а летопись революции, — проговорил Дубенский, — а она труднее.

Чтобы развлечь как-нибудь Фредерикса, удрученного из-

вестием о разорении его дома, он уговорил его съездить с ним в город посмотреть собор и Паганкины Палаты. Все одобрили такое решение и после одиннадцати старый граф с генералом отправились на извозчике в Кремль.

Полозья саней, местами, скрипели по булыжникам, выступавшим из-под ледяной корки. Пахло весной, оттаивающим конским навозом, печеным хлебом, как в деревне. Для министра двора его императорского величества Россия была — Александровский дворец, конногвардейский манеж, яхта «Штандарт», царский поезд. На псковских улицах он казался себе гомункулюсом, вынутым из реторты и попавшим в чужой странный мир. Какие-то деревянные домики с палисадниками, огороды, грачи, оборванные дети. Только в центре города пейзаж стал более городским. Присутствие Ставки Северного фронта чувствовалось по большому количеству военных и по разряженности местных красавиц. Они кокетливо улыбались, когда ехавшие на извозчиках офицеры элегантно отдавали им честь.

— А где же вече? — спросил граф, припоминая уроки русской истории.

— Я думаю, оно собиралось на Ярославовом дворе, ваше сиятельство, — ответил Дубенский и покраснел. Тут же вспомнил, что Ярославов двор не во Пскове, а в Новгороде.

Но граф уже не думал о вече, он смотрел на тихо трусившую лошадку, на ласковое подхлестывание кнута и понял, как он стар и как странно прошла жизнь. Почему это все в один голос твердили, что счастливее, чем у него жизни нет? Но глядя на невозмутимую фигуру извозчика на козлах, слушая его почмокивание и понукание, он почувствовал, что чего-то многого недоставало ему в жизни. Остановились перед Троицким собором.

— А где же Кремль?

— Мы в Кремле, ваше сиятельство.

Граф посмотрел на неправильную линию грудой сваленных камней-валунов и понял, что это остатки древних стен, спасавших когда-то вечевую республику от врагов.

Собор пуст. Кое-где перед образами трепетали лампады. У дверей продавались свечи и стоял церковный сторож. Сюда

заходили часто чины Ставки Северного фронта, чтобы отслужить панихиду по родным или друзьям убитым на войне. Когда вошли Дубенский с Фредериксом, сторож и у них спросил, не желают ли они отслужить панихиду? Граф побледнел. Он утешал себя мыслью, что хотя дом его разграблен, но больная жена перевезена в госпиталь и — в безопасности. Так его заверили. Теперь предложение сторожа показалось зловещим, всколыхнув страхи и опасения. Дубенский это заметил и чтобы не дать разрастись волнению, поспешил направить мысли графа в иную сторону.

— Нет, братец, нам нужна не панихида, а молебен о здравии.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Сторож шепнул что-то маленькому служке, очутившемуся подле него и тот мигом исчез. Только тут Дубенский вспомнил, что Фредерикс не православный, а протестант. Это часто случалось с чинами свиты. Видя его на всех торжественных богослужениях вместе с государем, многие забывали о его протестантизме.

— Ради Бога, простите, граф. Я, кажется, оказал вам неуместную услугу.

— Ах, нет, нет, дорогой мой! Очень хорошо.

Пока они осматривали собор и пышный иконостас, уходящий под небеса, явились откуда-то священник с псаломщиком и несколько человек певчих. Начался молебен о здравии болящей, скорбящей и недугующей рабы Божией Эмилии и об избавлении ее от всех бед и напастей.

Граф стоял, как статуя, ни разу не перекрестившись, зато Дубенский молился усердно и стал на колени, когда хор, взывая к небесным архистратигам, молил: «кровом крил невещественные вашея славы, сохраняюще ны припадающия прилежно и вопиющия от бед избавите ны яко чиноначальницы вышних сил».

Отправляясь обратно на вокзал, граф искренне благодарил Дубенского за тот мир и тишину, что внесли в его старческую душу торжественный язык богослужения и стройное православное пение. Ему уже неприятно было, вернувшись в поезд,

слушать толки о том, что Родзянко не будет, а будут Гучков и Шульгин. Из окна свитского салона он увидел, как прошел опять Рузский в царский вагон и как Нилов потряс ему вслед кулаком.

— Сова проклятая! Уж посеет нам этот главкосев такое, что не пожать будет!

Боже мой, как я устал! — прошептал Фредерикс.

★

Дворцовый комендант заметил, что каждый раз, когда он уходил из поезда от страшных дум и разговоров, на платформе ему неизменно попадался стройный офицер, пристально смотревший на него. На этот раз он смело подошел, взял под козырек и щелкнув каблуками отрапортовал:

— Лейб Бородинского полка поручик Чехов, командированный для связи в штаб Северного фронта.

— Что вы хотите?

— По роду службы, я имею честь быть в курсе всего здесь происходящего и мне известно трудное положение, создавшееся для его императорского величества. Соблаговолите выслушать мои соображения. Мне кажется, еще не потеряно время для спасения трона и государя.

При молодости и ничтожном чине, такая речь была дерзостью. Она до того ошеломила дворцового коменданта, что он чуть не выронил сигару изо рта. Стоял, не зная что сказать. А поручик, не получив ответа, продолжал:

— Государю надо немедленно прекратить переговоры с Думой, покинуть Псков и ехать в Царское Село. По пути забирать все оставшиеся верными воинские отряды. Необходимо успеть перехватить дворцовую охрану, конвой и те части царскосельского гарнизона, что не перешли еще к восставшим. Взять от генерала Иванова Георгиевский батальон. Все это даст возможность действовать против Петрограда. Нужна быстрота и решительность.

Лицо у него красивое, с твердо вычерченными линиями, ни в чем не сомневающееся, все знающее, на все готовое.

— Гм!.. Вы смелы, поручик.

— Смелость, ваше превосходительство, единственное что еще может спасти нас.

Опять «нас», задело дворцового коменданта, как явное амикошонство. Под «нами» он разумел не всякого.

— Вы забываете, поручик, что путь отрезан. Лужский гарнизон изменил государю императору, железнодорожники тоже не на нашей стороне, а воинской силы у нас нет.

— Ничего не значит, ваше превосходительство. Здесь, во Пскове, я обязуюсь набрать две-три сотни хороших солдат, да сотню офицеров; есть один блиндированный автомобиль, три орудия... Мы их поставим на открытую платформу. Железнодорожникам так пригрозим, что они не посмеют чинить препятствий, а лужский гарнизон не страшен, он разбежится от первого выстрела. Важно пробиться к Царскому Селу.

— Гм!.. Не пробьемся, поручик, не пробьемся, — бормотал Воейков. — И потом... это означало бы открытие военных действий.

Он вздрогнул. Поручик смерил его взглядом и не отдав чести пошел прочь.

— Вот из таких выходят Наполеоны! — послышался голос Федорова.

Лейб-хирург стоял в двух шагах и наблюдал всю сцену.

— Таких надо отдавать под суд, посылать на передовые позиции! — хрипел побагровевший Воейков.

— А мне кажется, он создан для юзовского периода русской истории.

— Что такое? Какого «юзовского»?

— Того, что переживаем сейчас. Юз властвует над нами, над нашей судьбой. Историки объяснят все хозяйственной отсталостью, недостатком сапог и снарядов, неспособностью генералов и министров, а главного не заметят. Главное — это Юз. Мы перед ним бессильны. Справиться с ним и спасти Россию мог бы только этот — молодой поручик.

Воейков хотел сказать что-то сердитое, но Федоров продолжал:

— Вот когда наша бескрайность и тысячеверстные пространства хватают за горло! От любой французской окраины

до Парижа — несколько часов поездом или автомобилем; у нас — это многие сутки. Когда нужно собственными глазами и ушами видеть, слышать, быстро соображать и решать, место наших пяти чувств заступает телеграфный аппарат. А он врет. Вы не находите, что он врет? Он дает детали, а не всю картину. И у него от страха глаза велики. По Юзу — анархия, крушение власти, катастрофа, а на самом деле, надо, просто, дать хорошенько по морде Родзянко, вытолкать в шею Хабалова, выстрелить на Невском из пушки и всей анархии конец.

Воейков слушал не вникая. Но он встрепенулся, как только Федоров сказал:

— А знаете, кто навел меня на эти мысли? Царский камердинер. Он шепнул мне несколько минут тому назад, что главнокомандующий Северным фронтом принес его величеству целую катушку телеграфной ленты.

★

Главкосев, в самом деле, принес сокрушительную бомбу, которой восставшая Дума бросила в императора. Невыспавшийся, расслабленный просидел Рузский целую ночь возле аппарата Юза. В ушах у него и теперь стоял какой-то птичий диалог, который он вел с четырех до восьми утра, долбя как дятел по сухому дереву — Тук! Тук! Тук! Родзянко отвечал по воробьиному — Чирк! Чирк! Чирк!

Проклятое колесо Юза мерно крутилось, наматывая на вал кошмар за кошмаром. Воробей чирикал про анархию, про бессилие Думы, про невозможность приехать во Псков. То, что он нацарапал на ленте, убедило Данилова, стоявшего все время возле своего плохо соображавшего начальника, что воробей в ужасе от им же самим вызванного подземного духа. Когда дятел простучал о возможной гибели России, если анархия перекинется в армию, воробей чирикнул в ответ:

— Не забудьте, что переворот может быть добровольным и вполне для всех безболезненным; тогда все кончится в несколько дней.

Как только император прочел представленный Рузским текст переговоров, он встал из-за стола и подойдя к окну уставился на шелк занавесок. Генерал тоже поднялся. Стало ясно,

что царя гонят с престола. Уж не парламентского министерства добивались, а отречения.

— Я знаю мысли и желания думских кругов, но этого мне недостаточно, чтобы принять важное решение. Дума никогда не была выражением чувств и пожеланий народа. Существуют силы гораздо более важные. Под моей командой двенадцатимиллионная армия; я больше должен прислушиваться к ее голосу...

Император не успел договорить, как вошел камердинер с серебряным подносом и подал Рузскому конверт. В нем — телеграмма от генерала Алексеева, адресованная всем главнокомандующим фронтами. Наштаверх сообщал, что Родзянко тетелеграфировал ему о невозможности умиротворения страны и продолжения войны без отречения императора Николая II в пользу сына, при регентстве великого князя Михаила Александровича. Сам наштаверх склонялся к тому, что это единственное средство сохранить армию от развала, спасти независимость России и довести войну до успешного конца.

— Если вы разделяете этот взгляд, — писал он, — то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу его величеству, известив меня.

Когда Рузский показал телеграмму государю, у того, как при чтении очередного министерского доклада, не обнаружилось ни малейшего движения в лице. Он только спросил, что теперь делать. Генерал отвечал, что так как Алексеев своей телеграммой вовлек в обсуждение вопроса о судьбе трона всех главнокомандующих фронтами, то сама логика подсказывает ничего не предпринимать до их ответа.

— Да, вы правы, — согласился государь.

Острота минуты, не по Юзу, а по какому-то беспроволочному телеграфу, передалась в свитский салон. Адмирал Нилов места себе не находил. Вечно молчаливый Нарышкин говорил всем, что чует недоброе, а с генералом Дубенским случилась настоящая истерика. Он бросил об пол свою тетрадь и весь задергался в беззвучном плаче. Когда к нему подбежали и начали приводить его в себя, он встал, и не своим голосом прокричал:

— Шапки долой! Российская Империя погибает!

★

В половине третьего Рузский прибыл с Даниловым и с генералом Савичем. Император попросил всех сесть, но сел один Рузский. Данилов и Савич остались стоять. Генералов удивило желание государя начать доклад не с политических вопросов, а с положения на фронте. Рузский в несколько минут сделал краткий обзор военных действий, а потом перешел к сообщениям из Царского Села. Рассказал о слухах, касательно собственного его величества конвоя, будто он вступил в переговоры с Думой и хотел арестовать тех офицеров, что продолжали оставаться верными царю. Сообщил о великом князе Кирилле Владимировиче, шедшем с красным бантом во главе флотского экипажа к Думе.

Генерал Савич едва удержался, чтобы не остановить своего начальника, до того истязательскими показались приведенные им сведения. Не было лучшего средства убить государя. Но у генерала голова шла кругом при виде лица императора спокойного, как на парадных портретах.

Зато у главкосева руки слегка дрожали. Данилов и Савич, как казни, ожидали чтения телеграфных листков, которые держал Рузский. Но главкосев положил их на стол и попросил государя прочесть. То были ответы командующих фронтами на запрос Алексеева. Брусилов, Эверт, Сахаров, вице-адмирал Непенин, командующий Балтийским флотом, в один голос умоляли об отречении, как единственном средстве сохранить армию и довести войну до благополучного конца. Адмирал писал совсем в паническом тоне: — «С огромным трудом удерживаю в повиновении вверенный мне флот... Если решение не будет принято в течение ближайших часов, это повлечет за собой катастрофу с неисчислимыми бедствиями для нашей родины».

С тем же невозмутимым лицом, император обратился к Рузскому:

Ну, а вы, Николай Владимирович?

— Ваше императорское величество, мое мнение не расходится с верноподданническими просьбами главнокомандующих другими фронтами. Я тоже полагаю, что вашему величеству

невозможно принять никакого иного решения, кроме того, которое изложено в их телеграммах.

— Но ведь, что скажет юг и как отнесется к этому казачество?

— Ваше величество, я вас прошу еще выслушать мнение моих помощников. — Рузский указал на Данилова и Савича.

— Хорошо, только прошу быть вполне откровенными.

Данилов так волновался, что пробормотал что-то о любви царя к родине, о жертве, о председателе Государственной Думы и старших начальниках действующей армии.

— А вы какого мнения? — обратился государь к Савичу.

— Я, я... человек прямой... Ваше величество, вероятно, слышали от генерала Дедюлина... Я в полной мере присоединяюсь к тому, что доложил вашему величеству генерал Данилов.

Император прошелся по кабинету и, как в прошлый раз, устремил взор на оконные занавески, точно за ними скрывалась тайна его судьбы. Генералам показалось, что губы его дрогнули и перекосились. Вдруг он круто повернулся.

— Я решился... Я решил отказаться от престола в пользу моего сына Алексея... — Он перекрестился широким крестом. Генералы тоже перекрестились.

— Благодарю вас за доблестную и верную службу. Надеюсь, что она будет продолжаться и при моем сыне.

Севши за стол, он стал писать телеграмму на имя председателя Государственной Думы о своем отречении. Телеграмма начиналась словами:

«Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и для спасения России».

★

— Tout est fini, — сказал Фредерикс, войдя в купэ, где свита дожидалась конца разговора императора с главкосевом.

— Что вы хотите сказать?

— Sa majesté venait d'abdiquer.

Все, как на пружинах, подпрыгнули.

— Владимир Николаевич! — закричал Нилов опомнившись, — да что же вы стоите? Почему не бежите немедленно к государю? Отговорите!.. Умолите!...

— К сожалению, государь уже передал Рузскому текст телеграммы с отречением, — проговорил Фредерикс.

— О-о-о! Убить! Я говорил, что надо убить этого поганого главкосева! Отречение!.. Боже мой!..

— В самом деле, Владимир Николаевич, нельзя ли успеть?.. Попросите государя задержать телеграмму.

Дворцовый комендант отправился в царский вагон и через несколько минут вернулся.

— Государь согласился на возвращение телеграммы, но Рузский мне ее не отдаст. Бегите сейчас же на телеграф и остановите, — обратился он к Нарышкину.

Через полчаса Нарышкин доложил, что телеграмма ушла.

Нилов вышел в коридор, шатаясь, как пьяный. Остановившись у окна, увидел вдруг государя в пластунской черкеске и башлыке, гуляющим по платформе вместе с Лейхтенбергским. Поравнявшись с окном, возле которого стоял адмирал, он весело ему кивнул. Нилова, как взрывом снаряда, отбросило назад, в купэ. Упав на диван, долго не мог слова вымолвить, потом, вскочив, накинулся на Воейкова:

— Так кустарно не отрекаются!.. Это чорт знает что!.. Как будто эскадрон сдал или подал прошение об отставке!..

— Да я то что?

— Как что? Сегодня Рузский и Эверт потребуют, завтра городовой Нестеренко, так что ж, по вашему, этого достаточно, чтобы отрекаться?!..

★

В девять вечера подошел поезд уполномоченных временного комитета Государственной Думы. Он состоял из паровоза и одного вагона. Два солдата с красными бантами выскочили и стали по бокам входной двери. По тому, как они неумело держали винтовки, отдавая честь депутатам, видно было, что это новобранцы.

Гучков и Шульгин, оба в зимних пальто, начали спраши-

вать, как пройти к генералу Рузскому, но полковник Мордвинов пригласил их следовать прямо в царский вагон.

— Да ведь мы с утра из дому... не брились... Нам бы надо привести себя в порядок...

Заметив, что никто не указывает пути к вагону главкосева, что кто-то из сопровождавших их лиц твердит «и так хорошо», решили после короткого совещания идти за Мордвиновым. Сопровождала их большая толпа, неизвестно откуда взявшаяся. Какие-то странные личности, приехавшие вместе с уполномоченными, очень юркие, раздавали листовки, вступали в разговоры с публикой и публика им явно симпатизировала. Под конец, окружив их, она стала кричать «ура».

В царском вагоне уполномоченных встретил граф Фредерикс. Здороваясь с ним, Гучков сказал:

— В Петрограде стало спокойнее, граф, но ваш дом на Почтамтской совершенно разграблен.

Раздевшись, депутаты прошли в салон, куда вскоре пришел Рузский. Нарышкин устроился в углу, чтобы записывать все происходящее, Фредерикс тоже нашел себе место в стороне, Воейков же встал в тамбуре салон-вагона, чтобы следить, дабы никто не подслушал разговоров, но чтобы самому все видеть и слышать.

Ждали государя. Нарышкину очень хотелось записать, как с его появлением электрическая искра пробежала по вагону, как он, остановившись посередине и ни с кем не здороваясь, величественным взглядом обвел окружающих. Но, к огорчению начальника походной канцелярии, царь поступил совсем иначе — вошел без «искры», поздоровался за руку с депутатами и завел обыденный разговор — как они доехали и все ли благополучно было в пути. Гучков отвечал, что при отъезде были некоторые затруднения из-за уличных беспорядков, но в общем, путь до Пскова прошел благополучно.

Император предложил сесть и спросил, что они имеют ему сообщить.

Гучков начал с описания событий последних дней, с народных волнений, с перехода войск на сторону народа, указал на критическое положение думского комитета, который не сего-

дня-завтра может быть оттеснен крайне-левыми элементами и возникшим петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Только немедленные радикальные решения могут предотвратить катастрофу. Он сказал, что приехал от временного комитета Государственной Думы, чтобы сделать предложения, как вывести страну из тяжелого положения.

— Что бы вы считали желательным?

— Отречение вашего императорского величества от престола в пользу наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича.

— Считаете ли вы, что своим отречением я внесу успокоение?

— Другого выхода не существует. О том, что делается в Петрограде, вашему величеству известно, но перед нашим отъездом явились в Думу представители воинских частей Царского Села и объявили о своем присоединении к новой власти. Полагаю, что никакие вызовы войск с фронта не помогут; фронтовики сразу же перейдут к восставшим, как только прибудут в Петроград. Я знаю, ваше величество, что предлагаю вам решение громадной важности и я не жду, чтобы вы приняли его тотчас. Если хотите обдумать этот шаг, мы готовы уйти из вагона и подождать пока вы примете решение, но во всяком случае, все должно совершиться сегодня вечером.

— Я этот вопрос уже обдумал и решил отречься.

Император прибавил, что первоначально был намерен передать престол сыну Алексею Николаевичу, но теперь преемником своим хочет сделать брата Михаила Александровича. На лицах думских представителей обозначилось что-то вроде разочарования. Они не ожидали такого быстрого успеха. Шульгин, скорей с досадой, чем с волнением стал вынимать заготовленный текст отречения. Государь его взял и удалился.

Наступил томительный антракт.

Воейков, покинув свой наблюдательный пост, подошел к Гучкову и стал расспрашивать о столичных событиях. Судьба семьи Фредерикса особенно его занимала, но Гучков ничего о ней не знал. Сообщил одну только подробность, известную всему Петербургу: артист императорских театров Мамонт

Дальский участвовал в погроме и похитил из графского особняка чучела двух медведей, стоявших в вестибюле, с бронзовыми подносами.

— Ваше превосходительство, здесь человек привез вам письмо из Петрограда, — шепнул камердинер Воейкову.

Возле купэ Воейкова дожидался плечистый служака в рыжих усах и железнодорожной форме. Воейков узнал проводника свитского поезда, с которым он часто ездил еще в первый год своего назначения дворцовым комендантом.

Алферьич! Ты как попал?

С думским поездом.

Да как же тебя взяли?

А кто их знает? Некого, видно, было другого... Только, ваше превосходительство, нам сейчас попусту время терять нельзя. Вот вам письмо от ее превосходительства. Как только сказали, что я должен с ихним поездом ехать, я сразу смекнул и помчался к Теляковским. Супруга ваша в добром здоровьи и находится при графине-матери. Очень больна-с графиня... Да вам тут, наверное, все написано. А мне надо бежать, а то как бы не заметили, что я у вас был.

— Постой, постой!.. А что же в Петрограде?

— И-и-и, ваше превосходительство, пером не описать!.. Как есть революция! — Оглянувшись по сторонам, проводник почти шопотом проговорил: — Его императорское высочество-то, Кирилл Владимирович, тоже...

— Как тоже? Что такое?

— Все видели. Говорят, с Родзянкой и с этим, с Гучковым за руку. — Потом еще тише: — Только, ваше превосходительство, помяните мое слово... Как мы ехали сюда, насмотрелся я. Гучков-то с Шульгиным важные такие, дескать, кто мы!.. А в поезд к ним набралось таких, что глаз с них не спускают, в уборную пойдут и то следят. На каждой станции прокламации раздают. Завтра, говорят, народная власть будет, слушайтесь во всем петроградского совета... А про этих, я сам слышал, говорят с ухмылкой: пусть, дескать, поважничают... Ну, я побежал, ваше превосходительство, храни вас Господь!

★

Добрых полчаса ждали выхода государя. Салон-вагон походил на ночное кафэ с одинокими фигурами по углам. Рузский весь ушел в воротник своего мундира, Фредерикс сидел изваянием, только Гучков и Савич, начальник снабжения Северного фронта, разговаривали вполголоса.

— Скажите, генерал, чем объяснить невиданное самообладание государя? Я знаю, что это отличительная черта его величества, но ведь мы присутствуем при исключительном событии, самые крепкие нервы не выдерживают в таких случаях.

— Вам бы хотелось, чтобы государь заплакал?

— Бог с вами! Мне важно убедиться, что события не раздавили его и не приглушили в нем всякую чувствительность.

Все встали. Вошел государь с листом, отпечатанным на машинке, и передал его Гучкову. Тот прочел вслух. В одном месте император предложил выразиться иначе и вставил какое-то слово. Потом Шульгин сделал две-три поправки. Все было внесено в текст и одобрено. В виду могущих быть в дороге случайностей, Гучков предложил составить второй документ — не копию, а дубликат и оставить в штабе главнокомандующего. Царь нашел это правильным.

Конец затянувшейся и всех утомившей сцены заполнен был составлением двух других актов — назначением нового главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича и главы правительства. Думский комитет, по словам Гучкова, хотел бы видеть на этом посту князя Львова и царь тут же написал указ Сенату о его назначении. Когда пришло время прощаться, государь спросил о судьбе императрицы. Два дня от нее не было известий. Гучков заверил, что с государыней все благополучно, больным детям оказывается помощь.

— Что вы мне посоветуете — ехать ли в Царское Село или вернуться в Ставку?

Гучков развел руками:

— По совести, ваше величество, я не знаю какой совет вам дать. Лучше поступите так, как вам подскажут собственные соображения.

Государь протянул руку и они простились. Только у Шульгина и рука, и лицо дрогнули. Он вдруг почувствовал в царе простого, хорошего человека, а все случившееся злом, причиненным гостями радушному хозяину.

Депутаты отправились в вагон генерала Рузского, чтобы там дожидаться пока будет готов акт об отречении.

Сразу все опустело, как после театрального разъезда. В поезде стало тихо, на платформе — ни души.

Откуда-то взявшийся старичек с клюкой вышел на перрон и заковылял вдоль царского поезда. Подойдя к свитскому вагону, где, как Наполеон после Ватерлоо, стоял адмирал Нилов, он прошамкал:

— А что, батюшка, куда поезд-то идет?

— Не знаю, старина.

— Да разве ты не с ним едешь?

— Наш поезд ушел, дедушка...

Н. Ульянов

★

Я, покидая родину, оставил
Десятка два испытанных друзей
И вот, в обход изгнаннических правил,
О них тоскую больше, чем о ней.

Нет, то не люди вовсе — книги были,
Стихи различных качеств, свойств и лет,
И те, которых все уже забыли,
И те, которым смерти в мире нет.

То были книги всех "моих" поэтов,
Порой совсем не из числа больших,
Но честно заслуживших близость эту
Двумя-тремя из всех страниц своих.

Я часто занят в мыслях их судьбою.
Что сталось с ними в дебрях той страны?
И не были-ли просто в дни разбоя
Раскурены они иль сожжены?

Но думаю порой: что если все-же
Из них в живых осталась хоть одна
И чье-то сердце сызнова тревожит,
Потрепана и в пятнах, но нужна!

И кто-то петербургской белой ночью
В мечтах о необычном и большом
Задумается над какой-то строчкой,
Подчеркнутой моим карандашом.

★

Выйдем в сад, его еще нам хватит
На десяток предосенних дней.
Он еще как будто и не плачет,
Только все становится бедней.

Он сегодня нам как раз созвучен,
Он сегодня нам как раз подстать,
Августовской скупостью измучен,
Хочет и не хочет умирать.

Знаешь что? Давай, ему поможем
Все забыть и нищим стать вполне
И костер, большой костер разложим
На его тускнеющей траве.

И туда весь сад мы побросаем:
Ветки, листья, блеклые цветы
И все то, чего еще желаем
Так напрасно оба, я и ты.

★

Не решай рукою правой
Дело наперед,
Той, что всыпет яд лукавый,
Нож подымет для расправы
И в письме солжет.

А сначала в той, что ближе
К сердцу, в левой, в ней
Взвесь все то, чем ты обижен,
Взвесь весов верней.

И тогда твоя быть может
Правая поймет:
Яд отбросит, нож положит
И письмо порвет.

★

Мякоть розовато-золотистая
Свежих фиг на мраморном столе.
В синеватой дымке даль холмистая.
Кипарисы. Полдень. Фьезоле.

Ты уснула, солнцем обессилена,
А в стихотворении моем,
Как ни бился, рифма не осилена
К той строке, где мы с тобой вдвоем.

И зачем ловить неуловимую,
Если в книге радости земной
Ты уже и так, моя любимая,
Хорошо срифмована со мной!

Дм. Кленовский, 1967 г.

УПРАЗДНЕНИЕ МЕСЯЦА*

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА

СВЕТ

Уехал я из Крыма без трагедий.
Был теплый день. Глицинии в цвету.
Я не оставил древнего наследья
В легчайшем севастопольском порту.
Еще я расскажу в своей беседе,
Все, что достойным повести сочту.
Я Странником ушел в моря иные,
Посланником свободы и России.

Нет, я не знал Ахматовой томлений, —
Все как-то проще вышло у меня.
И Севастополь, в радостном цветеньи,
И белой Графской пристани ступени
Сияли светом солнца на меня.
Семнадцать лет мне было... Свет храня
Я вышел в мир, к морям и дням сокрытым,
На корабле России и РОПИТа.

В те дни, как раз, Ахматова смутилась
От г о л о с а утешного. Он звал
В иные страны... Голос тот не знал —
Ахматова страданью обручилась,
В ней Реквием ее уже звучал
И нес ее торжественною силой.
Был Реквием в крови ее лица,
Он вел ее к народам и сердцам.

---

* Мы с удовольствием печатаем отрывок из нового произведения Странника — из большой поэмы «Упразднение Месяца», которая вскоре выйдет в свет отдельной книгой. РЕД.

Историк, запиши себе не малость —
Рождалась наша жизнь в больших кровях.
И мудрость наша верою ковалась,
Переходила в героизм усталость
И озарялся мира тяжкий прах
Одной улыбкой русской на устах.
Любви страна ждала и каждый
Страдал и умирал от этой жажды.

Над хлебной коркой и под коркой льда
Поэты и ученые творили,
А их несли в безлюдье поезда,
Глаза им ели тучи красной пыли.
Молоха одноглазая звезда
Несла народам страх. Душе — бессилье.
Спасалась Русь, как прежде, не парчей,
А восковою тоненькой свечей.

Кто мог подумать, что родная дочь
Диктатора всемирного безбожья,
Скитаясь на ветру средь бездорожья,
Сквозь непроглядчейшую эту ночь,
Увидела, что и она — дочь Божья.
Все так идет, как надо нам, точь в точь.
Таинственно в Москве и многогранно
В октябрьской тьме рождается Светлана.

Отцовство, есть не только путь земной
И продолженье в мире крови алой.
Отцовство, есть и новое начало,
Неиссякаемый любви покой...
И надо, чтоб душа твоя искала
Над близостью земною Свет иной.
Тогда поймешь, — пустое это дело
Класть в мавзолей иль в пирамиду тело.

Мы знаем все, как трудно заменять
Кумира ложного — благим познаньем.
Светлане помогла, в страданьях, мать
Осуществить ее любви призванье:
Прах отряхнуть и бережно поднять
Глаза к незаходимому сиянью.
Не верьте антисталинизму тех,
Кто ленинизма празднует успех.

Я верю много есть еще Светлан
Средь пастбищ русского долготерпенья.
Я счастлив, что такой мне жребий дан —
Светланам возвещать о воскресеньи.
Я нахожу Светлан во всех селеньях,
Им говорю, как Странник, Иоанн.
И в тайнике над каждою Светланой
Я вижу Свет для ангелов желанный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ

Требуются слепые,
Стучавшиеся у всех дверей,
Потерявшие Россию.
Просят придти скорей.
Оканчивается список,
На котором сполна
Всех грешных и павших низко
Написаны имена.
Будет на душах поставлена
Огненная печать.
Всех, кто прожил бесславно,
Просят не опоздать.

СВОБОДА

Длиннот классических я не люблю.
Но есть еще д о м а ш н и е длинноты.
Им хорошо стоять в таком строю
Тяжелых строф, несущих жизнь мою
По мировым пустотам и широтам.
В них жизнь стоит, как мед в хороших сотах.
И все мы ждем, привычкою старинной,
Что наша жизнь должна быть очень длинной.

Нам так легко слона из мухи сделать,
Кота пустейшего купить в мешке,
Что наша мысль к познанью охладела,
Мы все умом копаемся в песке,
О всем мы судим, как то, налегке,
И будто никакого нет нам дела,
Что Ревизор нас всех разоблачит.
И наша совесть, как в гробу, молчит.

Качается и плачет человек
Меж темным своевольем и свободой.
Свободу прославлял афинский грек,
Свобода сделалась французской модой.
Ни в чем не изменился этот век,
И человек все тот же в наши годы.
Свобода расцветает на устах,
Но все за ней стоят еще в хвостах.

Мы о свободе речь давно ведем.
Радищев, Пушкин нам ее воспели.
Свободу люди полюбить успели,
Но не успели с ней побыть вдвоем.
Велик свободы нашей водоем,
И человек глубок, на самом деле.
Свобода хочет от своих детей
Свободы от незнанья и страстей.

Мне кажется суждением этичным
Считать с в о и м лишь то, что ты отдал.
Тут подлинный простор коммунистичный,
Апостольский безмерный идеал
Любви евангельской... Но смертный пал
В свою эгоистичную безличность.
И вот — устроил гоголевский Нос
Из Ковалевых на Руси колхоз.

«Вы призваны к свободе» — говорил
Апостол, утешение народов.
Его слова, как зерна, дали всходы,
Они теперь мерило всех мерил;
Но кто из нас свободу ощутил,
Как от безверья и от зла свободу?
Мы все браним страстей ничтожный прах
И мчимся по нему на рысаках.

Мы месяца себе по мерке ищем,
Свободе и поэзии подстать.
Хороший месяц предложил Поприщин,
«Мартабрь»... Быть может, нам его избрать?
Конечно, критики получат пищу
И не легко нам будет убежать
От возмущенья критиков лихих,
В весенней и осенней форме их.

К каким филологам нам обратиться,
Иль химикам, чтоб формулу нашли
Для месяца свободы?.. Время длится
И годы всё летят — слепые птицы
По древнему лицу моей земли.
Свободе в мире негде приземлиться,
Она должна, как космонавт слепой,
Кружиться и кружиться над землей.

СОБАКИ ДРЕВНЕГО ГОРОДА

По ночам собаки в мире лают.
Стены спят и люди видят сны,
И луна, как радость молодая,
Льется на безлюдье с вышины.
Ждет любовь полнощную отраду,
Кормит жизнь горячей грудью мать.
А собаки лают. Им не надо
Много в этом мире понимать.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЫЛИ

Я поднимаю пыль. И, с каждым шагом,
Я поднимаюсь над землей, как пыль.
Пылятся незабудки по оврагам,
Пылится память, как сухой ковыль.
В глубинах пыли тлеют мира сваи.
Я пылью покрываюсь и грешу.
Пылится все во мне. Я пыль смываю
И снова поднимаю, и ношу.
Но эта пыль уйдет в одно мгновенье,
Настанет чистоты великий час,
И воссияет новое творенье,
И воскресит Господь из пыли нас.
Чудесное от вечности восстанет
И будет вечно близким и живым.
И пыль чудесна — ведь ее не станет,
Она преобразится в звездный дым.

Сдружился я со всей своей землей, —
Прекрасная, отважная планета.
Но многие ли замечают этот
Ее полет над бездной мировой.
Все по своим расселись кабинетам
И каждый превозносит угол свой,
Не понимая связи расстояний
В гармонии и славе мирозданья.

Мы все бредем в пыли своих вещей.
Как мухи, малости нас облепили,
Ничтожности вещей нас обступили.
Душа моя, ну, выходи скорей!
Познай себя и проходи над пылью,
Дыши простором чистым на горе, —
Откроется весь мир перед тобой
И сделаешься ты сама собой.

Как хорошо смотреть легко на всех,
На правых, левых, благостных и строгих.
Нам всем даны и крылья и дороги
И слезы нам даны, и чистый смех,
Иронии, как ветер быстроногой.
Мы — сами авторы своих помех.
Советую, хоть на году двадцатом,
Увидеть в каждом человеке брата.

С младенчества Россию я люблю.
С Америкой сдружил я жизнь мою.
Две с т р а н н о с т и в себе соединяя,
И странно их собою дополняя,
Я Странником себя лишь называю.
И потому не говорю, — пою.
Мне вместо мысли песнь моя дается
У чистых вод российского колодца.

Как Русь, Америка была больна
Войной гражданской. Времена Линкольна
Прошлись тогда по ней довольно больно.
Жестокою была ее война,
И братьев братья били произвольно,
Боролись руки, мысли, письмена.
Но все окончилось пройдя по кругу, —
Честь воздана и Северу и Югу.

Юг проиграл, но он не лыком шит,
Он со своей страною кровью слит.
И Север вспыхнул сердцем благородным,
И — стало прошлое общенародным.
Я верю, что Россия утвердит
Такой порядок выбором свободным.
Без мстительности и без хвастовства
В сады приходит новая листва.

Октябрь прошел. Листва уже другая.
А мы зады все время повторяем:
«Мы — красные», «мы белые»... Цветной,
Мой старый век, что делать мне с тобой!
Никто из нас не дал России рая,
Никто не выйграл с ней последний бой.
О русский, в старых песнях поседелый,
Скажи, в чем к р а с н ы й ты? А ты — в чем б е л ы й?

Пишу я эти строки в сентябре
На берегу смиренного Лемана.
Садится солнце за горою рано
И что то говорит своей горе,
Давая электрической заре
К деревьям плыть из легкого тумана.
И, озарен двоящейся зарей,
Ко мне подходит новых звуков строй.

Швейцария, земной свободы мать,
На красном поле белый крест вонзила.
И вот ее несет святая сила
И не дает ей в мире воевать.
Она все страны мира пригласила
Свободными и маленькими стать
Друг перед другом... Сила возвышенья
Над алой кровью — белый крест смиренья.

Странник

★

Это было — нет, уже не помню дат:
Это было двадцать лет тому назад.
Стих недавно эскадрилий тяжкий гул,
Мир еще не все воронки затянул.
И споткнувшись на пороге перемен,
Наше прошлое дало смертельный крен.
Наш корабль прилег устало на волну —
И пошел со всей поклажею ко дну.
С нами ж дивные свершались чудеса,
Нас небесные спасали пояса, —
И, ненужные ни другу, ни врагу,
Вот, стоим на безымянном берегу.
Все заботы, сожаления и страх
Мы сжигаем на спасительных кострах.
Наша жизнь еще пустынна и вольна,
Наши где-то утонули имена.
Так чудесна бесприютность и легка —
Как несущиеся в небе облака...
Только нас, увы, заметили с земли
И отправили за нами корабли.
Снова вьется муравьиная стезя,
Снова в небо неоглядное нельзя.
И лишь память потаенная остра
О блаженной невесомости костра.

★

Лесопилку бором обступило.
Розовеют россыпи опилок,
Пахнет бревен сваленных кора.
На пенек, из чащи придорожной,
Бурундук взобрался осторожный,
Рыжий горбик для прыжка собрав...

Пожелай себе звериной доли,
О душа, — забудь о прошлой боли
И о той, что зреет впереди.
Стань покойней, зорче и смиренней,
И в потоке солнечных мгновений
Только будь — и ничего не жди.

★

Слетает легкий лист один,
За ним другой и третий тоже, —
Их ветер вдруг освободил,
Но возвратить уже не может.

Летят, потерянно кружась,
Кренясь, взметаясь и вращаясь,
К высокой ветке обращаясь
Еще хоть раз. Еще хоть раз.

Но ветка в солнечном тумане
Над обреченными земле
Все выше, выше, все желанней,
Все невозможней, все милей.

Л. Алексеева

ПУТЕШЕСТВИЕ НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

1 июня 1923 г. я покинул Петербург. За границу! Чтоб по следам тысяч и тысяч предшественников учиться, работать, странствовать, как странствуют все: в автомобиле, в вагоне, в каюте, пешком. Но уже через две недели я начал свое странное, не скажу чтобы веселое: «Путешествие на больничной койке».

Не бойтесь: это не роман (к сожалению), не каламбур, не оригинальничание. Это рассказ человека, который заболел страшной болезнью. Страшной — потому что ее лечат только — покоем и временем. И терпением! А терпения у больного — этот больной я — нет. И вот, гонимый тоской и нетерпением, я бегу из санатории в больницу, из больницы в лечебницу, меняя города, наречия, людей. Из дорогой санатории для иностранцев — в 3-ий класс городской больницы.

Всюду я ищу новых врачей, нового лечения, здоровья. И ничего не видел: ни немецких лесов, ни немецких полей, ни Кёльнского Собора, ни Дрезденских галерей, не был на Гамбургских верфях, не пил пива в Мюнхенской пивной. Одно я видел лучше другого туриста, одно узнал лучше другого здорового путешественника: я видел самого **немца.** Десятки типов прошли мимо меня, стонали рядом со мной, умирали. Приходили

Помещением этой автобиографической вещи покойного Льва Лунца мы заканчиваем печатание его архива (см. кн. 79, 82, 83). Л. Лунц был членом литературной группы «Серапионовы братья», был талантливым писателем, но написал, к сожалению, мало. «Путешествие на больничной койке» — последнее, что написал Лунц. Вещь эта написана им в Германии незадолго до смерти. Л. Лунц скончался в госпитале в Гамбурге 9 мая 1924 г., 23-х лет отроду. Архив Л. Лунца мы печатаем с любезного разрешения его сестры Евгении Натановны Горнштейн и архива библиотеки Иельского у-та, где хранятся бумаги покойного Л. Лунца. РЕД.

ко мне, уходили: домой или на кладбище. Где глубже можно узнать человека, если не в больнице? Чья душа жарче ищет исповедника, как не душа больного? Сосед говорил со мной обо всем: самом святом — о том, как он любил; о самом грязном — о том, как он украл; о самом спорном — о Боге и о кесаре.

Вот почему — не эксцентричности ради — начал я эти «записки путешественника». Может-быть, наряду с морскими, железнодорожными, ауто- и авто-путешествиями, имеет право на печатный станок и мой скорбный вуаяж. Я знаю, что мои наблюдения далеко не полны, быть-может, неверны. Именно поэтому я пишу их: это записки **больного о больных.**

И еще раз не бойтесь: я ни словом не упомяну о своей болезни. Мое личное, черное, тяжелое — остается у меня. Я не отдам его, как бы тяжело оно ни было. Отдаю — чужое, веселое по преимуществу: я много видел немецко-забавного.

Германией ограничиваются пока мои записки. Теперь я еду в Италию. Оттуда наверное дальше. Куда-нибудь. В выздоровление верю плохо. В терпение свое еще меньше. Но все еще надеюсь. И буду менять госпитали, здравницы, медицинские пункты и палаты. На всем свете. Кончится это путешествие, вероятно, — на **том свете.**

1

Когда я ехал в Германию, я знал, что я чем-то болен. Чем-то неважным, пустым. «Немец вылечит», думал я: «на то он и немец».

И немедленно по приезде собрался к немецкому профессору. Но не зная, к какому именно итти, обратился за советом к моим русским друзьям и знакомым в Берлине.

«Как?» воскликнули они: «вы с ума сошли? К немецкому профессору? Да ведь он вас обманет, заставит ходить к нему каждый день, платить бешеные деньги — погубит одним словом».

Я так рот и открыл. — «Да ведь немцы цари в медицине. Немецкие профессора...» — «Жулик на жулике. Пошлют в скверную санаторию, где они состоят на паях, обманут, объего-

рят, обграбят». — И так все знакомые в один голос. Мне оставалось покориться. Им видней — думаю. Хотя...

И я пошел к известному русскому доктору. Врач оказался блестящий, точно установил диагноз и немедленно послал меня в санаторию. Но вот, что странно: в этой санатории я встретил потом самого русского доктора «на отдыхе». И чуть ли не все пациенты санатории посланы этим доктором... А с другой стороны, — диагноз доктора, жестокий и неожиданный, настолько поразил меня, что я, на всякий случай, пошел все-таки к немецкому профессору, «жулику». И вот маленький, добродушный старичек своей санатории мне не назначил, а на все вопросы о той или иной лечебнице, отвечал мне: «аусгецейхнет!» Вот так жулик!

Я пишу это отнюдь не для посрамления русской медицины и для торжества немецкого «герра профессора». Санатория, куда послал меня русский врач, оказалась отличной, я могу быть только благодарен доктору. И, конечно, я далек от мысли обвинять его в корыстных целях. Нет, пишу это, чтоб показать, что не все немцы — жулики.

Немцы — идиоты, Гарпагоны, бездарности, грубияны. Эту аттестацию я слышал от каждого русского берлинца. И удивлялся, но недолго. На второй день по приезде убедился, что русские с немцами вообще не встречаются, не разговаривают, не якшаются. Есть эмигранты, живущие в Берлине 4-5 лет и по-немецки, кроме слова «биттэ», ни с места. Потому, что говорят только друг с другом, покупают в своих, русских магазинах, читают русские газеты. Единственный представитель германской нации, с которым эмигрант имеет дело — это квартирная хозяйка. Отсюда ненависть ко всему германскому.

Это не анекдот. Берлинские квартирные хозяйки знамениты на всю Германию, как фурии и мегеры. Это верно. Но ненависть к паршивым старым девам распространять на весь, как ни как, великий народ, достойно людей, за пять лет выучивших одно немецкое слово: «биттэ».

Они не видели ничего немецкого. Ни разу не были в немецком театре, в немецком музее, на фабрике. Не прочли ни одной немецкой книги. Я уж не говорю о том, чтоб они учились.

«Нам у слюнявых немцев учиться? Сами всякого научим!» Правда, они снизошли — до немецкого кафэ. Туда они ходят, объясняются с «обером» знаками, и танцуют до упаду шимми. Да еще съездят в Потсдам, для того, чтобы сказать: у нас в Царском Селе и Петербурге куда лучше.

Когда я приехал в Берлин и вышел с вокзала, я спросил первого попавшегося молодого человека: «где тут такая-то улица?». Молодец посмотрел на меня глупо и качнул головой: «не понимаю». Потом грустно спросил меня на хорошем русском языке: «Может-быть, вы русский?» — Это был первый «немец», с которым я встретился. Так въехал я в чужеземную столицу.

2

Но пора, пора в постель. Чтоб больше не встать. Вот санатория. Лежит высоко, чудесные окрестности, которых я так и не увидел, в милом маленьком городке, в котором я знаю только одну улицу — ту, по которой меня привезли и увезли.

Я лежу на балконе во втором этаже. Внизу в саду, на других балконах, на веранде — больные, бойко разговаривают, перекликаются. Вот они немцы, немецкие нравы, немецкая речь!..

Ошибаетесь, горько ошибаетесь. Прислушайтесь и услышите: русский язык. Только русские! Где-то бродит пара забытых, испуганных немцев. Да грустный шопот немецкой прислуги напоминает нам, что мы не в Старой Руссе.

Прости меня великодушно, читатель. Я начну свое немецкое путешествие с особой людской разновидности — не немцы, но конечно, и не русские. Нечто среднее — вечные эмигранты. Прости меня, читатель. Я провел их, так сказать, контрабандой. Обещал немецкую санаторию, а оказалось... Но ведь я сам не знал... Я-то, дурак, спросил у встречавшего меня санаторского сторожа Юлиуса: «есть ли у вас, может-быть, случайно русские?» Он ответил меланхолично: «есть тоже и немцы».

Доктор — русский, газеты получаются русские, официальный язык в столовой — русский. А я надеялся использовать

лежание в санатории, чтоб усовершенствоваться в немецком языке. Результат: по-немецки не научился, а русский свой чуть не испортил: эмигранты говорят иногда, мягко выражаясь, странно. Например, «я имел сегодня живот».

И здесь в санатории я, бедный петербуржец, никогда не видавший настоящих иностранцев, пришел к печальному, хотя, кажется, несколько преждевременному выводу: все иностранцы при ближайшем рассмотрении русские или русские евреи. Были тут в санатории и персидского подданства турки, находящиеся под покровительством Англии и не умеющие ни слова ни по-персидски, ни по-турецки, ни по-английски. И жители вольного города Данцига. И литовцы, знающие два слова, да и то по-латышски. Все — русские. Слышу: приехал к нам в санаторию — американец. Смотрю: толстый господин, говорит по-английски и очки роговые. Оказывается: фамилия Ратнер и шпарит по-русски, как заправский одессит. Или вот еще замечательный случай. Прибыл не просто американец, а американец с острова Кубы. Говорит свободно по-испански, по-французски, по-английски, а по-русски не умеет. Немцы его называют герр Ка́тэс, французы мсье Като́с, англичане — мистер Кэйтс. Сомневаться, как будто, нечего. Так вот: настоящая фамилия кубинца — Катц, и по-русски не говорит он только потому, что его малолетним увезли из Вильны.

Нет настоящих американцев! Я до сих пор не видел!

3

Русских эмигрантов в Германии можно разделить на три группы. Первая — самая многочисленная в санатории: коммерсанты и спекулянты. Этих я уважаю больше всего. Они сами давно перестали считать себя русскими. Их дети забыли родной язык и лопочут по-немецки, по-французски, по-польски, — на языке народа, на бирже которого играют их родители. А тем все равно, где жить: в Аргентине или в Турции. Только б зарабатывать божественные доллары. О России они не тоскуют, назад не собираются. Если вспоминают ее — так только из-за мебели, которая осталась на старой квартире в Харькове или Ростове и которую не мешало бы реализировать. Политикой, коммуни-

стами — не интересуются вообще. Мой приезд — только что из Петербурга! — не произвел на них никакого действия. Даже не расспрашивали: как, что? Это люди, у которых нет родины, да которые и не хотят иметь родину.

Вторую группу составляют политики-эмигранты, представители н + 1 политических партий, о которых мы в России давно забыли. Этим путь назад в Россию заказан, вернуться хотят, но не могут. Существуют литературой, печатаясь в н + 1 периодических русских органах. Впрочем, этих ископаемых я почти не встречал. В санатории, правда, был один член Учредительного Собрания, социалист, получивший солидное наследство и отряхнувший политический прах с своих ног. О своих былых заслугах говорил с достоинством. Но, повторяю: судить о политиках не могу. Да и Бог с ними!

Гораздо забавнее, самая интересная разновидность эмигрантов — интеллигенты, классические русские интеллигенты. Они мучительно тоскуют по родине, мучительно до тошноты ненавидят немцев, все немецкое, начиная с языка и кончая кухней. Живут только тем, что вспоминают родину. Но не возвращаются. Почему? — сами не знают. Политически они ни перед кем не виновны, никому не страшны, — да кому, вообще, они могут быть страшны? Виновны только в том, что убежали от большевиков. Вернуться в Россию, конечно, могут когда угодно — и не возвращаются. Неизвестно почему. Старая исконная интеллигентская привычка. Говорить легко, а попробуй тронься с места. Тут в Германии, как никак, сыты и одеты, а там с начала начинать...

В Берлине таких эмигрантов пруд пруди. Санатория была для них дороговата, но несколько образчиков было. А один так прямо чудесный.

Это был довольно известный лысый учитель пения, обладатель почтенного брюшка и необъятной супруги-певицы. Как у истого интеллигента — вечно страдающее выражение лица и голос со слезой. Узнав, что я приехал из Петербурга, немедленно бросился ко мне: он сам петербуржец! Я охотно начал рассказывать. Как ожил и вновь зацвел любимый, родной город. Как блестят набережные, горят фонари, звонко звенят

мостовые. Рассказываю я, рассказываю, — вдруг смотрю: певец мой потемнел, насупился, лицо его полно испуга и подозрения. Я сразу понял: ему нельзя рассказывать о **хорошем** в России, не поверит, решит — да и решил уж наверное — коммунист.

«А как же! — не выдержал он: — я читал на-днях, что на Сергиевской и Фурштадтской пасутся коровы». — Я от души рассмеялся. — «Вранье», говорю. — «Как вранье? Это написано в газете». — Я еще пуще рассмеялся. — «Знаете — мне русские газеты в Берлине смешно читать. Хоть бы постыдились. России нюхом не нюхали».

Он почернел, но не ответил. Только назавтра вдруг подошел ко мне и сказал с дрожью в голосе:

«Я сегодня всю ночь думал, думал о том, что вы изволили сказать: смешно читать берлинские газеты. Да ведь это свободное демократическое слово!..»

И пошел, и пошел. Больше мы о политике не говорили. Но не поссорились. Он, правда, меня остерегался и в душе, наверное, считал разбойником, но разговаривать со мной разговаривал. Да к тому же я нащупал его слабое место и, желая позабавиться разговором, начинал ругать немцев. Он сейчас же оживлялся и поддерживал. Чего только я не слышал о бедных тевтонах.

Самая благородная тема — конечно, еда. Стол у немцев, действительно, на редкость скверный. Ну, и начнешь нарочно вспоминать: борщи, и щи, и расстегаи, и кулебяки, и сырные пасхи. Поверите, у моего певца слезы на глазах, а голос так и рыдает. Что и говорить! Разве у этих немцев что-нибудь путное есть!

Или сидит Орфей голый в «люфтбад'е» и причитает: «Беднейший язык немецкий. Всего 15 тысяч слов. А у нас за 60!» Попробовал я, как филолог, вступиться, но был уничтожен. «И переводить поэтому с русского нельзя — слишком мало в немецком слов».

«Помилуйте. Да ведь немцы — первые в мире переводчики».

«Ну, что вы там... Вот пою «Христос воскрес, поют во

храме» в немецком переводе. И в самом патетическом месте, на ударении — слово «унд»! Видите!..»

«Простите, а чей перевод?»

«Да моя... жена переводила».

Нет, поистине это был блестящий образчик «плачущего интеллигента»! Наш санаторский бадемейстер со страхом и изумлением спрашивал меня, почему этот пациент всегда жалуется? Бадемейстер делал ему полный массаж, и каждый день повторялась одна и та же история. Начинает массировать ему руки, вдруг грустный покорный голос: «А ног вы мне сегодня не будете?» «Как же — буду». Дошли до ног: «А грудь вы массировать не будете?» И так дальше — без конца. Честный бадемейстер был смущен и все боялся, что он чем-нибудь обидел певца. Я успокоил немца: ведь это русский эмигрант!

И все-таки самое веселое — слушать рассказы певца о русских зверствах. Не о теперешних, которые он вычитал из белых газет, а о ужасах, которые он сам пережил в России до бегства. Я прожил все революционные года там же, в Петербурге, и я помирал со смеху, слыша невероятные фантасмагории, которые разводил этот человек. И он не врал, он был слишком честен, чтоб врать, — он глубоко верил в то, что говорил, хотя это и была форменная чушь. Странное дело: все люди, даже умнейшие, глупеют чудовищно в эмиграции. Начинают верить здешним небылицам, а потом прошло каких-нибудь два месяца и им уже кажется, что они сами в России видели то, что им в Берлине внушили.

Пример: мой певец выехал из Петербурга осенью 1921, то-есть почти полгода после введенья Нэпа.

«Да ведь все магазины были уж открыты при вас», говорю.

«Да что вы? Все наглухо!.. За купленный фунт хлеба — расстрел, расстрел!..»

Что это? Ложь? — нет. Это сумасшествие. Массовый гипноз.

4

Зато в санатории я видел и другой тип русского интеллигентского эмигранта, тип чисто авантюрный и блестящий.

Это был красавец — мужчина средних лет, носитель звонкой старой фамилии К-, бывший миллионер. Одного взгляда на его костюм, манеру разговаривать с женщинами, — было достаточно: барин! Настоящий, старый. И удивительно, что это же чувствовали немцы, хотя мой эмигрант ни слова по-немецки не умел. И несмотря на то, что он не пропускал ни одной горничной, чтоб не ущипнуть ее, не поцеловать — обращение скандальное для развратной но нравственной прислуги. Но все почувствовали: барин!

Он рассказал мне вкратце свою эпопею. Когда пришла революция и рабочие на его заводе в маленьком городке пришли с требованиями и угрозами к его дому — он надел фрак и вышел на балкон. И обнес рабочих по матери. Результат: его выбрали тов. председателя совдепа. Он даже ездил от их имени в Петербург о чем-то хлопотать и выполнил миссию с блеском. Трогательное единение! Но после Октября такое нежное сентиментальничание оказалось не у места, он еле спасся и бежал к Корнилову. В ледяном походе, за «нечеловеческую храбрость» произведен был сразу в полковники (факт!). О белой армии отзывался с насмешкой: все хороши! При Врангеле был тяжело ранен и в последнюю минуту эвакуирован в Константинополь. Туда явился на костылях, полуживой и без денег. Поступил в ресторан чистильщиком кастрюль. Потом, благодаря чудовищной энергии, стал подыматься, пока не стал владельцем этого самого ресторана. Теперь у него 40 человек штата, выписал семью, расцвел и ни о чем не жалеет. Разве только со страхом вспоминает, как на Перекопе стрелял из пулемета в атакующие красные войска. «Они шли и падали, падали и шли, а я вертел ручку пулемета. Они падали и шли через трупы, пока рука на пулемете не застывала — от ужаса».

Теперь врачи нашли у него туберкулез. И он сидит в санатории в горах и харкает кровью. Но ни на минуту не теряет веселья, жизнерадостности, остроумия. Он центр, душа, шампанское санатории. Утешает больных, устраивает концерты, смеется над всем и над собой самим.

Его выдумки иногда были блестящи. К примеру. Приехал какой-то господин и спустился в столовую в одной пиджаме на

голое тело. Дамы возмутились. К.- пошел к доктору от их имени. Доктор пришел, посмотрел и брякнул вдруг:

«Да ведь она шелковая».

«Кто?»

«Пиджама».

«Что ж из того?»

«Тогда можно. Ничего неприличного». Ответ странный, но исчерпывающий. Назавтра слышу я из своей комнаты шум и беготню. В чем дело? — К.- сошел с ума. (Он был очень нервен, так что все сразу поверили). Спускаюсь я вниз: сидит К.- в шелковых трусиках, в шелковой верхней рубашке, с шелковым галстухом. А ниже под трусиками — ноги голые. Прибежал доктор, начал успокаивать умалишенного, а тот спокойно:

«Доктор. Имею полное право. Все шелковое».

Доброты и щедрости был он чисто русской. В деньгах ни кому не отказывал. Правда, любил иногда приврать и порисоваться, но кто ж этого не любит?

И еще одна трогательнейшая черта. Этот циник, развратник, который, по собственному признанию, самого чорта объегорит — имел единственного сына, и трясся и плакал над ним, как трусливейшая мать. А сын этот — парень выше отца на голову и в плечах косая сажень.

5

Но оставим мою комнату и спустимся не надолго вниз в столовую. Обед в разгаре. Все чавкают. Поджарые и малокровные, которым нужно много есть, и толстяки, сидящие на голодной диэте. И разговоры! О, санаторские разговоры!..

«Ах, дорогой мой... У меня который день несваренье желудка».

«А меня тошнит, целый день тошнит».

Это во время еды. Для поддержания аппетита. Мой авантюрист К.-, человек решительный и нервный, бросал в отчаянии нож и вилку, и с яростью:

«Ну, скажите еще, мадам, что у вас недержание газов!..»

О чем говорят, вообще, в санаториях: о долларе и о своих

болезнях. Я попал как раз в период великого падения немецкой марки, и с раннего утра звонили телефоны, получались телеграммы: «сегодня курс..., сегодня доллар...» Люди, приехавшие лечить нервы, нервничают сугубо: а хватит ли денег, а стоит ли менять девизы сейчас, или может, подождать... В это лето доллар был главным врачом врачей по нервным болезням. Или лежишь вечером в постели, засыпаешь, дверь на балкон открыта, и нежный голос рассказывает: «Вы понимаете, купил я датские кроны, иду домой, а...»

Но доллар это еще ничего. Гораздо ужасней, мучительней, — разговоры о болезнях. Каждый рассказывает со смаком, с восторгом и с гордостью о своих геморроях, солитерах, кровохарканьях. Люди, легко больные, начинают стыдиться и врут, чтоб не ударить лицом в грязь. Противно слушать. От некоторых особо надоедливых больных форменно спасались бегством. Но хорошо другим, а я несчастный, который должен лежать в постели?.. Словоохотливый больной посещал меня исправно. И начиналось:

«У вас здесь болит?»

«Нет».

«А у меня болит».

А затем: — «Вы пощупайте, вы пощупайте: вот здесь. Нет, позвольте, я вам покажу». — И завладев моей рукой, он расстегивал пиджак и рубаху и безжалостно водил моей бедной дланью по своей потной груди:

«Здесь! здесь! Чувствуете?».

А когда я сидел в ванне, подходил ко мне, обычно, другой больной в костюме Адама и начинал демонстрировать все свои болячки в натуре...

Но продолжим наше путешествие по санатории. Рядом со столовой — салон. Здесь курят, играют в шахматы, болтают. Два раза в неделю приходит оркестр из двух персон и играет фокс-тротты. Общество облачается в парадные одежды, умеренно танцует. Наверху галлерея, на галлерее кружится и пляшет прислуга и сидят больные, которым запрещено спускаться вниз.

Нет никакой возможности описать это общество: что ни

пациент — то фрукт, не санатория, а кунсткамера. Вот дама, имевшая сонную болезнь. Она часами неподвижно сидит на месте, уставив мертвые глаза в одну точку, часами ни бровью не двинет, — на коленях у нее карликовая собачонка. Вот дама, которая много лет страдала бессонницей, пока не вылечил ее гипнозом санаторский доктор. Так новое несчастье: теперь она при виде этого доктора без лишних слов засыпает на месте — все равно где: в столовой, в саду, за обедом. Вошел доктор и — хлоп! ее голова в тарелке с супом: спит. Вот дама, у которой сбежал муж, а вот господин, у которого сбежала жена: оба приехали успокаиваться. Или еще лучше: дама почтенных лет, помешавшаяся. Эта последняя была моей соседкой, и я ее знал лучше всего. Дожила женщина пресчастливо до 40 годов, вырастила двух красивых и умных дочек, все отлично, чего еще нужно? Так вдруг в 40 годов влюбилась она вновь в — своего мужа! Самым настоящим ужасным образом: с ревностью, с истериками. Несчастный муж, ни в чем не виноватый, да к тому еще нежно любящий супругу, был запуган на смерть. А жена стала худеть, зеленеть, днем ворчит, ночью не спит, хочет с собой покончить. Отправили в санаторию с дочкой. Никогда я не видел такой матери: детей своих любила, но между прочим. Существовал для нее только муж, один муж! А муж жил в Берлине (биржевик был) и приезжать в санаторию (12 часов пути!) часто не мог. Так что тут делалось!.. Слышу я: вернулась она от телефона и плачет — рыдает! В чем дело?.. «Он говорит, что зарабатывает гигантские деньги!» — «Что ж вы плачете, мадам!» — «Так он не может приехать сюда». А когда муж приезжал, она плакала, что он теряет из-за нее деньги. Когда доллар подымался и подымалась цена в санатории, она причитала, а когда доллар падал, она скулила, что муж потерял на бирже, и что все кончено. Вообще, как у истой женщины, у нее все всегда было кончено. Помню, прошел слух о всеобщей забастовке. Она с бухты-барахты в слезы. Значит, бумаги на бирже падают, значит, муж разорен. И конечно: это уже факт, она уже не сомневается. Входит дочь, ничего не подозревающая, поет: «Она поет, когда отец разорен!» плачет мать.

Когда же бедный муж приезжал, то начиналась моя мука:

жене не спится, так она мучит мужа, всю ночь ругаются, а мне все слышно. И что я слышу! «Ты наверное мне изменяешь, ну, да, я — больна, стара». — «Дрянь!» шипит в отчаянии муж: «ты знаешь, что я тебе верен». — «Ну, да... что это мне поможет. Теперь такие женщины, что сами тебе брюки расстегнут!..»

Извольте слушать! Впрочем, когда мужа не было, жена говорила всю ночь сама с собой, — она вечно бормотала себе что-то под нос и вынимала и вставляла искусственные зубы. Когда же я, рассердившись, стучал ночью в стену, она совершенно спокойно отвечала: «Войдите».

Это в 3 часа ночи!..

А вот другая дама — Богородица. Не думайте, что это прозвище, метафора или тому подобное. Нет, поговорите с ней и услышите, что она самая настоящая Божья Матерь, и что сын ее — Мессия, Христос. Это стройная, еще не старая дама, еврейка, очень интеллигентная, много путешествовавшая. Так, в обычном разговоре — вполне нормальная, разве только слишком тоскливая и скулящая. Но попробуйте в недобрый час, свести разговор на душевные темы — готово: сумасшествие прорывается во всей силе. Эта дама, как и полагается, обходила тяжело больных с утешением. Можете себе представить, какое это было утешение! У меня, лично, портилось настроение надолго.

Зато как веселился я, когда заходил ко мне некий Г.-, коммерсант средних лет, хороший парень, но со странностями. Был он худ и тощ и зелен, но почитал себя первостатейным красавцем и покорителем сердец. Нечего и говорить, что рожа была смертная, и что все дамы потешались над ним. Вечно вертелся перед зеркалом и, оттягивая кожу на щеках, спрашивал: «неправда ли я потолстел? а?»

Кроме того, страдал сильнейшими резями в желудке — «на любовной почве», как он мне любезно разъяснил. Боли были нервные, а расстройство нервов произошло по причинам «этическим, я бы сказал любовным». Заканчивал разочарованный любовник диатрибой против всех женщин...

И, наконец, замечательный случай, свидетелем которого была санаторская столовая. Однажды приехали двое, не то

армяне, не то грузины, одним словом, что-то кавказское. Приехали с одним поездом, так что приняли их за родственников или друзей. Хорошо. Вдруг за ужином встает один из этих самых «восточных» человеков, глаза налиты кровью, весь багровый, да как рявкнет: «Жиды! Выходи, на ком нет креста!» И давай бить посуду и мебель. Схватили, связали и отправили в желтый дом. Но за компанию овладели и другим кавказцем — туда же! Тот как взвоет! Оказывается, они между собой даже незнакомы, случайно вместе приехали. Еле ни в чем неповинный кавказец отвертелся.

6

Пройдем теперь в сад. Но сперва завернем к лаборантке. У нее весы, альфа и омега санаторской жизни. Санаторские весы подобны весам Немезиды, это место рыданий и восторгов, радости и отчаянья. Вот тощая девица, ничего не прибавившая за неделю, грустно спускается с весов, чтоб уступить место 7-пудовому толстяку. Он потерял 2 кило и потрясает своды радостным смехом. Пример непостоянства человеческого счастья: сегодня ты слишком худ, а завтра едешь в Карлсбад!..

Взвешиваться полагается раз в неделю. Но ярые пациенты, желающие потолстеть (похудеть) во что бы то ни стало и притом в кратчайший срок, норовят пробраться к весам каждый день, а то и два раза в день. Здесь вы неизменно встретите красавца Г.- Или этот почтенный старец: он прибавил после болезни за 2 месяца 14 кило, раздобрел, обзавелся снова животиком, а ему все мало. Сегодня он прибавил всего 100 грамм. И он чуть не плачет: всего 100 грамм!

В сад! Но что делать тут: сад, как сад. Пройдем лучше к солнечным ваннам: там есть над чем посмеяться.

Просторный луг, обнесенный высоким забором и забором же разделенный на две половины: дамская и мужская. На дамской половине я не бывал и в заборные щели не подглядывал (ей-Богу). Зато мужчин ежедневно, с половины одиннадцатого, я задыхаясь от смеха, наблюдал:

Голые, жирные, брюхастые спекулянты под командой бадемейстера делали гимнастику. На них, правда, короткие тру-

сики, но в пылу упражнений они сползают на ноги, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Им нужно похудеть, они и работают, в поте лица своего, чтоб оправдать затраченные деньги — ведь для них даже санатория своего рода коммерческое дело. Ног своих они не видят — животы мешают, туловище сгибать не могут, садиться на корточки — ну, здесь уж дело и вовсе скверно! А перед ними молодой бадемейстер, сложенный как бог, сурово и неумолимо, с профессиональной чистотой показывает упражнения. И командует!

Гимнасты сопят, стонут, не за страх, а за совесть стараются подражать инструктору. Что из этого получается — другое дело... Иногда какая-нибудь туша, стоя на одной ноге, теряет равновесие, — и грациозно падает на траву к общему удовольствию. Удовольствия, вообще, много. Надо отдать справедливость толстякам: насмехаться над собой они не разучились: упражнения сопровождаются душераздирающими остротами, имеющими неизменный и бурный успех.

Гимнастика оканчивается захватывающим зрелищем. Все «атлеты» становятся на четвереньки и бегут вперегонку к павильону. Там берут холодный душ и возвращаются погреться на солнце.

Луг. Палящее солнце. В уголке под тенью деревьев лежат плэды, на плэдах отдыхают «гимнасты». И я лежал здесь обычно — единственное место, куда разрешал мне доктор спускаться из моей комнаты, и здесь-то знакомился я, главным образом, с санаторской публикой.

О, муза, помоги мне воспеть эти жирные туши!.. Увы, и ты бессильна, муза. Невозможно описать их, не стоит и пытаться, нужно видеть, чтоб потом, еще много лет спустя, смеяться от души.

Солнце подымается все выше, отвоевывает у деревьев тень, и толстяки на плэдах ползут все дальше в угол, спасаясь от палящих лучей. Вотще! Кожа их краснеет и загорается. У чистокровного американца из Одессы Ф.- сгорел один только живот — кожа сошла, медный янки страдает. Но один только живот: все остальное — грудь, ноги — спасены: необъятное

брюхо защитило их от солнца. И толстяк стонет, нежно гладя красный живот руками.

Зато соседу его никакое солнце не страшно, он дерзко лежит на самом солнцепеке. Ибо человек этот равно может сойти и за человека и за обезьяну. В жизни своей не видел такого волосатого человека! Да и не я один — все пациенты в ужасе взирали на него. Особенно страшна была его спина. Здесь волосы были густые, длинные, вьющиеся, так что тела вообще не было видно. Впрочем, это нисколько не мешало человеку-обезьяне острить беспрестанно и рассказывать неприличные анекдоты.

Этим занимаются на солнышке все. Пошлейшие, идиотские вещи. Но все хохочут громовно, тряся пудовыми животами. Только наш милый знакомый, учитель пения, истинный идейный эмигрант, не смеется. Он тяжко вздыхает. Чем эти люди занимаются, когда Россия распята, и все святое и чистое гибнет. Настоящий эмигрант давно разучился смеяться. Он умеет только вздыхать — бедняга!

Солнце палит немилосердно, а хохот все усиливается к немалой зависти дам, скромно и тихо лежащих за забором. Но вот раздается гонг — и подымаются любители легкой атлетики и анекдотов: обедать, обедать...

7

Но ведь я, как никак, в Германии. В русской, но Германии. Что ж я видел в санатории немецкого?

Да ничего. Правда, прислуга в санатории была немецкая, сестры немецкие, даже один доктор немецкий, но они растворились в русской крикливой массе, спрятались, завяли. Понемножку стали приобретать русские привычки. Все мои усилия познакомиться с немцами поближе, поговорить серьезно — терпели полное фиаско.

И потом не следует забывать: санатория лежала в так называемой «занятой области», т.-е. прирейнская полоса, занятая французскими войсками. Я был там летом 23 года, время так называемого пассивного сопротивления немцев и время стро-

жайших репрессий со стороны французов. И немцы молчали, забитые, запуганные и ненавидящие.

Дико было в этой «занятой области» летом 1923 г. — только мы, русские, и не такие дела видавшие, оставались спокойны, — немцы же негодовали, иностранцы ахали. Граница с остальной Германией закрыта. Из одного немецкого города в другой проезд немцам воспрещен. Я еще приехал из Франкфурта поездом, через несколько дней сообщение было прервано. Чтоб попасть из нашего городка во Франкфурт, мы, иностранцы, должны были нанимать автомобиль, а так как правом переезда границы пользовался только один шофер, то он и драл соответствующую мзду. И всюду — на перекрестках — французские патрули, проверяющие документы.

Французские! Замечательные французы, ни слова не говорящие по-французски! Это мароканцы, арабы, в красных фесках, коричневые. Унтер-офицеры еще знают, с грехом пополам, два французских слова, простые солдаты ни тпру, ни ну! Про немецкий язык я уж не говорю. И хозяева в немецкой стране! Попробуй столкуйся с ними!..

Бывало, едешь на автомобиле. Стоит здоровенный, улыбающийся мароканец. Поднял руку: стой! Проверка документов. Подаешь ему русский паспорт! Разве он что-нибудь понимает. Повертел, повертел в руках, махнул рукой: в порядке. И сам смеется. Эти арабы почему-то всегда скалят зубы. С виду симпатичный народ.

Кстати, о проверке паспортов. На границе проверяет уж настоящий французский офицер. И каждый раз, когда он читал на моем паспорте — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», чуть улыбались концы его строгих служебных усов.

Слышал я, конечно, рассказы о зверствах мароканцев. Растлевают-де девушек. Но слышал и другую версию: виноваты сами девушки. Действительно, со скотской точки зрения, лучших самцов не сыщешь. И к тому ж не проболтаются, разве что по-арабски.

Истинно дьявольская была идея: управлять завоеванной страной чужими руками, цветными руками. Минимум риска, и

ненависти со стороны населения меньше. Разве только обида: погоняют нас дикими, африканцами.

Нет, не видал, не узнал я немцев в моей русской Германии. Кроме одного. Но этот один, первый немец, с которым я встретился, стоит 10. Я его никогда не забуду.

8

Впервые я обратил на него внимание на гимнастике — он был великолепно, благородно сложен, я никогда не видел такого мужчины. Но на большом, красивом своем лице он носил суровые, немецкие очки, портившие все. Казалось, он нарочно надевал их, из каких-то монашеских соображений. Он был сух, молчалив, почтителен с пациентами.

А потом я заметил: когда кто-нибудь из богатых толстяков особенно идиотски острил, губы бадемейстера кривила чуть заметная улыбка. Явно: он презирал этих американцев из Одессы.

Я стал спрашивать о нем санаторских старожилов. Оказалось, что не я один обратил на него внимание. Многие пациенты, поумней, побаивались этого молчаливого человека (чувствовали его, плебея, над собой превосходство!), а один так даже выразил предположение: уж не коммунист ли?

Мне посчастливилось: я сошелся с ним ближе, разговорился как-то, потом он заходил ко мне каждый вечер после работы. В моей нудной постельной жизни эти беседы были сущим спасением, ободряли меня, открывали мне столько нового.

Кто был он по происхождению, кем были его родители, я не знаю: стеснялся спрашивать. Едва ли не крестьяне. Про себя самого он смутно намекнул, что он был студентом, потом из-за денег должен был ученье бросить. Бадемейстером стал после войны: служил в армии санитаром. Вот и все, что я узнал из его биографии.

Интеллигентности был он совершенно изумительной. Найти в простом массажисте знатока и ценителя глубочайших тонкостей литературы и искусства — удача исключительная. Он мне открыл ряд незнакомых нам в России писателей, например,

Гельдерлина, гениального и забытого безумца. Он говорил прекрасно по-французски, немного по-английски. Прочитал массу иностранных авторов. Даже из русской литературы знал для немца неслыханно много. Это все пролетарий, банщик!

Но дело не в знании, не в начитанности, а в удивительно точном мышлении, в умении говорить обо всем мало и полно. Не любил он только разговаривать о политике (лишний плюс, по-моему). А если и говорил, то горько и зло. Это был единственный знакомый мне немец, которого глубоко оскорбляла французская оккупация, которого мучил один вид арабских фесок.

Бадемейстер вставал в 5 часов утра, начинал работать. С перерывом от 3 до 4, работал до 10 вечера. В свободные часы, и вечером от полуночи — читал, хотя глаза, рассказывал он мне, слипались. Никогда не роптал на усталость, на неблагодарность, на грошевое жалованье. Всегда молчал. И всей душой истинно образованного человека презирал жирных своих благодетелей, богатых и тупых пациентов. Презирал и немецкую прислугу санатории, развратную и пустую. Всех окружающих. Но никогда не показывал виду.

Здесь в санатории я увидел первого немца, рабочего, блестяще развитого и духовно и физически, с большим умом и прекрасным телом, философа и спартанца в одно и то же время. Я не преувеличиваю ради пышных слов. Первый мой немец произвел на меня большое впечатление. Так вот она Европа! Вот она настоящая культура, настоящий человек, германец.

Увы! Не много времени прошло, и рассеялся мой первый восторг. Такого человека, как бадемейстер Фромм из санатории я в Германии больше не встречал.

Но, что бы ни случилось, как бы ни относился я теперь к тяжелому, солидному и туповатому немцу, беседы мои в санатории навсегда останутся для меня ярким и чистым воспоминанием.

Спасибо, бадемейстер Фромм!

Лев Лунц

ГРОЗА

В просторе ангелы стоят.
Мне между ними стать велят.
За рядо́м ряд, за рядом ряд,
Все в голубом снегу.
За взглядом — взгляд, за взглядом — взгляд —
Я в огненном кругу.
Нежнейший луч, из всех лучей — веселый луч зари.
И даль за молнией видна,
И солнце не горит:
Горит, горит голубизна.
И плещет вихрь и бьется ночь, и мрак течет рекой,
И прах над клеткой старых мест —
Метелью ходит. Первый зной,
И первый свет, и первый крест
Ласкает первого коня, под голубым богатырем,
И изумрудные глаза у белоснежного коня — грозят из туч.
И зеленеет снежный меч. Слепой идет с поводырем,
И пахарь давних лет —
Идет за сивкой и сохой. Притянут луч —
К стогам, к березам и согрет
Распаханной земли откос.
Дымится па́ром борозда, по ней грачи бегут.
И в тихой нежности берез
Заросший блещет пруд.
И вновь повергнут блеск в ничью... Зачем он звал?
Зачем в ничтожестве держал? зачем ласкал?
И обещаньем слух поил:
Дать силу крыл, для светлых сил?

СТИХИ

★

Приходит к мертвым деревцам весна
Все воскресает, расцветает, дышет.
Поэзия не может жить одна:
Ей нужен человек, который пишет.
Цветок, конечно, создан веселей —
Он совершенней по своей структуре.
Поэзия не может, без людей,
Сойти на землю — прямо из лазури.

★

Не знаю — как мне быть с подарком?
Его руками не возьмешь —
Под тенью неба или арки:
Цена подарку: медный грош.
Что если брошу на прилавок
Его торговой саранче —
Платя ей радостью и славой,
Что блещет в утреннем луче?
Нет, он не хочет и не может
Звенеть металом золотым;
И не поможет ни прохожим,
Ни близким людям, ни родным.

А. Величковский

ПИЛАТОВ ГРЕХ

О ТАЙНОПИСИ В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА"

ПОСМЕРТНЫЙ СПОР

В году 1930-ом Михаил Булгаков заявлял в письме к советскому правительству: "Борьба с цензурой... — мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати". Воистину творческая душа большого писателя смерти не знает: четверть века спустя после своей кончины Булгаков продолжает бороться против заглушения творческого слова.

Роман "Мастер и Маргарита", напечатанный в журнале "Москва" в конце 1966 и начале 1967 года, несет на себе жестокие следы этой борьбы, посмертного спора. Из 450 страниц авторского манускрипта советский цензор вырезал 60.[1] Это была очень тонкая и целеустремленная работа цензурного комарачикоса — облик романа утратил первоначальную композиционную гармонию, стало не всегда отчетливым соотношение его структурно-тематических пластов: тема бесовской бригады Воланда, например, с трудом поддавалась толкованию читателя. Между тем, эта тема — одна из главных в творческом замысле автора.

В том же письме к правительству Булгаков писал: "И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе". Не бросил, оказывается, или вытащил недогоревшим: потому что еще целых 10 лет над этим романом трудился. И, как можно судить по полному тексту романа, тема эта стала второй — после Достоевского — творческой темой о социально-бытовом воплощении сатанинства.

Полностью раскрывается эта тема, однако, Булгаковым в форме иносказания, тайнописи, почти притчи. Знакомство с цензурными вырезками и их "тенденцией" — непременное условие прочтения этой тайнописи: проясняются расставленные автором

---

[1] По общему подсчету выброшенных строк, считая по 30 строк на странице.

акценты, выступает *первозначность* для него внутреннего, философского плана романа — темы высшего борения Света и Тьмы. Смута, устроенная на Москве чудищами Воланда, перестает казаться лишь фантастическим компонентом сюжета; смута не оканчивается с отлетом их в их сатанинское "восвояси" — полушутя-полусерьезно читатель может предположить, что кто-нибудь из воландовой свиты мог и задержаться в Москве... Для работы, например, по цензурной части в редакции какого-нибудь из московских журналов.

Но перейдем к прочтению тайнописного в романе.

МОСКВА — БЫТ — БЕСОВСКАЯ БРИГАДА

В структуре романа "Мастер и Маргарита" два основных сюжетно-композиционных пласта различимых по времени и месту действия: Москва конца двадцатых и середины тридцатых годов и древний город Ершалаим начала нашей эры.

Москва. Город, где и откуда осуществлялась диктатура — контроль над творчеством, полицейский сыск, террор; город трудного быта: многосемейные квартиры, нужда, нехватка во всем.

Сюжетное вторжение в этот быт бесов Воланда — прием, прежде всего, освещения безотрадной действительности, и недаром цензоровы ножницы поработали здесь усердней всего.

В главе, например, где изображается сеанс черной магии, устроенный в театре Варьете, авторский акцент — не на фантастическом, происходящем на сцене, а на поведении зрителей: в реплике, которую выпустил цензор, Воланд интересуется: "Изменились ли эти граждане внутренне?"

И вот из-под купола театра "начали падать в зал белые бумажки" — червонцы! На сцене открылся дамский магазин, в котором бесплатно обменивались старые дамские платья и обувь на новые, парижских моделей. Следует разговор, вырезанный цензором, вероятно, из-за слишком живой экспрессии:

"В бельэтаже послышался голос:

— Ты чего хватаешь? Это моя, ко мне летела!

И другой голос:

— Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!

И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера, из бельэтажа кого-то повели"... (к стр. 82).[2]

---

[2] Страницы указаны здесь и дальше, по изданию: Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. **YMCA-PRESS**, Париж, 1967.

И еще один абзац, тоже выброшенный:

..."Неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось — шелковым, в громадных букетах халатом и, кроме того, успела подцепить два футляра духов". (к стр. 84).

Яркое освещение быта дано в главе "Сон Никанора Ивановича".

Никанора Ивановича Босого, председателя жилтоварищества в доме, который становится позже пристанищем бесов, арестовывают: один из бесов подсунул ему взятку — пачку американских долларов. Советским гражданам запрещалось иметь валюту, и, как знают специалисты по экономике СССР, в двадцатых годах советское правительство, которое нуждалось в средствах для восстановления промышленности и содержания зарубежных своих эмиссаров, практиковало персональное изъятие ценностей у граждан полицейским путем. И вот Никанор Иванович, полуобезумевший от допросов, попадает в психиатрическую клинику. Там он засыпает. Следует сон его — одиннадцать вырезанных цензором страниц — искусно замаскированное изображение "добычи" ценностей у арестованных. Происходит массовый допрос. Никанору Ивановичу видится как бы театр, но люди сидят на полу. Вот небольшой отрывок:

"Лампы погасли, некоторое время была тьма и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел:

"Там груды золота лежат
И мне они принадлежат"...

— Ну чего ты, например, засел здесь, отец? — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист.

— Нету! нету! Нету у меня! — страшным голосом прокричал Никанор Иванович, — понимаешь, нету!

— Нету? — грозным басом взревел повар, — нету? — женским голосом спросил он, — нету, нету, — успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну".

Оставшийся обрезок главы в полторы страницы цензор озаглавил "Никанор Иванович".[3]

И третий крупный бытовой эпизод — изображение торгсина. Булгаков сближает здесь два различные по времени способа государственного вымогательства у населения ценностей — торгсин был способом более поздним и либеральным: люди, которых прежде арестовывали и ссылали за владение валютой, драгоценными камнями либо золотыми монетами, теперь могли свободно сдавать их государству в обмен на дефицитные товары и съестные продукты. Нужда оказалась сильнее полицейской угрозы — обыватели валом несли в торгсин золотые запонки и серебряные ложки. Мастер сатирического парадокса, Булгаков заставляет одного из воландовых бесов возмутиться цинизмом этого рода экономической политики:

"— Граждане! — вибрирующим тонким голосом прокричал он (Коровьев. Л. Р.), — что же это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить! ... бедный человек целый день починяет примуса. Он проголодался... а откуда же ему взять валюту? ... — Откуда? — задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой, ему жарко! Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уже свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию... А ему можно, а? — и тут Коровьев указал на сиреневого толстяка (иностранца. Л. Р.).

— Кто он такой? А? Откуда приехал? Зачем? скучали мы, что ли, без него?... Он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?!.. Горько мне! Горько, горько — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.

Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь (добавляет Булгаков) заставила гневно содрогнуться Павла Иосифовича (директора Торгсина. Л. Р.), но, как ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызывала сочувствие".

Эпизод с торгсином содержит 6 страниц и выкинут цензором от слова до слова (упоминание о нем выброшено и дальше, со страницы 202).

---

[3] Расправа со «сном» потребовала выпуска еще 29 строк на странице 216, где об этом сне упоминалось.

"ПЕРЕЛЫГИНО"

В главе 5-ой — описание литературного объединения МАССОЛИТ, размещенного в писательском "Доме Грибоедова". Надписи на дверях: "Однодневные творческие путевки. Обращаться к М. В. Подложной". Другая надпись: "Перелыгино" с аллегорической нагрузкой на значение корня "лыг" — лгать. Перелыгино — Переделкино, писательский поселок под Москвой.

Тема несвободы творческого слова, фарисейства и лжи — проходит через весь роман. Двое из воландовых бесов, стоя у решетки писательского дома, рассуждают о "бездне талантов", которые вызревают под его кровлей, "как ананасы в оранжереях":

"Ты представляешь себе (спрашивает Коровьев. Л. Р.), какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике "Ревизора" или, на самый худой конец, "Евгения Онегина"?

Последующие строки цензор выбрасывает. Там стоит:

"— Да, — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец, — но!.. Но, говорю я и повторяю это "но"!.. Если на эти нежные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! А это бывает с ананасами! Ой-ой-ой, как бывает!" (к стр. 198).

Очутившийся в психиатрической клинике поэт Иван Бездомный говорит про другого, "благополучного", поэта Рюхина (курсивом даются вычеркнутые цензором слова):

"... — Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил *к первому числу*. Хе-хе-хе... *"Взвейтесь" да "Развейтесь!"* А загляните к нему внутрь, что он там думает... вы ахнете!" (49).

Заглянуть "внутрь" Рюхина цензор однако читателю не дает и через страницу вычеркивает из внутреннего монолога Рюхина заключительную строку: "— не верю я ни во что из того, что пишу!" (к стр. 52).

Тема закрепощения творческого слова становится композиционно центральной в истории мастера, заплатившего свободой за свой роман. Интересна выброшенная цензором характеристика критики, которая отравляла мастеру жизнь:

"Что-то наредкость фальшивое и неуверенное (говорит мастер. Л. Р.) чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все ка-

залось, — я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим" (к стр. 94).

Критика этого рода, фальшь и доносительство разоблачаются в двух эпизодах "мести" Маргариты, привлекших особое внимание цензора.

Став ведьмой, Маргарита подлетает к дому, над дверьми которого написано "Драмлит". Что такое "Драмлит", она не знает, но вот видит на стене громадную черную доску с перечнем жильцов дома. Тогда — следует выкинутая цензором фраза — "Венчающая список надпись "Дом драматурга и литератора" заставила Маргариту испустить хищный задушенный вопль". Она находит квартиру критика Латунского, погубившего мастера, и устраивает в этой квартире разгром. Вот строки из описания этого разгрома, которые цензор выпустил, чтобы, вероятно, уменьшить выразительность картины, — "Нагая и невидимая летунья" расправляется с роялем Латунского:

"Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная доска. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. ... Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями". (к стр. 143).

Цензор старался смягчить места, выдающие целеустремленность этого разгрома — ненависть Маргариты к лживому перу критика. Поэтому, например, после слов: "Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика" — цензор ставит точку, отрезая окончание: "и выливала ее в ящики письменного стола". Чуть ниже выкинуто также: "Полную чернильницу, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двухспальную кровать". (к стр. 143).

Вторую расправу Маргариты, мстящей за мастера, цензор выкинул целиком. В главе 24-ой ("Извлечение мастера") по мановению Воланда обрушивается в комнату некий гражданин Алоизий Могарыч.

"— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу? — спросил Азазелло".

Также и здесь цензор отрезает конец вопроса, превращающий осторожное "жалобу" в "донос"; в подлиннике было: ..."жалобу, с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную ли-

тературу" (к стр. 167). Далее выброшен весь эпизод мести:

Шипенье разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая: "Знай ведьму, знай!" — вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.

— Что ты делаешь? — страдальчески закричал мастер. — Марго, не позорь себя.

— Протестую! Это не позор! — орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев. (к стр. 167).

"КЛИНИКА" — "ПОДВАЛ" — "БАЛ У САТАНЫ"

Обильные цензурные вырезки в главе "Извлечение мастера" стремятся притушить аллегорию: психиатрическая клиника Стравинского — лагерь принудительных работ, откуда собственно извлечение и происходит. Еще в самом начале второй части романа, когда Маргарита мысленно разговаривает с исчезнувшим возлюбленным: *"Если ты сослан,* то почему не даешь знать о себе?" (стр. 134), слова "Если ты сослан" цензор вычеркивает. Купюр такого рода в этой главе множество: "Не слушайте его, мессир", — говорит Маргарита Воланду о мастере. — *Он слишком замучен* (стр. 169); последние три слова цензор тоже выбрасывает, как и примечательную реплику Воланда, разглядывающего мастера: *"... его хорошо отделали"* (стр. 165). Выброшены наиболее многозначительные фрагменты из разных диалогов.

Мастера с Коровьевым, например:

"...Нет документа, нет и человека, — удовлетворенно говорил Коровьев.

— Вы правильно сказали, — говорил мастер, — ...что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет". (к стр. 167).

Мастера с Воландом:

"— А кто же будет писать! А мечтания, вдохновение?

— У меня нет больше никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, — ответил мастер, — ничего меня вокруг не интересует, кроме нее... меня сломали..." (к стр. 169).

Мастера с Маргаритой (30-ая глава):

"— Я ничего не боюсь, Марго. — Не боюсь, потому что я уже все испытал. Меня слишком пугали и ничем больше испугать не могут.

— ...Они опустошили тебе душу!" (к стр. 204).

Ножницы цензора выхватывают из текста все, воспроизво-

дящее атмосферу полицейского надзора и сыска, в которой ощущали себя москвичи. Сцена встречи Маргариты с рыжим посланником Воланда Азазелло в Александровском саду у кремлевской стены "отредактирована" следующим образом (курсивом выделены выброшенные слова):

"— ... как вы могли узнать мои мысли? Скажите мне, кто вы такой? *Из какого вы учреждения?* — Вот скука-то — проворчал рыжий и *заговорил громко, — простите, ведь я сказал вам, что не из какого я не из учреждения".*

И дальше выброшено полностью:

— "Вы меня хотите арестовать? — Ничего подобного! — воскликнул рыжий, — что это такое: раз заговорил, так уж непременно арестовать!" (к стр. 136).

Тревожит цензора и само упоминание о свободе как антитезе поднадзорного существования. "Невидима и свободна! Невидима и свободна!" — восклицает Маргарита, когда Азазелло дарит ей метлу для полета и способность стать невидимкой. Слово *свободна* цензор вычеркивает из журнального варианта. Выпуски затушевывают связь между стремлением к свободе и сотрудничеством с бесами, защищающим от местного произвола. "Душенька, Маргарита Николаевна,... упросите их..., чтобы меня ведьмой оставили!" молит домработница Наташа; повторение этой мольбы выброшено цензором со странцы 168. И так многозначительна тоже вычеркнутая реплика мастера Маргарите: — "...Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы" (к стр. 204).

★

Наряду с "клиникой доктора Стравинского", иносказателен и *подвал,* в котором жил мастер до своего исчезновения и избавление от которого дарит ему "потусторонняя сила".

"Кони роют землю, содрагается маленький сад. Прощайтесь с *подвалом,* прощайтесь скорей!" — торопит мастера и Маргариту бес Азазелло. Слова "с подвалом" цензор выбрасывает; как и следующую реплику Азазелло в ответ на догадку мастера "мы мертвы": "Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны?" (к стр. 206).

Вычеркивает цензор и возгласы обоих, когда Азазелло поджигает подвал:

"Гори, гори, прежняя жизнь! — Гори, страдание!" (к стр. 206).

В предпоследней главе, прощаясь с Воландом, мастер спрашивает: куда идти? и оглядывается на город "с монастырскими пряничными башнями", — "... что делать вам в подвальчике?" — отвечает ему Воланд.

★

Аллегорична в этом первом, московском, плане булгаковского романа сама экспозиция "потусторонней силы" — Воланда и его бесов. Гротеск-фантастика причудливо переплетается здесь с диалогами вполне реалистической темы и остроты. Вот, например, Воланд в его мефистофелевом обличье в разговоре с мастером: "Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? (212). Или (курсивом выделено то, что выбросил цензор):

— "Роман о Понтии Пилате, — сказал мастер. — О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. *Вот теперь?* Это потрясающе! *И вы не могли найти другой темы?"* (к стр. 166).

Но тот же Воланд в главе "Великий бал у сатаны" пьет кровь из чаши — черепа председателя правления МАССОЛИТА Берлиоза. Именно в этой главе иносказание, повидимому, — главное в творческом замысле автора: слишком "довлеет себе" композиционно изображение сатанинского шабаша, слишком ощутимы расставленные там и здесь экспрессивные акценты.

Мотив крови, например. Мотив этот проходит через весь роман — цвет крови то и дело вспыхивает на его страницах. Но в главе "Великий бал у сатаны" кровь — зримый фон происходящего. Маргариту вводят в самоцветный бассейн и окатывают кровью — она чувствует "соленый вкус на губах". Когда она утомляется, ее снова влекут под кровавый душ. Ее поят кровью некоего не угодившего бесам и ставшего им почему-то подозрительным барона, зарезанного у нее на глазах. Сцену этого убийства страшно читать — такие реальные вызывает она ассоциации:

"— Да, кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать общее внимание. И более того, есть предположение, что это приведет вас

к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили придти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть все, что можно.

...В тот же момент что-то сверкнуло огнем в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло, как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал переполнившуюся чашу Воланду". (159-160).

Не менее знаменательно упоминание о меткости бесов в стрельбе по человеческой цели (28 строк об этом выброшено со стр. 162).

Маргарита в качестве королевы бала принимает гостей голой — они прикладываются к ее коленке. Нагота — лейтмотив ее образной характеристики, а среди длинного перечня профессий и положений гостей названы также "тюремщики", "палачи", "доносчики" и "сыщики"... "Все их имена спутались в голове и только одно мучительно сидело в памяти лицо, окаймленное действительно огненной бородой лицо Малюты Скуратова" (157). В выкинутых цензором строчках Маргарита называет этих гостей "висельниками".

Упоение властью, жестокость, разврат!.. Москвичи старшего поколения хорошо помнят ходившие по Москве конца 20-х и начала 30-х годов слухи об оргиях типа "афинских ночей", устраиваемых в обстановке величайшей конспирации кое-кем из новых хозяев жизни. Также — и о наказаниях сверху за "бытовое разложение". И вполне реальным комментарием к картине страшного бала звучит вырезанный цензором разговор Маргариты с одним из бесов:

"— Вот что мне непонятно, — говорила Маргарита, и золотые искры от хрусталя прыгали у нее в глазах, — неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала? — Конечно, не было слышно, королева, — объяснял Коровьев, — это надо делать так, чтобы не было слышно, это поаккуратнее надо делать". (к стр. 161).[4]

---

[4] В напечатанном в журнале «Москва» варианте романа многие цензурные вырезки стремятся предупредить возникновение при чтении реальных аналогий. Так, например, в описании следствия по делу Воланда в главе «Конец квартиры № 50» после фразы: «Но в это

ПРОТИВ "ТРУСОСТИ"

И второй план романа: древний город Ершалаим. Понтий Пилат! Имя, открывающее уже вторую и заключающее последнюю главу романа, образуя главную его структурную тему, по отношению к которой романическая история о мастере и Маргарите — только внешний повествовательный фон.

Эта структурная тема романа — тема пилатова преступления.

Раскаяние в совершенном начинает терзать прокуратора уже при самом провозглашении несправедливого приговора, когда он боится встретиться взглядом с осужденным Иешуа.

Позже, смятенный и нетерпеливый, с воспаленными глазами, Пилат расспрашивает начальника тайной полиции, как протекала казнь:

"— Он сказал, что ... благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь. — Кого? — глухо спросил Пилат".

"Внешность прокуратора" — читаем в главе 26-ой — "резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и кроме того стал тревожен". Дальше, на стр. 178, цензор выбрасывает целый абзац, где описывается душевная смута Пилата.

Пилата мучит бессонница. Когда же, наконец, овладевает им сон, ему представляется широкая голубая дорога, ведущая вверх, к луне. "Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. ... Само собой разумеется, (размышляет Пилат. Л. Р.), что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением: ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, — шел рядом, следовательно он был жив. И, *конечно,* (это продолжение размышлений Пилата цензор выбрасывает) *ужасно было даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было!..*" (к стр. 184).

время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений» цензор ставит точку. В оригинале фраза продолжена так: «и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разъезжая с гуденнем, чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца» (к. стр. 189). Площадь с выходящими на нее окнами здания внутренней тюрьмы НКВД (бывшего страхового общества «Россия») — Лубянская площадь.

ПИЛАТОВ ГРЕХ

Идя во сне по голубой дороге вместе с Иешуа, Пилат ведет род внутреннего диалога с самим собой, в котором раскрывается главный его стыд, причина душевного смятения и тоски — трусость!

..."трусость несомненно один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа На-Гоцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок! Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, и бывший трибун в Долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-Великана. Но, помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?"

Цензор снова пускает в ход ножницы, выбрасывая ответ:

"Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача". (к стр. 184).

Но казнь свершилась.

И трусость становится лейтмотивом пилатова преступления. Трусость помешать несправедливости, бесчеловечности, пролитию крови невинного. И цензор настойчиво вычеркивает упоминание о трусости со страниц романа. Вычеркивает, например, строчки из расспросов Пилата о казни, без которых приведенная выше ссылка на слова Иешуа о трусости повисает в воздухе:

"— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат? (спрашивает Пилат гостя, начальника тайной полиции. Л. Р.). — Нет, игемон... Единственное, что он сказал, это — что в числе человеческих пороков одним из главных он считает трусость. — К чему это было сказано? — услышал гость внезапно треснувший голос. — Этого нельзя было понять..." (к стр. 176).

Сокращает соответствующим образом цензор и разговор прокуратора с Левием Матвеем, который снимал тело Иешуа с креста и у которого прокуратор потребовал хартию, где записаны слова осужденного (вычеркнутое напечатано курсивом): "...Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал: "...мы увидим чистую реку жизни... человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристал... *Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он различил слова: "...бо́льшего порока ... трусостъ"*... (188).

Пример этой необыкновенной бдительности в отношении

понятия "трусость" можно найти и в бытовом плане романа. Полураздетый и полубезумный поэт Иван Бездомный врывается в ресторан МАССОЛИТА, и заведующий обрушивается на швейцара: зачем пустил? Ответ швейцара у Булгакова читается так:

"— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — трус я — отвечал швейцар, — как же я могу их не допустить, если они члены МАССОЛИТА?"

Цензор делает ничтожное, казалось бы, исправление: соединяет слова "трус" и "я". Фраза принимает такой вид: "Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, труся отвечал швейцар, — как же я могу" .... и т. д. Трусость "экзистенциальная", типичная для времени, о котором идет речь, превращается таким образом просто в робость перед начальством.

ЛУННАЯ ДОРОГА

Тема преступления Пилата тем не менее сохраняет свою структурную выразительность. Именно она создает ярчайшие страницы романа, образную систему наибольшей пластичности, экспрессии и глубины.

Это прежде всего образ самого Пилата, сложных контуров облик Иешуа Га-Ноцри-Христа, образы начальника тайной полиции Афрания, Иуды из Кириафа и сборщика податей Левия Матвея. Это сжатость и выразительность диалогической речи, внутренние монологи-дискуссии Пилата; это удивительные по строгости и внутреннему движению сцены распятия, погребения и сцена казни Иуды. Это, наконец, пейзаж — как торжественный аккомпанимент и вместе символ свершающегося.

Два структурных типа пейзажа преобладают в романе: грозовой и лунный.

Теме зла сопутствует грозовая тьма.

Лунный свет — теме Неба.

Злодейство покарано рукой породившего его. Луна освещает труп Иуды в Гефсиманском саду... "левая ступня попала в лунное пятно, так что отчетливо виден каждый ремешок сандалии. Весь Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пением" (183). Луна сопровождает бессонные терзания Пилата. "Около двух тысяч лет (говорит Воланд) сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна,... его терзает бессонница. ... а когда спит, то видит одно и то же: лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри"... (211). Луна совершает метаморфозу бесов в их обратном

полете-исчезновении: "Тот, кто был котом, потешающим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном пажем... притих и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны" (210). В видениях профессора Ивана Николаевича, бывшего поэта Ивана Бездомного, совершаются последние знаменательные встречи, собранные в свете весеннего полнолуния, как в фокусе таинственной, едва приоткрывающейся нам сути булгаковского повествования:

"Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану пугливо озирающегося, обросшего бородой человека..."

И встреча другая в том же видении:

"От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом.

— Боги, боги! — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. — Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи,... ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?"

Есть ли это мольба о прощении? Вероятно. Потому что когда спутник Пилата, улыбаясь глазами, клянется, что казни не было, —

"— Больше мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается выше к луне, увлекая своего спутника". (218-219).

Сюжетно мотив милосердия повторяется дважды. В награду за то, что провела голой бал князя тьмы, Маргарита просит у него прощения Фриде, задушившей платком своего новорожденного ребенка. Она же просит и за Пилата, мучимого вечною бессонницей раскаяния. "Вам не надо просить за него, Маргарита", — отвечает Воланд, — "потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать".

"Тот" — это Иешуа-Христос.

★

Первое упоминание о Христе — уже на второй[5] странице романа: поэт Бездомный в заказанной ему антирелигиозной по-

[5] По журнальному варианту — 12-ой.

эме очертил Христа "очень черными красками", но редактору хотелось доказать поэту, что Христа просто-напросто не было. Эпизод заканчивается тем, что Воланд, поманив к себе обоих — редактора и поэта, — шепчет им: — "— Имейте в виду, что Иисус существовал". — Так начато знаменательнейшее в романе переплетение темы Христа и темы Духа зла. Света и тьмы.

Творческое решение темы Христа (немыслимо ведь забывать о подконтрольности творческого процесса) в композиционном отношении очень сложно и очень тонко. Опровержение того, что Иисус — вымысел, сделанное в самом начале романа, повторяется в конце его на одной из страниц подлинного варианта, вырезанной цензором. Повторение как бы замыкает тему в "кольцо" утверждения о реальном существовании Христа. Вот эти строки:

"— Я ничего не боюсь, Марго, — вдруг ответил ей мастер и поднял голову и показался ей таким, каким был, когда сочинил то, чего никогда не видел, но *о чем наверно знал, что оно было...*"

В орбите этого утверждения рассказана история бродячего философа из Галилеи — Иешуа Га-Ноцри.

Цензурные вторжения — купюры, — часть которых (слова Иешуа на кресте) уже приводились выше, имеют, видимо, целью уменьшить возможность религиозного характера ассоциаций. Так, например, из разговора прокуратора с первосвященником Каифой выброшено такое (выделенное курсивом) продолжение фразы: "Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-Раввана и *пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирной проповедью*" (31). Слово "философа" вычеркивает цензор и в некоторых других местах. Во фразе "...сходились две дороги: южная, ведущая в *Вифлеем,* и северо-западная — в Яффу" — вместо "Вифлеем" поставлено "Виффагию", хотя географическое "Яффа" оставлено на месте.

Натурализм манеры, в которой выписан облик Иешуа Га-Ноцри, достигает предела экспрессии в сцене казни, — кто знает! может быть, слегка целеустремленной экспрессии автора, желающего увидеть свое произведение в печати. Здесь перед нами гольбейновская трактовка крестных страданий, как на поразившей когда-то Достоевского картине базельского художника:

"Он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху, и на

животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело". (109-110).

И та же образная экспрессия — в картине грозы, выполненной по евангельскому свидетельству ("И сделалась тьма по всей земле... И померкло солнце"... От Луки, 23. 44-45):

"Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее, время от времени, вываливались огненного цвета нити". (109).

Но вот в конце романа перед читателем как-то удивительно подготовленно и незаметно возникает другая ипостась казенного — безликая, обозначаемая только "Он", "Тот"; "Он" повторено четырежды в разговоре Левия Матвея с Воландом в главе 29-ой:

"— Он прислал меня. — Что же *он* велел передать тебе, раб?"

И на странице 212 в обращении Воланда к мастеру: *"Тот,* кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, ... прочел ваш роман"...

В самом имени: Иешуа Га-Ноцри — слияние двух, человеческой и божеской, ипостасей образа. "Спаситель из Назарета" значит это имя на древнееврейском языке; древнееврейское ХА (из) передано как ГА. Три заглавных буквы имени — И, Г, Н — могут предположительно прочитываться и так: — "Иисус Господь Наш"...

"ТЬМА"

Два плана булгаковского романа — современный, московский, и древний ершалаимский — связаны композиционно приемами сцеплений, повторов и параллелей различной степени внятности.

О "сцеплениях": в конце первой же главы романа ("Никогда не разговаривайте с неизвестными") Воланд, представший двум литераторам в обличье профессора-иностранца, неожиданно произносит:

"— Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана..."

И этими же словами — "В белом плаще с кровавым подбоем" и т. д. открывается следующая глава — "Понтий Пилат".

Глава 15-ая кончается видением Никанора Ивановича, которому снится, что "солнце уже снижалось над лысой горой (Голгофой. Л Р.), и была эта гора оцеплена двойным оцеплением". — Тою же фразой начинается и очередная глава.

Прием повторен в романе четыре раза.

"Кровавый подбой" в первом из приведенных выше примеров — внутренняя, видимо, параллель к теме крови в главе "Великий бал у сатаны". Вино, которым отравляет Азазелло мастера и Маргариту (глава 30), по его словам, "то же самое вино, которое пил прокуратор Иудеи", и когда он разливает это вино по бокалам, *"все окрашивается в цвет крови"* (выделенное курсивом выброшено цензором). "Перекличка" двух планов осуществляется также в снах. Интересна и скрытая параллель: римский кесарь — московский диктатор, встречающаяся на стр. 175 и уничтоженная цензором. Пилат, поднимая чашу, провозглашает:

"— За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, *самый дорогой и лучший из людей!"*

Выделенные курсивом слова цензор вычеркивает.

Но что прежде всего связывает оба плана романа — это образ *тьмы.*

Грозовая тьма — спутник Зла. Символ Зла. Образ тьмы, поглощающей свет, проходит через весь роман ведущим в смысле тайнописной нагрузки повтором.

В главе 19-ой Маргарита, держа на коленях испорченную огнем тетрадь с романом мастера, читает:

"...Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, спустилась с неба бездна и залила крылатых богов над ипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете"... (133).

Цитата повторяется в главе еще раз: поднимаясь, чтобы выйти из Александровского сада, Маргарита слышит за спиной голос Азазелло, произносящего те же строки о тьме.

Окончание главы 24-ой включает в себя первую строку из этой же цитаты, снова прочитываемую Маргаритой; оно таково: — "— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... *Да, тьма...*"

Начало следующей — 25-ой главы повторяет, образуя сцепление, эту цитату полностью. Добавлено еще одно предложение: "Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях".

Настойчивость повтора пугает, видимо, цензора — он вычеркивает из приведенного выше окончания слова "Да, тьма..." Выбрасывает цензор и еще один пассаж о тьме — самый значительный и тайнописный из повторов этого мотива в романе. Это — окончание главы 29-ой — "Судьба мастера и Маргариты определена", — события которой происходят "на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве". В исправленном цензором варианте оно читается так: "На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно" (203).

Выброшенный цензором авторский конец главы повторял — слегка переиначенно — все тот же, что и в главах 19-ой и 25-ой образ тьмы, перенесенный теперь из плана ершалаимского в план современный:

"Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Воланд перестал быть виден во мгле".

Этот город, который, как когда-то древний Ершалаим, поглощается тьмой, — Москва!

ЧТО ЖЕ И КАК СКАЗАНО?

Со сложностью замысла (повествование-иносказ, повествование-притча) связано стилистическое "не-единство" булгаковского романа. Как это обычно случается в произведениях криптографического ключа,[6] в нем легко различаются стилистические ряды большей и меньшей творческой концентрации. Первые относятся к внутренней и центральной для автора метафизической теме утверждения в мире Зла. Вторые — образуют повествовательный фон.

Среди этих вторых ярче всего выступают стили бытовой сатиры.

---

[6] Например, в пастернаковском «Докторе Живаго», с которым булгаковский роман связывает приглушенная по цензурным соображениям тема Христа.

Интересно, быть может, отметить общность булгаковской стилевой манеры этого типа с манерой других сатириков того времени, относимых обычно к так называемой "южной группе", — Ильфа и Петрова прежде всего. Вот, например, редактор Берлиоз и поэт Бездомный, мучимые жаждой, подходят к киоску с напитками:

"— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз. — Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. — Пиво есть? — сиплым голосом осведомился Бездомный. — Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина. — А что есть? — спросил Берлиоз. — Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина. — Ну, давайте, давайте, давайте!.. Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать..." (12).

К манере южной группы относятся эпитеты-находки, определяющие *голос* говорящего: "Товарищ Бездомный", — заговорило это лицо *юбилейным* голосом, — успокойтесь!" (47). Относится и авторская усмешка в таком, например, описании: "На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись "Рыбно-дачная секция", и тут же был изображен карась, попавшийся на уду" (41). На стр. 127 Воланд говорит совершенно языком Остапа Бендера. Речь идет о том, что буфетчик, у которого припрятаны золотые монеты, не воспользуется ими, так как вскоре умрет. "Вы когда умрете?" — спрашивает его Воланд. — "Это никому неизвестно и никого не касается". "— *Подумаешь, бином Ньютона!* Умрет он через девять месяцев от рака печени". (127).

Стили повествовательного "фона" включают и довольно случайное по отношению к стилевой структуре целого введение авторского повествовательного "я" вроде: ..."автор этих правдивейших строк" (42), "пишущий эти правдивейшие строки сам лично... слышал..." (213).

В какой-то мере к этим же второстепенного плана стилям можно отнести элементы фантастического гротеска, иногда почти лубочного, выполняющего, вероятно, камуфляжную по отношению к центральной теме функцию. Таков, например, в главе "Полет" эпизод о том, как летящую на метле Маргариту догоняет Наташа, ее домработница:

"Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове, зажимав-

шем в передних копытах портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух... Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала в борове Николая Ивановича, и тогда ее хохот загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи... — Принцесса! — плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу". (145).

Для стилей наибольшей творческой концентрации характерны, как отчасти уже отмечалось, пластичность и экспрессия образного отбора. В том числе и лирическая экспрессия гоголевской эмоциональной окраски и символики. Например:

"Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший..." (209).

Гоголевское иной раз звучит и в ритмико-синтаксическом строе повествования (что, впрочем, опять-таки свойственно манере прозаиков южной группы, — Бабеля, например):

"Ночь начала накрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу... Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустевшее небо белые пятнышки звезд..."[7]

И конечно же от южных "орнаменталистов" такая, например, сгущенность образной экспрессии:

"Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от огня загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова". (32).

Примеры эти не исчерпывают, разумеется, всех *"как?"*, относящихся к мастерству в булгаковском романе; может быть, только намечают пути подробного исследования, которого это мастерство заслуживает. Равным образом и вопрос о "тайнописном" в этом вполне необыкновенном романе требует дополнительной, более тщательной работы над текстом, новых раскрытий и толкований авторского замысла. Но, тем не менее, *что* же в нем сказано в свете сделанных выше первых прочтений?

Вот — если собрать мысли и впечатления в два-три кратких абзаца:

Грех Пилата — структурный фокус авторской тайнописной

---

[7] Ср. у Бабеля: «Ночь летела ко мне на розовых лошадях»... («Иваны»).

темы. Тяжкий грех предательства, попустительства Злу в страхе за личное благополучие.[8]

Две тысячи лет тому назад в древнем Ершалаиме был совершен этот грех, вдохновленный царем тьмы, в вечной и неисповедимой борьбе тьмы со светом.

Две тысячи лет спустя грех этот повторился воплощением в другом, уже современном, огромном городе. И привел с собою страшное хозяйничание бесов среди людей: истребление совести, насилие, кровь и ложь.

Спасение — в раскаянии, в преодолении страха произнести преступлению "нет!", в обращении к Небу, в защите каждым всех и всеми — каждого.

Прощение и возрождение — у Христа.

Л. Ржевский

---

[8] В романе есть термин «пилатчина» в значении религиозной контрабанды в печати. Употреблен этот термин, однако, в таком остраненом контексте («проклятое слово!» «неслыханное слово» стр 94), что кажется «подброшенным» автором для обозначения трусости и предательства, распространенных среди людей в стране полицейского надзора и сыска.

★

«сегодня море все в тумане».

Сегодня море все в тумане —
за дымкой белою в горах
в Пирее, кажется, в Тамани
в своих застынув берегах

Окружено своею мерой,
о нем так верно, так легко
судить —
Гомер, за нашей скорой эрой
оно ушло недалеко

Оно все в медленности мифа
вот Пан у паруса Вселенной
вот Посейдон седой у рифа
вот Менелай в волнах с Еленой

Оно, о Одиссей, за нами
бия крылами, вдаль гребло
напрасно —
Ныне все в тумане
прекрасно, брошено, бело.

★

Н. Б.

Этот цвет, эта вязь, эти вишни весною
этот белый молитвенный дым —
переходишь, расставшись с войною, с сумою
по именьям своим родовым

Курени у Чернигова, так под Ордою
уходило ли в гору рожденье хлебов? —
под Орлами, под Ханом — весенней страдою —
под гудение хора могильных холмов?

Колоски, колоски, однолетние слезы,
вы курганы угрюмые вновь залили́
и несутся над степью и кружат — и кружат — стрекозы
и восходит дыханье — Дыханье Земли.

★

...и будут пусть в лугах люцерны
ромашки Божии — во ржи
и в первом зареве, наверно
и жаворонки и стрижи!

и свет и звон ежевечерне
и лад и люд кругом в полях
и лютня — летняя — в люцерне
и мед — густой уже — в пчелах!

и привился росток дочерний
и в чаще золотой — зерно
и свет и звон вокруг вечерний
и — чудо! — все еще светло

и тихо так, душа, и сладко —
светильник солнечный зажжен...

День первый — первая загадка —
гудящий в мире Божий звон.

★

нет милосердия нет меры
нам Змеем брошенный клубок

но чу — ручей чистейшей веры
ручей чистейший, видит Бог

какие шопоты разбудит
какие первые слова

(как Лия любит — не разлюбит
как терпелива как светла)

когда же вести — свыше веры
вся боль изгнания и страх —

и вот — ручей чистейшей веры
в чистейшем зеркале — в слезах.

Яков Бергер

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ

Отчего поэты большей частью «поют» свои стихи, а не декламируют их, оттеняя смысловое их значение, как делают актеры?

Оттого, что настоящий поэт с первого произнесенного слова чувствует недостаточность, не-полноту, не-окончательность этого содержания. Оттого, что даже в тех стихах, где строго соблюдено логическое развитие речи, далеко не все в это развитие укладывается, и поэт невольно «поет», безнадежно и беспомощно пытаясь хотя бы этой бедной своей мелодией дать представление о том, что хотел он сказать. В дополнение к смыслу слов, в поддержку и обогащение их. «Мысль изреченная есть ложь»: в стихах скорей — искажение. Актеры, очевидно, полагают, что стихи — это полностью то, что содержится в тексте. А настоящие стихи всегда больше текста, и всегда в них остается нечто, перерастающее непосредственный смысл слов и от него ускользающий. Так было, так будет, от первого настоящего стихотворения до последнего, при любых школах и направлениях. Если же публику «пение» вместо чтения слегка раздражает, то это, пожалуй, естественно: недоразумение неустранимо, и возникает оно еще до того, как поэт раскрыл рот.

Ахматова «пела» стихи, Мандельштам «пел» их демонстративнее, чем кто либо другой, полузакрыв глаза, сам собой загипнотизированный. Блок, правда, не «пел», но произносил стихи сквозь зубы, глухим, лишенным всякого выражения голосом, будто давая понять, что все равно почти ничего передать не может, — незабываемо! А Качалов, читая того же Блока, размахивал руками, вскрикивал, шептал, улыбался, хмурился, делал многозначительные паузы, сменявшиеся вкрадчивой скороговоркой, — и было это, может быть, очень искусно, но и до крайности тягостно.

Свидетельство, которое я слышал от покойного В. В. Вырубова, родившегося в семидесятых годах прошлого века. В

доме его бабушки (или прабабушки?) княгини Марии Андреевны Львовой, Пушкин читал «Полтаву».

В глубокой старости княгиня не без удивления вспоминала:

— Пушкин не читал, Пушкин пел.

Напрасно, значит, новым поэтам приписывают выдумки и причуды, будто бы прежде не существовавшие.

С первых лет революции московская печать молчала и до сих пор молчит о том, что давно уже, и не совсем удачно, повелось называть «религиозными вопросами»: молчала и молчит, если не считать глупых, невежественно-агитационных разъяснений, поучений и призывов. Именно поэтому здесь, в эмиграции, само собой, в противовес московскому обскурантизму, возникло усиленное внимание к этим «вопросам». Это оказалось естественной потребностью, это наше важнейшее здесь дело, недостаток верности которому был бы непростителен. Это прежде всего — верность России. «Что я делал в жизни? Читал Евангелие»: утверждение, повидимому, относящееся к потусторонним встречам и испытаниям, принадлежит Мережковскому. Нет, можно было «делать в жизни» и другое, даже необходимо было делать и многое другое. Но делая, надо было в наши годы и в наших исторических условиях всегда помнить о том, о чем Россия поневоле молчит.

Только вот, что хотелось бы добавить: память, внимание, интерес, тревога должны бы остаться вполне открытыми, свободными и в устремлениях, и в выводах, ничем заранее не предрешенными. Вера и сомнение должны бы остаться равноправными и равнозначительными. У нас теперь это далеко не так, и воинствующему безбожию все настойчивее у нас противопоставляется церковность, если и не воинствующая, то отталкивающая чуть ли не как мракобесов тех, кто склонен повторить — «помоги моему неверию!» В будущем нашем диалоге с Россией это может оказаться препятствием. Люди по-настоящему делятся ведь не на верующих и неверующих, не на тех, кто ходит к обедне и кто к обедне не ходит: люди делятся на тех, которые чувствуют загадочность жизни, наличие тайны в мироздании и тех, которым все представляется просто, подлежащим рано или поздно уразумению. Богу, —

сказал бы Бердяев, не отступавший перед возможностью ошибки в истолковании божественных требований, — Богу не оскорбительны ни сомнения, ни недоумения, Богу оскорбительно равнодушие, отсутствие «трепета». Наш близкий или далекий диалог с Россией должен бы начаться с отказа от равнодушия, даже в самых скрытых, самых утонченных и соблазнительных новейших его формах. Россия оказалась в нескольких поколениях обездарена Лениным, человеком умным, но плоско-умным, и в непоколебимой, в безграничной самоуверенности своей гнавшим и презиравшим, как «поповщину» все то, что было и остается вечным достоянием человеческого ума и духа.

По всем доходящим до нас из России сведениям, там сейчас именно к Бердяеву растет интерес, растет внимание. Именно он, Бердяев, — в центре нескончаемых бесед и споров, вероятно, как в рудинские времена, ночью, в продымленной студенческой комнате, со стаканами остывшего чая перед спорящими. Радоваться ли этому? И да, и нет, на мой взгляд. Бердяев много сказал очень верного, по нынешнему состоянию умов очень нужного: в частности, о свободе. Но самая очевидность, непреложность его главнейших утверждений, как насущным хлебом удовлетворяя пробудившийся к пытливости ум, отбивает охоту к дальнейшим поискам и проверкам. Бердяев немножко «рубит с плеча», и помню, сам признавался, при том с удовлетворением признавался, что пишет большую книгу в месяц-два, а на обстоятельное ознакомление с большой книгой нового автора ему достаточно одного вечера. У Бердяева был ум, сильный, трезвый, требовательный, но не было задумчивости, в противоположность Розанову или Шестову, несравненно более гибким, нередко колеблющимся, допускавшим к концу мысли то, что представлялось им невероятным при ее зарождении. Отчасти это обнаруживается в стиле Бердеява, более «рубленном», чем у кого либо другого из больших русских мыслителей.

Но, пожалуй, и хорошо, что очнувшаяся от спячки русская молодежь начинает с Бердяева. Ей нужны сейчас простые, первичные, оклеветанные истины: остальное придет потом.

Утверждение одного из авторитетнейших современных

биологов и химиков, нобелевского лауреата Жака Моно в замечательной вступительной лекции к курсу в «Коллэж де Франс».

Давно было сказано, что если представить себе обезьяну, которая в течение миллионов, миллиардов, триллионов лет сидела бы за пишущей машинкой и безостановочно стучала бы по клавишам, наугад, наудачу, не разбираясь в начертанных на них знаках, то могло бы оказаться, что в порядке почти невероятной, но теоретически допустимой случайности она выстукала бы полное собрание произведений Шекспира. Это было бы воспринято, как чудо, но это чудо, в опровержение возможности которого доводов нет.

А если возникло в мире величайшее чудо, подлинное чудо из чудес, человеческий мозг, центральная нервная система человека, и значит, как следствие, все относящееся к «ноосфере», все бесплотное и духовное, то должно было это произойти в результате такой же триллионной, квадриллионной случайности, бесконечного столкновения, сцепления, разлада слепых молекул, бесконечной их слепой игры, начавшейся в непостижимые для нас времена и обреченной вместе с нами, вместе с нашим солнцем и землей, бесследно исчезнуть. Вероятность образования человеческого мозга в процессе становления вселенной была не больше вероятности появления трагедий Шекспира под пальцами обезьяны.

Нельзя без оцепенения вчитываться, вдумываться в такие строки, невозмутимо и неумолимо логические, неумолимо убедительные в своем полном безразличии к убаюкивающим метафизическим домыслам Тейяр де Шардена, а заодно и к мнимо-научной «диалектике природы» Энгельса.

Два возможных, достойных ответа.

Или пойти в церковь и сказать: «Отче наш, иже еси на небесех...»

Или застрелиться, — но не так, как Кириллов, чтобы «заявить своеволие», а от нестерпимого сознания финальной бессмысленности мироздания, если действительно оно таково, как допускает наука.

(Впрочем, возможен и другой ответ, в наше время все шире распространяющийся: ухватиться за эфектную тему «абсурдности» жизни, приняться с увлечением эту тему разрабатывать, сочинять соответствующие повести и романы и со-

ставить себе солидную, завидную репутацию писателя, «идущего в ногу с веком», модернистического властителя дум).

Не ответ, а скорей соображение в паралель и дополнение к словам Жака Моно о «чуде» и о неизбежности его финальной гибели. Чуть-чуть все-таки и в убаюкивание.

Ни симфония Моцарта, ни стихотворение Пушкина окончательно быть уничтожены не могут, что с нами и с нашим миром ни произошло бы. В них нет ничего поддающегося уничтожению и разрушению.

Для нас они обманчиво «осуществляются» каждый раз, как мы входим в общение с их бесплотной сущностью, беря в руки книгу или сидя в концерте. Но истинная их сущность остается и при этом вполне вне-вещественной, нигде окончательно не запечатленной. Они неуловимы, они остаются чем-то вроде платоновской «идеи». Книга, оркестр — нечто вроде зеркала, в котором они отражены, но и только. Исчезнет оркестр, который симфонию эту может исполнить, истлеют, сгорят рукописи с уже никому непонятными печатными знаками, умрет последний человек, который пушкинское стихотворение в состоянии вспомнить, повторить, но их пребывание в плане не поддающемся власти понятий временных и пространственных останется неизменным. Они существуют, и с момента их создания будут существовать всегда, может быть, оставаясь навеки неведомыми, никому недоступными, но и пребывая вне какой бы то ни было разрушающей досягаемости. При возникновении, при восстановлении памяти, невероятном, но допустимом, как предположение, мгновенно были бы восстановлены и они, без малейшего творческого усилия со стороны вспомнившего.

«Смерть и время царят на земле», по Владимиру Соловьеву. Не над всем царят.

«Анна Каренина».

Большей частью предпочтение отдается «Войне и миру», хотя «Анну Каренину» многие считают «совершеннее». Это иносказательно признал Достоевский (в «Дневнике писателя»

и в словах, переданных Н. Н. Страховым). Об этом, если не ошибаюсь, писал Конст. Леонтьев, говорили и другие.

Не думаю, чтобы это было в точности верно. Кое-где в «Анне Карениной» чувствуется, что Толстому, охваченному уже совсем иными мыслями, скучно и тягостно было ее писать. Временами он оживлялся, вдохновлялся и писал так, с такой силой, как в русской литературе не писал никогда никто («ни до, ни после него»», повторял Лев Шестов). Но потом снова принуждал себя к работе над рукописью, и принуждение это в некоторых главах, — тех преимущественно, где Анна и Вронский отсутствуют, — дает себя знать.

А все-таки, даже при убыли прежнего гомеровски-безбрежного, безмятежного вдохновения, «Анна Каренина» едва ли не значительнее «Войны и мира», едва ли не глубже, и во всяком случае представляет собой ужасный и неотвратимый вывод из того, что в «Войне и мире» рассказано и показано.

«Война и мир» — это жизнь, бытие. Вот, что такое жизнь, на всем протяжении своего повествования как бы говорит Толстой. «Анна Каренина» — другое, т.-е. второй, следующий этап: вот что человек со своей жизнью делает, вот во что он может жизнь свою превратить. Не знаю, разделяет ли кто-нибудь мое чувство, но сколько бы я эту книгу ни перечитывал, мне всегда хочется взять Анну за руку, остановить, сказать ей: что ты делаешь, зачем, по какому дьявольскому наваждению, ты сама себя губишь? Особенно хочется это над несравненными, предсмертными ее страницами, начиная с той, где она смотрит на спящего Вронского, чуть ли не задыхаясь от любви, «не в силах сдержать слез нежности» и кончая уже близкой свечей, которая «затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Но ведь такое же чувство возникает и при чтении иных трагедий Шекспира, то же чувство возникает и в «Кольце Нибелунгов», когда Зигфрид доверчиво, в последний раз произнося дорогое имя, пьет братски предложенную ему отраву, лишающую его памяти, — да, чувство это лежит в основе, в идейной ткани некоторых величайших созданий человека, как бы ни были они различны по складу.

Толстой, вероятно, расхохотался бы, если бы ему сказали, что Анна кому-то напомнила Зигфрида. Но что с Толстого взять? Хохотал он над многим, не удостаивая заметить, что хохочет над самим собой, над лучшим, что проносилось в его

сознании. Что ты с собой делаешь? Что все вы делаете со своей жизнью? Помочь нельзя, и крайне мало надежды, что люди одумаются и перестанут сами себя губить.[1]

Мне приходилось читать и разбирать «Анну Каренину» с иностранными студентами, приходилось не раз беседовать о толстовском романе и с людьми постарше. В девяти случаях из десяти реакция была такая: «да, вы правы, хороший роман, очень хороший, но все же, знаете, несколько устарелый... Женщина влюбилась, бросила мужа и сына, запуталась, кончила самоубийством, — что же тут такого замечательного? Теперь, когда в мире происходят такие события...» Руки опускались, я не знал, что ответить, ибо начать пришлось бы с таких далеких азов, которые и припомнить трудно. Действительно, женщина влюбилась, запуталась, погибла, совершенно верно, ничего замечательного в этом нет, да к тому же и бытовая оболочка романа устарела, верно, — но неужели вы не чувствуете, даже не столько в смысле слов, сколько в ритме их, неужели вы не чувствуете, что это весь мир гибнет вместе с нею, мы все гибнем, и неужели не содрогаетесь?

Кстати, по свидетельству Вал. Катаева, Бунин при давних, одесских встречах с ним, говорил, что хотел бы по своему «переписать» толстовский роман, кое-где подчистить его, кое-что выбросить. Нет сомнения, что Бунин сделал бы это мастерски, — хотя вспоминая то, что он говорил об «Анне Карениной» в самые последние годы жизни, удивляюсь, как могла придти ему в голову такая мысль даже в молодости. Однако, допустим, Бунин написал бы «Анну Каренину» наново. Что по-

[1] Знаю, что упоминание о вагнеровских замыслах, да еще рядом с Шекспиром, многим покажется преувеличенным, почти нелепым. Ветер времени веет в другом направлении, люди снисходительно скучают над тем, что изумило и потрясло их отцов. Но Морис Баррэс в конце прошлого века чуть ли не на коленях обращался к Нагорной Проповеди и к «Федону», — как к лучшему, самому высокому, что мог вспомнить, — с мольбой «принять на свои высоты» именно это. И был по своему прав. А что каждое поколение не только «переоценивает ценности», но и глохнет по отношению к тому, что слышали поколения предыдущие, известно давно. Правда, ни с Нагорной Проповедью, ни с «Федоном» этого не произошло. Но тем более мольба, именно к ним обращенная, «принять на свои высоты» создание если и не столь долговечное, то все же с прорывами к вечному свету, сохраняет свое значение.

лучилось бы? Отличный, превосходный роман, вероятно, более короткий, чем у Толстого и может быть более стройный. Но «Анна Каренина» — это не роман, отличный или не отличный, это целый мир, и как в живом, беспредельном мире в ней есть, в ней не может не быть многого, что кажется лишним. Та или иная мелочь есть потому, что она есть, без объяснения и без оправдания, вовсе не потому, что она нужна. Таких мелочей еще больше в «Войне и мире». У Бунина почти все «лишнее», вероятно, исчезло бы, но стремясь очистить написанное Толстым, по своему даже добившись этого, он исказил бы «Анну Каренину», умалил, снизил бы ее до неузнаваемости. Вероятно он, например, убрал бы свечу, при которой Анна читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу жизни». В самом деле, образ до-нельзя банален, и не только он, Бунин, но и Тургенев или, скажем, Флобер, сочли бы недопустимым ввести его в свой текст. Им было бы стыдно, если бы он по недосмотру в книгу вкрался. Однако, эта свеча вспыхивает и гаснет у Толстого как будто в первый раз с тех пор, как создан мир, и все стилистические усовершенствования и ухищрения становятся в ее прерывистом, предсмертном мерцании до смешного ничтожны.

В последние годы, читая иные книги или статьи, прислушиваясь к некоторым разговорам, нередко вспоминаешь тургеневскую Кукшину, нигилистку из «Отцов и детей»: «Помилуйте, в наше время как же без эмбриологии!» Теперь об эмбриологии мало кто вспоминает, но по существу нравы изменились мало.

«Помилуйте, после Планка и теории квантов, после Нильса Бора...» «Помилуйте, после того, как Эйнштейн опроверг Ньютона...» «Теперь, после Фрейда, приписывать какое-либо значение разуму?..» — и так далее.

Бесспорно, во всех этих «после» доля правды есть, даже большая доля правды. Наука сделала в наше столетие головокружительный скачек и в разных областях обнаружила многое, еще недавно казавшееся невероятным. Главное, может быть, обнаружила она то, что в строении нашего мира есть нечто, если на крайность и укладывающееся в цифры, то ускользающее от понимания и рассудочного анализа, — о

чем, впрочем, догадывались отдельные великие умы и в прошлом. Есть нечто непостижимое и в самом человеке. Да, это бесспорно так. Но ничуть это не оправдывает беззаботного, залихватского, веселого «все позволено», которым охвачены некоторые наши современники, не оправдывает ребяческого упоения внезапно представившейся возможностью болтать, что угодно, предполагать, что вздумается, красуясь при этом своей интеллектуальной авангардностью. Пожалуй, никогда еще человеческая суетность не была так очевидна, как теперь, «после Планка», — который, конечно, вместе с Эйнштейном, Фрейдом и другими великими учеными, никакой ответственности за подобное использование своих трудов не несет и наверно никакой суетностью не страдал. Но научные, подлинно-творческие открытия — одно, а их вульгаризирование, их стремительная переработка в удобоваримую идейную пищу передовых весельчаков — нечто совсем другое.[2]

Во-первых, милейшая Кукшина тоже была убеждена, что ей и ее эпохе открылась окончательная, неопровержимая мудрость, — и как знать, не усмехнутся ли над нами наши внуки и правнуки приблизительно так же, как теперь мы готовы усмехнуться над ней и ее незадачливой, будто бы все объясняющей «эмбриологией»? А во-вторых... во-вторых, люди все же обречены до конца дней жить в пространстве трехмерном, обречены жить, действовать, страдать, искать, рассуждать в соответствии с единственно нам доступным строем мышления, и никакие теоретические догадки о другом строе, с другими предпосылками, практически ничего изменить для нас не могут и с земли никуда нас не уведут. Разум понял, что он не все в состоянии понять, и откровенно в этом признался. Поняв свою ограниченность, он убедился в условности наших земных мерил. Но на деле в нашем существовании все для нас осталось таким же, как было испокон веков, как будет и впредь, до конца мира. Отрекаясь от разума, мы в сущности отрекаемся

---

[2] Гаус, не напрасно прозванный «королем математиков», предугадал до Лобачевского и Римана возможность построения не-эвклидовой геометрии. По повидимому он был настолько ошеломлен своими прозрениями, что предпочел молчать. Если глухие, не совсем ясные сведения на счет этого, содержащиеся в его биографии, верны, то факт такого молчания мог бы заставить задуматься и людей от математики далеких. Потому, что не только в математике тут дело.

и от той великой новой ценности, которую можно было бы определить, как «понимание непонимания».

«Друзья человеческого рода и всего, что для людей свято, не оспаривайте у разума того, что делает его высшим благом на земле: его права быть последним пробным камнем истины». Этим патетическим призывом оканчивается одна из статей человека, который с тех пор, как стоит свет, вероятно, больше и глубже кого-либо другого думал о природе разума, и сам отчетливо установил его границы, предоставив свободу вере: это — слова Канта («Об ориентировке в мышлении»).

Правда, после Канта явились мыслители, с необычайным ожесточением восставшие против разума, — Ницше, Киркегаард, если назвать имена самые значительные и во всяком случае сейчас наиболее влиятельные. Но в их восстании был оттенок трагический, они бились головой об стену, сходили с ума, и не случайно Киркегаард сказал, что источник философии — отчаяние, вопреки древним, утверждавшим, что ее источник — удивление.

Все это действительно идейное содержание нашего времени. Но содержание это имеет до крайности мало общего с самодовольством бесчисленных нео-Кукшиных, в частности облюбовавших новую поэзию, и под старым, истрепанным, полинялым знаменем «слова, как такового», стремящихся уйти в бесконтрольное мечтательство, прикурнуть в удобном, уютном уголке.

Слушая «Весну Священную» Игоря Стравинского.

Слушая не в первый, а вероятно, в десятый раз, но всегда с тем же смутным смятением, с какой-то горечью и печалью. По мнению знатоков, это произведение гениальное, и не мне, с моим музыкальным диллетантизмом, им перечить, — тем более, что к смятению неизменно примешивается и удовлетворение дикой мощью звуков, безошибочно-ладным их сцеплением.

Но с этими звуками надвигается на нас тьма. Наше солнце заходит, будут другие, долгие дни, будет долгая, новая перелицовка единого человеческого духовного наследия. Но наш день кончается, наш чудный, ясный день, да, с его иллюзиями, заблуждениями, может быть, даже с каким-то его малодушием, но и с тем, что все-таки не напрасно мы любили, хотели

удержать, отстоять, спасти. «Помедли здесь со мной над этим пепелищем твоих надежд земных». Кому это сказать, кто поймет, откликнется? Возраст роли не играет, и должны бы найтись люди совсем еще молодые, которые неотвратимость надвигающейся тьмы чувствуют — впрочем, в толпе тех, кто ей рукоплещет, высокомерно посматривая на тупых, по их убеждению, консерваторов.

Конечно, история движется скачками, а не по прямой линии, конечно, нельзя жить прошлым, конечно, обновление в искусстве необходимо: конечно, лошади едят сено и овес. Но все-таки «помедли здесь со мной над этим пепелищем твоих надежд земных», — тем более, что пепелище еще не совсем остыло, еще светится последними, дотлевающими огоньками.

Не знаю, как относится теперь к «Весне» ее автор. Но судя по всей его позднейшей деятельности, он ее отбрасывает, перечеркивает. «Звуки ничего выразить не могут», упорно повторяет Стравинский. Нет, в мире не существует ни одного явления, которое ничего не выражало бы, и звуки исключения собой не представляют.

Когда Россия станет Россией.

Не «снова станет Россией», как сказано в одной из статей В. В. Вейдле (в сборнике «Старые молодым»: «Пора России снова стать Россией»). Нет, не «снова», — потому, что в действительности она никогда и не была окончательным свершением того, что по предположению Бердяева, в данном случае перефразировавшего Соловьева, — «Бог задумал о России», и что только мелькнуло в некоторых редчайших русских сознаниях. Думая об этом, слово «снова», относящееся к пореволюционному огрубению былой, узкой и глубокой русской культуры, отбрасываешь еще и потому, что революция была и остается для России неким «страшным судом», экзаменом, который следовало бы выдержать, но на котором можно и сплоховать. Огрубение, измельчание культуры было неизбежно, по своему даже оправдано, если принять во внимание, что одному или двум многомиллионным русским поколениям, которые веками и десятилетиями пребывали в безграмотности или малограмотности, внезапно оказались доступны прежние духовные яства. С этим можно примириться, с этим надо при-

мириться, как бы нам ни представлялось это тягостно, а нередко, к сожалению, и смешно. И дело все-таки не в этом.

Россия станет Россией, когда поймет, почувствует и во всеуслышание признает, что революция была нашим общим великим бедствием, пусть в первоначальном, теоретическом замысле своем и казалась она, — как почти все революции, — одушевленной справедливыми целями, правильными стремлениями. Россия станет Россией, когда поймет, почувствует и во всеуслышание признает, что никакие государственные достижения, — полностью отрицать которые невозможно иначе, как по слепому упорству, — да, никакие государственные достижения, ни в каких областях, не искупают неисчислимых страданий, несчастий, моря крови, ожесточенного, беспощадного, бесстыдного сведения счетов с людьми лично ни в чем неповинными, словом, торжества тьмы и злобы. Россия станет Россией, когда возникнет ужас перед тем, что революцией было вызвано и во имя ее совершено, когда перестанут восхваляться и даже обожествляться деятели, политически может быть и выдающиеся, но примером своим, указаниями своими утвердившие бездушное, бесчеловечное, мертвящее представление о народе и истории.

Когда будут отвергнуты лживые, мнимоотвлеченные прописи насчет великих достоинств класса «восходящего» и неустранимых пороков класса «нисходящего», когда исчезнут остатки волчьей ярости к тем, кто будто бы «нисходит», когда былые красные и былые белые поймут, что и тем, и другим есть чему ужаснуться, а вопрос, кто должен бы ужаснуться сильнее, решающего значения не имеет. Все виноваты, все должны бы признать это, и как в стихотворении Хомякова, посвященном нашей истории, на коленях просить Господа Бога, «чтоб Он простил, чтоб Он простил», а при неверии в Бога просить прощения у своей искаженной, одурманенной совести, у всех других русских людей, «восходящих» или «нисходящих», одурманенных не меньше, чем они сами. И еще молить Бога, чтобы никогда больше в России ничего подобного не было, как бы порой ни казался общенародный переворот желателен, — ибо иначе, хотя бы и при другом характере взрыва, будет опять то же самое, будет та же слепая, звериная ненависть, слепое сведение счетов, бесчисленные жертвы, океан крови, все то же, чего искупить и забыть нельзя. Нужно постепенное отрезвление, мало-по-малу внушаемое поколе-

ниями, революции не видевшими, но знающими по наслышке о ее истинной сущности.

Нет, такие мысли — не прекраснодушный, эмигрантский бред, заслуживающий всего только пренебрежительной усмешки. Если в прошлом уже бывали длительные общенародные кровавые бедствия, после которых никакого общенародного отрезвления умов и сердец не последовало, а наоборот, последовали успокоительные разъяснения, что воспринимать их следует «en bloc», т.-е в целом, без деления на составные части, — насколько помню, термин этот принадлежит Клемансо и относится, конечно, к революции французской, — если это и бывало, то довод не убедителен, по крайней мере, для нас, для России не убедителен. Пусть, кому угодно, занимаются «блоками», превозношениями и всякими иными наркотическими передергиваниями. Пусть! Никто никому в этих делах не указ. Но Россия должна бы стать рано или поздно Россией, и когда вспоминаешь все то страстно-вдохновенное, что было о ней написано, полное страстно-вдохновенного убеждения, что у нас есть свое, особое назначение в мире, как не сказать себе: теперь или никогда! Теперь не в смысле «завтра», «послезавтра», а именно в предчувствии окончательного, последнего, далекого экзамена, на котором дай ей Бог не провалиться. Даже лучше, если бы далекого, — потому, что при этом в личных надеждах исчезает эгоистический оттенок. Отпадает подозрение в эгоизме. Нет, нам лично уже не дождаться великого русского примирения и просветления после великого русского безумия. Нам лично уже «все равно». Но даже доживать свой век, даже умирать легче, веря, что просветление наступить должно, и тем тверже веря, что оттуда, из России, нет-нет, да и доносятся новые, молодые голоса, на свой лад говорящие о чем-то очень близком и схожем.

(Продолжение следует).

Георгий Адамович

Облаками словно теплой шалью
Зябкая закуталась луна.
Эта осень началась печально
И печально кончится она.
Осень это время расставанья,
Но никто не скажет мне "прости".
Говорят чужие "до свиданья"
И еще — "счастливого пути"!
Только как счастливый путь найти?

1922

2

Подсчитай и взвесь и смерь
Факты и слова.
Ты тогда поймешь, что смерть,
Смерть одна права.

Смерть ее и смерть его
И трилльонов их —
Проведи последний штрих,
Под которым ничего,
Ничего и никого,
Только свет и торжество,
Нежной смерти Рождество.

3

Нежданно, хоть, пожалуй, зря,
В ночь на восьмое октября
Открылся мне и стал понятен
Тот хрупкий параллельный мир,
Где вздохи муз и всплески лир,
И много звездных пятен,
Где все пути ведут к добру,
Где жизнь похожа на игру,
На зеркало в хрустальной раме,
Где нет ни дерева, ни пня,
Где кошки смотрят на меня
Почтительно, зелеными глазами.

4

"Вращается Фортуны колесо",
Но я не думаю об этом.
Желанье стать простым предметом,
Обожествленным Пикассо,
Всю ночь тревожило меня, —
Серебряною ложечкой звеня,
Подсвечником иль утюгом —
Перенестись на полотно
Бессмертным красочным пятном.

Хочу, чтоб было мне дано
Миллионы стоить и в музее
Недели, годы и века,
Пока течет —"времен река",
Мной восхищались ротозеи.

Ирина Одоевцева

О ПОЭМЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

Русский символизм — явление неоднородное. Уже само подразделение деятелей символизма на «старших» и «младших» указывает на принципиальные различия эстетико-философских характеров этих двух основных групп. Старшие поэты-символисты ставили перед собой чисто практические задачи — обогатить русскую литературу за счет новых (главным образом, французских) достижений в области поэтики, а также пересмотреть прошлое мировой литературы с точки зрения задач, подсказанных новой поэзией. В старшей группе один только Д. С. Мережковский, на основе философских и культурно-исторических обобщений (не без связи с Вл. Соловьевым), создавал предпосылки философии символизма. Как философ, он требовал возвращения к идеализму, как историк культуры, он, один из первых в русской мысли той эпохи, поставил вопрос о культуре в метафизическом плане, т.-е. указывал, что культура есть не столько сумма исторически обусловленных явлений, сколько органический процесс, стремящийся подняться до метафизически-окрашенного органического единства, которое может быть интерпретировано с религиозной точки зрения. Младшие символисты, которых философские вопросы занимали гораздо больше, чем их предшественников, в своем мышлении перекликались с Мережковским и во многом разделяли его взгляды, но, надо отметить, что некоторые из них (в частности, Андрей Белый) высказывали сходные мысли, независимо или почти независимо от Мережковского. Кроме этого указанного различия, необходимо напомнить, что каждый из видных символистов обладает ярко-выраженной индивидуальностью, так что порой кажется, что каждый из них является антиподом по отношению ко всем остальным. Так, например, Блок и Брюсов противоположны друг другу почти во всем, даже до такой степени, что, если Блок

справедливо считается символистом «как таковым», то Брюсова многие склонны относить к акмеистам (большое влияние Брюсова на акмеизм не подлежит сомнению). В то же время Брюсов оказал сильное влияние на Блока (тема города), а Блок, в свою очередь, несколько влиял на Брюсова. Андрей Белый, поэма которого «Первое Свидание» является темой настоящей статьи, совершенно ни на кого не похож и творческий путь его проходил в иной атмосфере.

Между прочим, в отношении Андрея Белого, как писателя и поэта, очень важным является то, что Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) — москвич, сын профессора Московского университета, математика Н. Бугаева, одного из видных представителей Московской математической школы. Далее, Белый — воспитанник известной Поливановской гимназии в Москве, он органически связан с «Московско-Арбатской» интеллигентско-профессорской средой. В университете он занимался математикой и естественными науками. Я подчеркиваю, что объединяющее столь различных писателей наименование «символисты», в сущности, очень мало говорит об их индивидуальностях и указывает лишь на то, что их творчество строится на совершенно иных принципах, чем творчество писателей последней трети 19-го века, т.-е., что все символисты инстинктивно отталкивались от социологического позитивизма своих отцов и противопоставляли ему философски обоснованный, в широком смысле платонический, или даже религиозно-окрашенный романтизм. Говоря непосредственно об Андрее Белом, мы на примере его собственных высказываний можем показать то, что он определяет, как характерную черту его поколения — «борьбу между отцами и детьми», иначе говоря, реакцию детей, принявших идеалистическое миросозерцание в любых формах, и автономную эстетику идеалистического толка — на взгляды отцов. Следует отметить, что математические построения своего отца Андрей Белый не совсем точно отождествлял с сухим эмпиризмом позитивистского толка, и, естественно поэтому, внутренне протестовал против них. В действительности же проф. Бугаев, как и другие представители Московской математической школы, в своих построениях уже закладывали основы нового математического мышления. По мнению специалистов, построения Московской математической школы в прошлом могут быть сопоставлены с Лейбницем, а в наше

время близки Эйнштейну. Позднее, уже в советское время, последователи этой школы, в лице проф. Лузина и его учеников подверглись преследованиям советского правительства, как идеалисты. Но это вопрос специальный и затронут здесь только в связи с тем, что математические взгляды отца отразились на образном и философском мышлении Андрея Белого.

В своей книге «На рубеже двух столетий» Белый так определяет философскую атмосферу, в которой складывалось его художественное миросозерцание: «Оказывается — выдвигается не математик, а символист — так славные традиции Люиса и Бокля приложили реально руку к бурному формированию московского символизма в недрах позитивизма; у меня отбирали книги по искусству и заменяли их «своим» чтением... и этим вызывали лишь могучий протест какою угодно ценою сорвать с себя искусственную заклепку из Спенсера; я показывал язычок Шопенгауэром и прочею «мистикой» уже с шестого класса гимназии». Комментируя эту цитату, обратим особое внимание на выражение «московский символизм». Вся поэма «Первое Свидание» выдержана в тональности «московского символизма». Кроме того, отметим, что Шопенгауэр с современной точки зрения, конечно, не может рассматриваться, как мистик (уже Белый ставит это слово в иронические кавычки), но, сравнивая философию Шопенгауэра с дарвинистическим эволюционизмом Спенсера, Белый вполне естественно предпочитает Шопенгауэра. С современной точки зрения было бы естественней противопоставить Спенсеру Шеллинга, т. к. Спенсер и Шопенгауэр недостаточно противоположны.

Приведем еще один отрывок из книги «На рубеже двух столетий»: «За круглым столом Соловьевых... сложилось понятие о культуре, как о живой связи знаний, а не о каталоге лишь; в другом разрезе это мое понятие о конкретно-совершаемом синтезе, как символе...» В другом месте Белый говорит: «Единство есть символ» (Сборник «Символизм», статья «Эмблематика смысла»). Итак, вот чем определяется кредо московского символизма Белого. Отметим его перекличку с Мережковским.

Семья Соловьевых сыграла значительную роль в философском развитии Андрея Белого. Эта семья состояла из филолога Михаила Сергеевича Соловьева, профессора, брата Вл. Соло-

вьева; его жены, Ольги Михайловны, которая оказала особое влияние на Андрея Белого, и их сына, Сергея (Сережи Соловьева) — сверстника и приятеля детства Андрея Белого.

Ранние стихи Андрея Белого — сборники «Золото в Лазури», «Пепел» и др. (в совокупности составляющие довольно толстый том) не представляют большого интереса и находятся под сильным влиянием Блока и других символистов. В этих сборниках выделяются только стилизации Белого под 18-ый век, что отражало увлечение стилизацией, характерное для русской поэзии начала 20 века. Другое дело — проза А. Белого. Андрей Белый является одним из крупнейших русских прозаиков 20-го века. Романы «Серебряный Голубь», «Петербург», «Котик Летаев», «Москва» и «Симфонии» оказали значительное влияние на современную русскую прозу. Для нас, в связи с нашей темой, чрезвычайно важен тот факт, что Андрей Белый в своей прозе выработал стилистические приемы, впоследствии блестяще примененные им в его поэме «Первое Свидание». Эта поэма пробивает совершенно новые пути в поэзии и является высшим достижением Белого в стихах и одним из блестящих явлений русской поэзии в целом.

Приведем цитату из романа «Петербург». Оговоримся, что в этой цитате нас интересует только образная система или поток образов. «Со стола поднималась длинная бронза; ламповый абажур не сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко, секрет этой краски наш век утерял; стекло потемнело от времени и — тонкая роспись. Золотые трюмо отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал, их увенчивал крылышком розовощекий амурчик, поблескивал перламутровый столик. Аполлон Аполлоныч распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную граненую ручку, по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросались горки фарфоровых безделушек; безделушки эти вывозили они из Венеции — он и Анна Петровна тому назад тридцать лет». В связи с этим отрывком выскажем несколько соображений относительно прозы Белого, ограничиваясь ее формальными признаками, так как эти формальные признаки объединяют беловскую прозу с «Первым Свиданьем».

Для психологии Белого характерна динамическая расчлененность сознания, которая дает ему возможность намеренно путать, перекрещивать плоскости бытия и галлюцинировать

идеями в зримых образах. Отметим в цитированном отрывке исключительную остроту писательского зрения, остроту деталей. Как мы видели, проза Белого — ритмическая проза. Нам кажется, что недостатком ритмической прозы Белого является ее ритмическое однообразие. Богатство возможностей разговорной речи подменяется здесь стиховой организацией (метром) в прозе. Благодаря этому исчезает необходимый в прозе момент ритмической неожиданности, новизны. Метрическая организация слишком бросается в глаза, чтобы ее можно было не замечать — и поэтому производит впечатление навязчивости. В стихах однообразие метра искупается: 1) неожиданностью и разнообразием рифмовки; 2) крайней сжатостью стихотворного текста по сравнению с прозой; 3) наконец, тем, что в стихах рифма и ритм настолько связаны между собой, что рифма является естественным завершением ритма, конденсацией его в одном слове. Что касается ритмической прозы, то в том виде, как предложил ее Белый, она вряд ли может быть сейчас действенна. Может быть, Белый думал об этом, когда в «Первом Свидании» от ритмической прозы отказался, перейдя на стихи, ничего общего не имеющие со стихами его прежних сборников.

Поэма «Первое Свидание» написана в 1921 году и является, таким образом, одним из самых поздних поэтических произведений Белого. Воспоминание, ретроспекция является одной из важнейших психологических особенностей поэмы. В связи с этим, прежде всего, возникает вопрос: первое свидание с чем, с кем? Ответ: с искусством, с художественным творчеством, с самим собой, каким автор был в эпоху начала века, с симфоническими концертами в зале московского Благородного Собрания, с музыкой Скрябина, с фортепьянной игрой Гольденвейзера, с портретами Серова и т. д. Обращаемся к тексту поэмы.

Для «Предисловия» к поэме характерно развитие образа по линии звукосмысловой ассоциации. В первых строках поэмы — «Киркою рудокопный гном Согласных хрусты рушит в томы...», как и во многих других местах, идет поток свободных ассоциаций, но уже дальше автор раскрывает свой первоначальный замысел: «Я — стилистический прием, Языковые идиомы». Следовательно, согласно первому художественному импульсу, поэма представлялась автору всего лишь цепью художествен-

ных образов (приемов), объединенных ассоциацией. Дальше он развивает ту же мысль: «Пеку прием: стихи — в начинку...» Фантазия автора продолжает идти по линии звуковой ассоциации и развивается мысль о самостоятельности, автономии языковой стихии. И вдруг ассоциация приводит к философски осложненному четверостишью: «Ты в слове Слова — богослов: О, осиянная Осанна Матфея, Марка, Иоанна — Язык!.. Запрядай: тайной слов!» Итак, автономная языковая стихия, помимо воли автора, богословствует — сам язык становится богословом. Автономия языковой стихии как бы получает санкцию в Евангелии от Иоанна «В начале было Слово». Русский перевод греческого слова Логос как Слово, несколько сужая греческий смысл, санкционирует автономию языковой стихии. Это очень важный момент для философии символизма. Получается чрезвычайно интересное художественно-философское построение.

Итак, с первых же слов поэмы цепь стилистических приемов осложняется философским подтекстом широкого и глубокого обобщения. Такое перерастание пущенной по ассоциации автономной языковой стихии в философские обобщения отмечаем, как одну из характернейших особенностей поэмы. В ней Белый достигает удивительных результатов в переработке философских построений в художественные образы. В поэме агентами действия являются идеи, но эти идеи взяты в художественном аспекте — и, таким образом, превращаются в художественные образы. В сущности, любая философская система может быть воспринята, как художественный образ, точнее, как развернутая метафора. Этим принципом широко пользуется Андрей Белый в своей поэме. Его идеи настолько реальны, что играют роль, как бы живых существ. Они составляют первичную реальность и всякая иная реальность по отношению к ним вторична. Такой тип философского мышления сближает Белого с философией Лейбница, а также пифагорейцев и неоплатоников.

Анализируя смысловой подтекст поэмы, прежде всего, выделим различные смысловые пласты, проходящие через всю поэму. Выделяем лишь основные пласты: 1) Мир, как мифологическая проблема; 2) Вызванная позитивистами демифологизация мира; 3) Новый «математический» миф, связанный с Московской школой математиков, с творчеством известного философа, математика и богослова, священника о. Павла Фло-

ренского. Книга Флоренского «Столп и утверждение истины» безусловно оказала влияние на Андрея Белого. О. Павел Флоренский в своей книге, между прочим, переводит учение Православной Церкви на язык математических формул. Флоренский преемственно связан с Лейбницем и Паскалем, а в древней философии, как и Белый, с построениями пифагорейцев и неоплатоников. Заметим, что слово «миф» мы употребляем условно, придерживаясь фразеологии, близкой Белому. В действительности, математический миф вовсе не является мифом, а всего лишь интерпретацией мироздания с идеалистических позиций; 4) Мир чистого приема, игры образов; 5) Мир слова, как Логоса.

Наряду с этими крупными пластами, отметим более мелкие: а) память, как источник образов; б) ассоциативность мышления; в) игра на ключевых словах и идеях, дающих колорит эпохи; г) автопародия и пародия на эпоху; д) элементы гротеска; е) индивидуальные повторяющиеся характеристики (лейтмотивы вагнеровского типа); ж) некоторое влияние индусской философии на образный строй поэмы.

На стр. 9 мы читаем: «Передо мною мир стоит мифологической проблемой. Мне Менделеев говорит периодической системой». Здесь Белый кратко намечает философскую антиномию, вокруг которой строятся его поиски — мифологический мир, разрушенный консерватизмом позитивистов. И проблема здесь, конечно, гораздо шире мифа. На стр. 10 Белый прямо говорит о «мифологическом мире», т.-е. о поэтическом мире, канонизованном формами старой поэзии: «Жил бородатый, грубоватый богов белоголовый рой: / Клокочил бороды из ваты и обморочил нас игрой. / В метафизические хмури он бросил бедные мозги, / Лия лазоревые дури на наши мысленные зги». И далее (стр. 11) Белый пишет: «Теперь переменились роли / И больше нет метаморфоз, / И вырастает жизнь из соли, / И движим паром паровоз. / И Гревса Зевс не переладит, / И физик посреди небес». В этих словах не только крушение старого поэтического реквизита, но и наметка новой поэтической картины мироздания. Дальше идет философски-обобщенное развитие той же темы: «Но верю ныне очертили / Эмблемы вещей глубины / Мифологические были, / Теологические сны».

Итак, «передо мною мир стоит мифологической проблемой» — тезис; «мне Менделеев говорит периодической системой» —

антитезис; «неясных образов законы, / Огромных космосов волна» — синтез. Синтез, единство, полнота, а единство для Белого есть символ — последнее обобщение, космическое единство неоплатоников (к которому сводит многообразие мировых процессов и о. Павел Флоренский). Символика Духова Дня играет чрезвычайно важную роль в поэме. С нее начинается и ею заканчивается вся философско-поэтическая композиция поэмы Белого. Богословское значение Духова Дня переосмысляет и освещает космическое единство неоплатоников, в соответствии с концепцией о. Павла Флоренского («Дух дышет, где хочет»). Близость построений Андрея Белого к построениям неоплатоников подтверждается им самим в его статье: «Эмблематика смысла».

Но перейдем к следующей большой теме поэмы Белого, к теме Москвы. Московский подтекст пронизывает всю поэму. Говоря о Москве «Первого Свидания» мы можем даже уточнить: «Место действия», пишет Белый в книге «На рубеже двух столетий», «Арбат, Новодевичий монастырь». В другом месте упоминаются Остоженка, Собачья Площадка и др. характерные места старой Москвы.

Район Остоженки и Арбата еще с начала прошлого века становится очагом своеобразного аспекта русской культуры. Москва старинных арбатских особняков, где еще в 20-ые годы 19-го века собирались любомудры, закладывая основы русской философии, где жил Веневитинов, и Пушкин в его доме впервые читал «Бориса Годунова», — стало Москвой Белого. С Москвой связаны Хомяков, Киреевские, известный славянофильский салон Елагиных. Не случайно Москву называли столицей русской философии, Московский университет всегда занимал исключительное место среди университетов России. Традиции этой среды поддерживались на Арбате и на Остоженке в течение почти ста лет. Владимир Соловьев и вся семья Соловьевых тесно связаны с Москвой, они являются частью этой интеллигентско-дворянской Москвы, которая создала свой особый, специфически московско-арбатский быт, окрашенный для людей этой среды особыми психологическими обертонами, которые только через искусство могут быть переданы людям, незнающим этой Москвы.

Андрей Белый — плоть от плоти этой культуры, этого быта. Каждый угол арбатского переулка, каждый дом имеют

для него особое значение, особое звучание. Недаром он в книге «На рубеже двух столетий» говорит об «арбатском говоре», который объединял его с семьей Соловьевых и который повлиял на развитие его литературного стиля. А о Блоке Белый там же замечает, что Блок хотя и очень хотел, но не мог проникнуть в тайны арбатского говора. Художественно-поэтическое, очищенное памятью изображение этой Москвы и составляет одну из важнейших тем его поэмы. Я не знаю другого произведения на русском языке, где бы этот аспект Москвы был выражен с такой верностью, с такой поэтической силой, на основе таких новаторских художественных приемов. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что характеристики этой Москвы и москвичей даны Белым в плане лирической иронии и лирически-иронического гротеска. Поэма пронизана иронией и юмором, но сатирический элемент не играет в поэме большой роли и, если вообще есть, то касается бегло-зарисованных вполне эпизодических обывателей, вроде «багровой профессорши», «безволосого профессора» и т. д. Поэма насквозь лирична. И придавать иронии и юмору Белого в поэме сатирический смысл — значит не понимать самой основы авторского замысла.

Вот как рисует Белый атмосферу московской квартиры Соловьевых:

Зимой, в пурговые раскаты
Звучала здесь «Навек одно»!
Весною красные закаты
Пылали в красное окно,
На кружевные занавески,
Лия литые янтари;
Любил египетские фрески
На выцветающих драпри,
Седую мебель, тюли, даже
Любил обои цвета «Бискр»,
Рассказы смазанных пейзажей,
Рассказы красочных искр.
Казалось, милая квартира
Таила летописи мира.

О Михаиле Сергеевиче Соловьеве говорится, между прочим, что он философствует, «переплетая теоремы с Ангелологией Фомы» (т.-е. Фомы Аквинского). Такой метод очень напоминает метод Павла Флоренского.

А вот проникнутая мягкой иронией характеристика того же М. С. Соловьева:

Сутуловатый малорослый,
И бледноносый подойдет,
И я почувствую, что взрослый,
Что мне идет двадцатый год,
И вот, конфузясь и дичая
За круглым ласковым столом,
Хлебну крепчающего чаю
С ароматическим душком.
Михаил Сергеич повернется
Ко мне из кресла цвета «бискр»,
Стекло пенснейное проснется,
Переплеснется блеском искр...

Последняя строфа этой характеристики повторяется, как лейтмотив (повторения относятся и к другим характеристикам). Приведем также превосходную характеристику друга Белого Сергея (Сережи) Соловьева.

Две бабушки, четыре дяди
И, кажется, шестнадцать тёть
Его выращивали пяди,
Но сохранил его Господь.
Трех лет, ну право же, ей Богу-с
Трех лет — скажу без лишних слов,
Трех лет ему открылся Логос,
Шести — Григорий Богослов,
Семи — словарь французских слов.

Вот он — провидец и поэт,
Ключарь небес, матерый мистик,
Голубоглазый гимназистик
Взирает в очи Сони Н-ой.

Эти строки нуждаются в комментарии. По свидетельству самого Белого (в книге «На рубеже двух столетий»), они с Сережей Соловьевым еще с детства привыкли «играть в идеи», как дети играют в игрушки. С раннего детства они привыкли мыслить категориями культуры, философии, богословия, эсхатологических кризисов и т. д. Сережа Соловьев уже тогда был

«матерый мистик» в душе, в интеллекте, а фактически он был всего лишь «голубоглазый гимназистик». В философском обиходе эпохи учение о Софии Премудрости Божией, как о мировой душе, разработанное Вл. Соловьевым, но имеющее корни в гностицизме ранневизантийской философии играло значительную роль и естественно проникло в мышление Бори Бугаева и Сережи Соловьева. И вот несколько гротескная ситуация, блестяще обыгранная Белым — «матерый мистик», Сережа Соловьев, прозревает Софию — душу мира, и он же голубоглазый гимназистик, «взирает в очи» какой-то, вполне реальной подруге своего детства и сверстнице, Соне Н-ой. В то же время сам Белый «прозревает Софию» в лице какой-то дамы, которую он называет Надежда Львовна Зарина.

Мы видим, как в эту эпоху, в этой среде философские идеи пронизывали жизнь, и явления обыденной жизни воспринимались сквозь призму метафизических и философских построений. Это чрезвычайно характерная черта московского быта тех лет, но эта черта вовсе не есть изобретение символистов начала века, эта традиция восходит к московским салонам 20-ых и 30-х годов 19-го века. Характерной чертой художественной психологии Белого была именно органическая преемственность от дедов-идеалистов через головы отцов-позитивистов. А характерной чертой московской «арбатской культуры» была органическая, психологически-бытовая преемственность от Москвы Веневитинова, Зинаиды Волконской, Пушкина, Хомякова, Киреевских и т. д. Этот момент очень важен и мы его особо подчеркиваем. «Первое Свидание», поэма о философской Москве, о расцвете русского идеализма в рамках так наз. «религиозно-философского возрождения», поэма о перестройке традиционно-позитивистического миросозерцания на основах идеализма.

Далее «топография» Москвы «Первого Свидания», в качестве одного из основных опорных пунктов, включает Новодевичий монастырь. Там, между прочим, находится могила Вл. Соловьева. Новодевичий монастырь, и для Белого, и для многих москвичей, в частности для меня лично, имеет совершенно особое значение. Я неоднократно бывал в Новодевичьем монастыре и очень хорошо его помню. Поэтому, я могу судить о том до какой степени верно и ассоциативно богато рисует Белый атмосферу Новодевичьего:

Огромный розовый собор
Подъемлет купол златозор;
А небо — камень амиант —
Бросает первый бриллиант;
Забирюзевший легкий пруд,
Переливаясь в изумруд,
Дробим зеркальною волной;
И — столб летает искряной...
Там небо бледное, упав,
Перетянулось в пояс трав;
Там бездна — вверх, и бездна — вниз:
Из бледных воздухов и риз;
Там в берега плеснет волной —
Молниеносною блесной...
Из мира суетной тюрьмы
В ограду молча входим мы.
Крестов протянутая тень
В густую душную сирень,
Где ходит в зелени сырой
Монашек рясофорный рой,
Где облак розовый сквозит,
Где нежный воздух бирюзит...

В лилово-розовый левкой
Усопших, Боже, упокой.

И далее:

В часовне житель гробовой
К стеклу прижался головой;
И в стекла красные глядит,
И в стекла красные стучит.
Чуть фосфореющий из трав,
Сквозною головою встав, —
Подъемлет инок неживой
Над головою куколь свой...

Мы отдаем себе отчет в том, что некоторые ритмико-синтаксические фигуры и отдельные слова, особенно неологизмы типа «купол златозор», как этого отрывка, так и всей поэмы, принадлежат своей эпохе и сегодня не звучат. Но дело не в этом. Приведенный отрывок, как и другие, все равно великолепен. Белому удалось почувствовать и поэтически передать

такие тонкие нюансы Москвы и эпохи, которые никто ни до него, ни после него не передавал. По этой линии у него не было преемников.

Одним из сквозных признаков подтекста поэмы Белого является своеобразный диалог с Пушкиным и Лермонтовым. Но следует отметить, что пушкинские и лермонтовские реминисценции несут в поэме совершенно различные функции. Пушкинские реминисценции несут, главным образом, стилизационно-пародийную функцию, в то время как лермонтовские гораздо более тесно связаны с философским миросозерцанием Белого. Описание Новодевичьего монастыря напоминает описания грузинских монастырей у Лермонтова, например:

Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод,
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенья в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой
Развалин страж полуживой
Людьми и смертию забыт
Сметает пыль с могильных плит...

Эти стихи и метром, и системой рифмовки, и даже строем речи напоминают цитированные выше стихи Белого о Новодевичьем монастыре. Ираклий Андроников в своей книге о Лермонтове, в главе «Лермонтов в Грузии», говорит о том, что на кавказских поэмах Лермонтова сказалось влияние грузинской поэзии. Некоторые наблюдения над стилем поэзии Лермонтова, а также над стилем неоплатоников заставляют нас предполагать, что через Грузию вошли элементы неоплатонизма. Как известно, философия неоплатоников оказала значительное влияние на грузинскую литературу. Если действительно существует влияние неоплатонизма на поэзию Лермонтова, то близость стихов Белого и Лермонтова объясняется тем, что близкий неоплатонизму Белый, почувствовал в Лермонтове неоплатонические элементы и, переосмыслив лермонтовский стиль, использовал его для описания Новодевичьего. Стихи Белого показывают, что он заметил у Лермонтова такие обер-

тона, которые до Белого у Лермонтова никто не замечал. Описанием Новодевичьего монастыря Белый создал предпосылки для развития новой поэтической школы.

В этой краткой статье, которая, конечно, не претендует на исчерпание всей темы, сделана только попытка наметить некоторые вехи лучшей поэмы Белого «Первое Свидание».

Олег Ильинский

Мотаться нам да маяться
(Земное безобразие),
Мочалиться, мытариться,
А все-таки мечтается —
Иллюзии, фантазии...

Мечтается, миражится,
Поется, куролесится,
Душа блудница, бражница
Невестится, куражится,
Несет-то околесицу.

Потараторь, голубушка,
Потарабарь, неумница,
А после сразу бухнемся
С тобой в тартарары.

2

Да, неудачи, и ночь, и так далее.
(Струны давно отзвуча... отзвучали и....)
Что ж, начихать, наплевать.

Да, не умел, проиграли баталию.
Черный прибой, наплывай!
(Навзничь, на нож — невзначай...)

Вечность, ну-ка, встречай!
Нету печали и
Нет воздыхания
Там, у чертей, в развеселой компании.

"Само-убийство"... Да нет, разумеется.
Попросту — в жизни пришлось разувериться.
Дело в тюрьме и суме,
В глупой земной кутерьме.
Кто ты? Овечка? Ме-ме.

Слабый: не стерпится. Гордый: не слюбится.
Жить не умел, так умей
Ангела — нет, не Хранителя — слушаться,
Смутного лика во тьме.

3

Ну что — отмучился? "Залогом примиренья"
Белеет роза на груди.
Ну, если не обман блаженные селенья,
То — Царство Света впереди.

Но свет, пожалуй, был на будущей могиле,
И воздух, как жасмин, расцвел,
Когда тебя, дружок, — ты помнишь? — положили
На операционный стол.

А в тот, нездешний мир ты, значит, под наркозом...
И что же — Бог, блаженство, свет?
К огромным, ангельским, крылатым, райским розам...
Так ка́к же — неужели нет,

Все глупости (эх, хоть бы сон блаженный!),
Лишь роза на груди, где шов,
Недолговечной, да, земной, земной заменой
Небесных вечных лепестков?

4

Мне даже думать об этом странно,
Но если все-таки ("вот-вот!")
Моя рассеянная осанна
Меня от гибели спасет —

То в неземном Иерусалиме
Взгляну туда — сквозь Божий гром —
Где был (любимый? — Ну да, любимый)
Испепеленный Новый Содом.

И успокоясь, и улыбаясь,
Гуляя в ангельском краю,
Далекий пепел посозерцаю
И нежную песенку спою.

Игорь Чиннов

ДОН АМИНАДО

Аминад Петрович не переносил надгробных слов. Они его возмущали. Об этом он говорил не раз. Не любил он и торжественных заседаний. Хорошо знал цену человеческому красноречию. На юбилее Ходасевича, после всех выступлений, прочитал написанные им тут же за столиком, экспромтом, колючие стихи.

Веселый русский Париж тридцатого года. Множество молодых поэтов, два литературных союза, горячие обсуждения, споры, фельетоны Адамовича и Ходасевича о литературных новинках. Казалось, зарубежные силы неисчерпаемы. В том году Иван Алексеевич Бунин и познакомил меня с Аминадом Петровичем. Елисейские поля играли всеми огнями, легкое зарево стояло в небе. Ветер волновал пламя под Триумфальной аркой. Была зима. Встретились мы в тот вечер на углу площади Терн, где были выставлены океанские устрицы в плетеных корзинах и морские ежи. Аминад Петрович пригласил нас в русский ресторан, недалеко от рю Дарю.

А был Дон Аминадо тогда молодой, полный решительной, веселой и бодрой уверенности. Небольшого роста, с прижатыми ноздрями, жадно вбиравшими воздух, с горячими, все замечающими глазами. Хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок. Умный, находчивый, при всей легкости настороженный. Меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное — темные, сумрачные глаза, красивые глаза мага или колдуна.

Таким я его увидел в том веселом когда-то для русской эмиграции вечернем и жадном Париже, где мы все отлично себя чувствовали. Встречи художников на Монпарнасе, вечера в зале Лас Каз, толстый литературный журнал, две независимых ежедневных газеты, много издательств. Центр зарубежной эмиграции. Шаляпин, Рахманинов, Глазунов, Коровин, Сомов, Бенуа, Малявин, Григорьев, Яковлев, Билибин, Шухаев, Ларионов с Гончаровой. Куприн, Зайцев, Ремизов, Шмелев, Алданов и Ме-

режковские. Множество всевозможных союзов, землячеств и объединений. Эмигранты из Москвы, Петрограда, Киева, Харькова и Одессы. Живая история старой жизни, революции, гражданской войны и всех эвакуаций. Рестораны, перекочевавшие из Константинополя, цыгане, которые когда-то певали у Яра и в Новой Деревне. Все бодры, полны надежд и возбуждения. Зима. Литературный сезон.

Столик Аминадом Петровичем был уже заказан. Его с нетерпением ожидали и, когда он вместе с почетным академиком Буниным, по-юношески худощавым, и Верой Николаевной,* возбужденный, полный энергии, с свободой и уверенностью вошел в зал, где играл оркестр и пахло горячими пирожками и кулебякой, — то по широкой улыбке хозяина, по лицам музыкантов, прислуживающих дам и посетителей я увидел, что он здесь не только желанный гость, но его, Дон Аминадо, знают и любят.

Мы заняли отведенный нам столик и на него сразу же было обращено все внимание и даже балалаечники, среди которых были поклонники Аминада Петровича, как нам сказал кто-то, начали играть особенно хорошо, а он оживленный, за всем и за всеми весело наблюдающий, был и среди Буниных свой и с Иваном Алексеевичем, которого и старые литераторы втайне побаивались, чувствовал себя необыкновенно легко. Он знал, как к нему относится не любивший вежливых и уклончивых, ничего не значущих бесед Иван Алексеевич. Он любил бунинскую беспощадную зоркость и острое поэтическое чувство жизни. Он все прощал Бунину и в его присутствии был на редкость остроумен, а Веру Николаевну ласково называл Верочкой. И Иван Алексеевич, который редко долго позволял говорить за столом собеседнику, наслаждался меткостью и острословием Аминада Петровича.

Так же, как и Иван Алексеевич, он страстно пережил революцию. Он все видел и чувствовал с редкой ясностью, а людей и жизнь знал, как никто. Человеком он был горячим и зорким. Сильные привязанности и сильные отталкивания. В жизни был талантливее своих фельетонов. Остроумие, как и жизненная энергия, казались в нем неистощимыми. Нетерпеливый, и в то же время внутренне выдержанный, он как бы обладал гипнотической силой, заставлял слушать себя.

Он все видел — жизнь Москвы, Киева, эвакуации. Он встре-

* Верой Николаевной Буниной. Л. З.

чал людей всех званий и сословий. Был своим среди художников и артистов, у него была всеэмигрантская известность, исключительная популярность. В Париже все знали Дон Аминадо. Без преувеличения можно сказать: в те времена не было в эмиграции ни одного поэта, который был бы столь известен. Ведь его читали не только русские парижане, у него были верные поклонники — в Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии, Польше, Литве. Он сотрудничал в либеральной газете, но в числе его поклонников были все русские шоферы, входившие во всевозможные полковые объединения и воинский союз. Его стихи вырезали из газет, знали наизусть. Повторяли его крылатые словечки. И многие, я знаю, начинали газету читать с злободневных стихов Дон Аминадо.

Веселый и оживленный Париж тридцатых годов. Иллюстрированные журналы, Сатирикон, множество русских ресторанов, шашлыки по-карски, оркестры, джигиты, хоры. Несметное количество художников и поэтов. И большой ежегодный писательский бал в сияющей всеми огнями Лютеции, где танцевал в двух залах и веселился русский Париж и где все блистало хрусталем и белизной — играло два оркестра и необыкновенно бойко торговали шампанским и тортами молодые поэтессы и покровительницы русской литературы. На писательском балу в Лютеции энергия Аминада Петровича была особенно сосредоточена. Он ведал артистической программой, был окружен помощниками и распорядителями, выпускал известных всей России певиц и артисток, представлял их с эстрады толпившейся в зале разгоряченной танцами публике, и казалось неиссякаемым его остроумие.

Залы Лютеции сияют огнями. Я помню, как Аминад Петрович встречал цыганский, прибывший из дорогого ресторана, хор и целовался со старыми цыганками; когда веселый и говорливый табор старух, гитаристов и молодых цыганок в цветных платьях с монистами вступил вместе с ним в широко освещенный и блещущий зал; я помню, как он встречал прибывших из Оперы, закутанных в шубки и платки молоденьких балерин со свежими от зимнего холода лицами, а потом, после нетерпеливых кликов из горячего зала — Дон Аминадо! Дон Аминадо! Просим, просим! Стихи! — выступал и сам, бледный, с темными горячими глазами, принимая все вызовы и с вскинутой головой, переходя в веселое наступление.

Сила воли, привычка побеждать, завоевывать, уверенность

в себе и как бы дерзкий вызов всем и всему, — да, он действовал так, словно перед ним не могло быть препятствий. Жизнь он знал необыкновенно — внутри у него была сталь — он был человеком не только волевым, но и внутренне сосредоточенным. Он любил подлинное творчество и был строгим судьей. В глубине души он был человеком добрым, но при всей доброте, требовательным и строгим. В жизни был целомудренным и мужественным. Меня поражало его внутреннее чутье, а главное — сила воли и чувство собственного достоинства, а человек он был властный и не любил расхлябанности, болтливости, недомолвок и полуслов. Без него не обходились заседания по устройству больших вечеров и в дамских комитетах, куда его всегда приглашали, устроительницы его не только слушали, но и побаивались.

На людях энергичен и весел, но, оставшись один — серьезен. Он умел бороться в изгнании за жизнь и в этом головокружительном, многоплеменном и грязном Париже главное для него была семья, а дома у него, благодаря стараниям и любви Надежды Михайловны, все было безукоризненно — и чистота такая, что ей мог позавидовать капитан любого военного корабля. На стенах висели картины, подаренные художниками, и фотографии с дарственными надписями Бунина, Шаляпина, Милюкова, Балиева, балерины Аржантины, Саши Черного, Куприна.

Семья для Аминада Петровича была святилищем. Для нее он работал, не щадя сил. По ветхозаветному семья была для него святая святых — он любил ее, оберегал ее от бурь житейских, а в воспитание дочери вложил всю свою душу и, отказывая себе и Надежде Михайловне во многом, все сделал для того, чтобы у Лепочки было радостное и счастливое детство.

Меня могут спросить: а как относился к творчеству Аминада Петровича Иван Алексеевич Бунин? Недавно, разбирая его архив, я нашел листок, вырванный из журнала "Современные Записки", с кратко, но сильно написанной рецензией. Она была помещена в отделе "Критика и библиография". На пожелтевшем и уже ветхом полулисте рукой Ивана Алексеевича красным карандашом начертано: 1927 г., книга 33-я, "Соврем. Записки".

Дон Аминадо. "Наша маленькая жизнь". Изд. Поволоцкий и К-о.

Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то-есть, кто такой этот писатель: просто ли очень талант-

ливый фельетонист или же больше, — известная художественная величина в современной русской литературе.

Мне кажется, что уже самая наличность этого вопроса предрешает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение.

И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.

Дон Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах) и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту, — художественному, а не только газетному, злободневному. *Ив. Бунин.*

Во время войны и оккупации русский Париж был расколот, разбит. От страшных ударов и потерь литературная жизнь никогда не поправилась. "Современные Записки" не вернулись из Нью-Йорка в Париж. Уже не было старых газет, издательств. Жизнь уцелевших литераторов изменилась — ничего не осталось от довоенных времен. В большой бедности умер Ив. Ал. Бунин.

После войны Аминаду Петровичу пришлось работать в учреждениях, не имеющих ничего общего с литературой и журналистикой. Мы с Верой Николаевной Буниной радовались, когда он приходил. Аминад Петрович чувствовал и понимал все с первого взгляда. В те времена он уже не писал стихов, но в свободное время работал над книгой воспоминаний. Она была издана, но несмотря на то, что в книге все страницы перенумерованы, в ней нет той, на которой было сказано о конце Ивана Алексеевича. И мне хочется рассказать, почему эта страница не попала в книгу.

Однажды днем Аминад Петрович заглянул к нам и, поговорив с Верой Николаевной, у которой были гости, увел меня в мою комнату.

— Леня, — достав из внутреннего кармана пиджака сложенный веером лист и передавая его мне сказал он, — это страница из моей рукописи. Я долго думал, печатать ее или нет, но не зная, как отнесется к написанному Вера Николаевна, не заденет ли что ее, решил страницу эту отдать вам. Возьмите ее, прочтите, если хотите — сохраните, а в общем, делайте с ней, что хотите.

И вот теперь я решил познакомить читателей с этой неопубликованной страницей, но так как она не имеет начала, то я должен пояснить, что Иван Алексеевич говорил Аминаду Петровичу о встреченной им перед болезнью женщине, которая чрезвычайно яростно и зло крикнула ему, что если Бунина в эмиграции мало читали, то после выхода "Темных Аллей" никто никогда его больше не будет читать.

"— Ничего не поделаешь, Иван Алексеевич, такая уж у Вас судьба, — Бунина знают все, а читают Вас только в 16-ом аррондисмане...

— Хотел было я ее удавить тут же на месте, но потом опомнился, — ведь по существу змея была права...

Иван Алексеевич слабо улыбнулся и замолчал.

...Припадок астмы усилился, беседа оборвалась сама собой.

Через несколько месяцев Бунина хоронили.

За церковной оградой на рю Дарю, как то всегда бывает при подобных обстоятельствах, говорили о постороннем, второстепенном, ненужном.

Потом опомнились, и кто-то со вздохом уронил настоящее слово:

— Великая гора был Царь* Иван!

А когда из церкви вышла Вера Николаевна, прямая, белая, неживая, то вслух не сказали, но про себя подумали:

— Прожить бок о бок долгую жизнь с таким необыкновенным человеком, каким был Бунин, может быть и великое счастье, но что великий был это подвиг — несомненно.

Потом сели в автокары и помчались.

Возвратились из Сент-Женевьев.

Была человеческая потребность прочесть про себя и сейчас вслух стихи, написанные им почти полвека назад:

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты — раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель —
Певучий звон... Все только мысль и звуки.

---

* Слово «Царь» написано Аминадом Петровичем с большой буквы. Л. З.

То, что лежит в могиле, разве ТЫ?*
Разлуками, Печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты — мысль. Ты вечен".

Леонид Зуров

* Слова «Ты», «Печалью» написаны Аминадом Петровичем с больших букв. Л. З.

★

Вышла такая гадость
Прямо ругаться хочется:
Я позабыл свой адрес.
Забыл свое имя и отчество.

И, озираясь гибло,
Города не узнаю.
Видно вконец отшибло
Бедную память мою.

А может быть, где-то рядом,
Стóит мне сделать шаг —
И за бетонным фасадом
Отыщется мой очаг.

Как памятник на граните —
Величественно мастит —
Порядка стоит блюститель,
И бляха на нем блестит.

И я говорю: "Начальник,
Я в толк никак не возьму..."
Я о делах печальных
Рассказываю ему.

— Нет у меня покоя,
Жив из последних сил
С тех пор, как забыл я, кто я,
Как имя свое забыл.

Но не забыл, не забуду
Квартиры моей уют.
Стены ее повсюду
Передо мной встают.

В мешке из красного шелка
Расхаживает жена,
Глиняная на полку
Лампа водружена,

И только войдешь — в гостиной,
Сразу наискосок,

Известнейшая картина —
Копия Пикассо.

Шкаф с дорогим сервизом
По-модному застеклен.
Радио. Телевизор.
Кресло. Магнитофон.

Просьбе моей мгновенно
Блюститель порядка внял:
Взял — и переднюю стену
Огромного дома снял.

Открылись квартиры-дыры
И я возопил в тоске:
Глядит из каждой квартиры
Женщина в красном мешке.

Одной и той же картины
Торчит отовсюду кусок!
Свисает из каждой гостиной
Копия Пикассо.

И всюду — сверху и снизу,
Сбоку, со всех сторон
Радио. Телевизор.
Кресло. Магнитофон.

Я с криком бегу по спальням
От этажа к этажу
И женщинам всем нахально
Прямо в глаза гляжу.

Но всем этим красным теткам
Вовсе я незнаком...
И вот я уже за решеткой
С тяжеловесным замком.

Жена, ты меня не сыщешь —
Будешь искать без конца:
Здесь одиночек тыщи,
Все — одного образца.

Тут каждый из нас на досках
Перед столом сидит.
На каждом — фланель в полоску.
Наголо каждый обрит.

А вдруг и за гробом тоже
Не свидимся мы с тобой?
Я слышал, что души схожи
С дымкою голубой.

На что мне в безликом дыме
Безликое бытие?
Отдайте мне имя, имя,
Отдайте имя мое.

Иван Елагин

1917 ГОД

ЗАПИСИ

МОСКВА. Теперь говорят только шопотом. Слухов, слухов без конца. Говорят, что царицу Александру Феодоровну постригут в монастырь, государь будет отстранен, юного наследника объявят царем, а регентом будет Михаил Александрович или вдовствующая императрица.

Народная молва называет императрицу Александру Феодоровну «злым гением государя». Все несчастья приписывают ей... неудачи на фронте... чехарду министров... все ей... Ей не могут простить Распутина. Этот сибирский мужик публично хвалился, что все, что он ни прикажет, государыня исполняет. Двор, великие князья были поставлены в зависимость от Распутина. Лишь небольшая кучка распутинцев была довольна. Распутина уже нет, но его злое влияние все еще живет... Его ставленники у власти.

Говорят, что 23 февраля в Петрограде на улицах были

Мы приступаем к печатанию ценного исторического документа — «1917 год». Это записи Татьяны Ивановны Алексинской. Т. А. была давним членом РСДРП, в 1917 г. примыкая к правому крылу — к группе Плеханова «Единство». Муж Т. И., недавно скончавшийся, Григорий Алексеевич Алексинский, быв. член Гос. Думы, тоже был социал-демократом, сначала большевиком, близким к Ленину, а потом, порвав с большевиками, Г. А. работал с Г. В. Плехановым в «Единстве». Г. А. Алексинский (вместе с В. Л. Бурцевым) был первым, кто разоблачил в печати в 1917 г. связь Ленина с немецким ген. штабом и получение Лениным от немцев миллионов золотых марок на подрывную работу в России. К сожалению, русские социалисты, и меньшевики и эсэры (за единичными исключениями), считали разоблачения Г. Алексинского «клеветой». После I-й мировой войны ген. Людендорф и известный немецкий социал-демократ Э. Бернштейн публично подтвердили правильность этих разоблачений. А после II-й мировой войны правильность разоблачений Г. Алексинского была подтверждена опубликованием документов из архива немецкого министерства иностранных дел. РЕД.

волнения — собрались толпы народа. Были столкновения с полицией. «Долой правительство!» — раздавались крики в толпе и в хвостах у булочных. Правительство не смогло справиться с организацией продовольствия.

24 февраля столкновения на улицах в Петербурге принимают характер мятежа. 26 февраля правительство новым указом откладывает очередную сессию Государственной Думы. Дума не хочет подчиниться. 27 февраля в Петербурге восстание. Солдаты и казаки братаются с гражданами. Полки: Литовский, Волынский, Преображенский и саперы — вместе с народом против полиции.

В чьих же руках власть в Петербурге?

27-го мне не сиделось дома. Мой брат Иван позвал меня в университет на доклад о какой-то новой реформе. Прошло более часу с назначенного времени, доклад не начинался. Наконец, на кафедре появляется взволнованный профессор-докладчик и говорит:

— В Петрограде восстание. Будем ждать дальнейших известий.

Все затаили дыхание... Не успели произнести и слова, как другой профессор появился на трибуне:

— Получена новая телеграмма. Петроград в руках восставших... Родзянко послал государю телеграмму, в которой он говорит, что решается судьба родины и династии. Государственная Дума выделила из себя «Временный Комитет Государственной Думы», который выпустил воззвание, где заявляет, что взял на себя восстановление государственного и общественного порядка.

Присутствующие загудели, как рой пчел. Все боялись радоваться, так невероятны показались эти вести.

Из университета я с братом возвращалась домой по той исторической Никитской, где бывали сходки, демонстрации, избиение студентов и рабочих черносотенцами после похорон Баумана.

Неужели всему этому конец? Конец навсегда?

— Ваня, неужели мы дожили до момента, о котором мечтало столько поколений, во имя чего боролись декабристы и народовольцы?

Дома родители не спали. Ждали нас.

— Что слышно? — встретил нас отец.

Брат быстро стал рассказывать новости. Мама плакала от

радости, а папа беспомощно ходил по комнате и говорил:

— Вот, дети, и мы дожили. Довелось и нам увидеть свободу! Закончится теперь война победоносно для родины, и умереть можно спокойно!

— Зачем умирать? — прервал брат, — теперь только и жить. Ведь, ты подумай, папа, не будет больше обысков, арестов. Будем жить, наконец, как культурные люди, европейцы...

Я поочереди обнимаю то мать, то отца, то брата.

— Теперь я смогу поехать к мужу.

— Зачем тебе ехать, он сам теперь к нам приедет, — говорит мама.

Усталые от тревоги и волнений, мы разошлись поздно.

Я не могла долго заснуть. Как-то не укладывалось в голове все, что произошло. Но если это действительно верно, то кажется, это будет впервые в истории, что революцию творили совместно и дворяне, и пролетарии, и великие князья, и солдаты, и буржуазия, и рабочие.

Мы узнали подробности о том, как создался Временный Комитет Думы под председательством Родзянко, с участием либеральных и левых — Керенского, умеренных — октябриста Гучкова. Но кроме этого нового правительственного центра, создается центр крайне-левый: самочинно собравшийся Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, связанный с пораженческими кругами: Стекловым (Нахамкесом) и Сухановым (Гиммером).

Государь отрекся в ночь на 3-е марта в вагоне на станции Дно. Из газет узнали, как удивительно просто принял государь предложение об отречении. В этой простоте я вижу не одно безволие, как отмечают многие, а наоборот — большое духовное мужество, которого я, по правде сказать, не ожидала от Николая II.

Что же делается у нас в Москве? Кремль осажден восставшими. Оставшиеся верными старому правительству заперлись в нем. К полудню Кремль сдался. На воротах уже висят афиши, где народ приветствуется с избавлением от старого гнета. По улицам разъезжают грузовики с солдатами, украшенными красными бантами, с красными знаменами в руках. Как приветствует их народ, как радостно кричит им: «Спасибо, спасибо вам!

Братцы наши!» Пришла к нам свобода, давно желанная, долгожданная свобода! Москва вся разукрашена красными флагами, колокола гудят, народ на улицах плачет от умиления. «Свершилось! Свершилось!» Царь отрекся от престола, передав права престолонаследия Михаилу Александровичу. Михаил не принял престола и предоставил разрешение вопроса Учредительному Собранию, которое должно быть созвано в самое ближайшее время. Созыв Учредительного Собрания возьмет на себя Временное Правительство, которое образовалось в Петрограде. В него вошли: Милюков, Гучков, Керенский, Коновалов, Мануйлов, Львов, Терещенко, Шингарев, Годнев, Шульгин. Все знакомые старые имена. Со второго марта 1917 года они теперь вершители судеб России.

Дежурила ночь в госпитале. Утром я не успела еще надеть чистого халата, как ко мне влетела одна из наших дежурных сестер, крича:

— Татьяна Ивановна! Татьяна Ивановна! В «Русском Слове» напечатано письмо вашего мужа к вам. Вы получили такое письмо?

Я взяла газету из рук сестры. Читаю: «Наше старое правительство, так уверявшее всех, что оно стоит за оборону страны, позволило себе конфисковать письма видного патриота-социалиста, Г. А. Алексинского, к его жене, работающей на одном из фронтов в качестве сестры милосердия». Затем следует выдержка из письма Г. А., где он пишет, что будет рад, если в министерство войдет Гучков, потому что он будет там представлять общественность. Если правительство не пойдет на уступки, то недовольство масс может вылиться в революцию, а революция во время войны губительно отзовется на обороне... «И такие письма конфисковывались правительством!» — заканчивает газета.

А я то волновалась, мучилась, что нет писем от мужа. Мне вспомнился также отказ Российского Красного Креста от зачисления меня в отряд во Францию. А мое возвращение в 1915 году, в декабре, из Франции в Россию, когда я ездила во время своего отпуска навестить моего мужа в Париже. На финляндской границе из-за меня задержали поезд на целый час. Оказывается, был получен приказ из Министерства Внутренних Дел произвести в моих вещах тщательный обыск. Жандармские офицеры перетряхивали каждую вещь моего белья, что-то ища.

— Вы опоздали, — сказала я им. — Надо было искать раньше, ведь я больше года работала в санитарном поезде у самых позиций и не раз под бомбами.

— Таков приказ! — ответил офицер.

А со мной в одном вагоне ехали люди, заведомо прибывшие из вражеской страны. И их не обыскивали.

В первое воскресенье после переворота в Москве организуется манифестация. И уже в организационном комитете раскол по вопросу о «лозунгах»: по какому руслу потечет русская революция? Этот ответ должен быть запечатлен на знаменах и плакатах, которые понесут манифестанты в воскресенье. Пораженцы и большевики заявили, что на их знаменах будет написано «долой войну!» и т. д. Делегации увечных воинов и георгиевских кавалеров заявили, что они не примут участия в процессии при наличии таких надписей. Заседание было бурное. В результате постановлено — на плакатах не должно быть никаких лозунгов, которые могут оскорблять раненых солдат.

Кончились праздники и начинаются будни революции.

Новый (фактический) правитель России Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов выработал и огласил приказ № 1, — отмена отдания чести солдатами офицерам и прочее, что упраздняло фактически воинскую дисциплину и поколебало авторитет офицерства.

Когда газеты разнесли эту весть, здравомыслящие ужаснулись. Ясно, что приказ № 1 деморализует армию. Но он вошел уже в силу. Вчера я ехала на трамвае. В вагоне масса солдат. Входит офицер. Солдаты демонстративно начинают громко и развязно разговаривать, чести не отдают. Офицер ежится, робко стоит в конце вагона с виноватым видом, как будто офицерство является корнем всех зол. Ни один солдат не уступает ему места, а наоборот, сидящие разваливаются на своих местах. Эта сцена произвела на меня отвратительное впечатление. Офицер на первой остановке выходит. Как только он вышел, я обращаюсь громко к солдатам и укоряю их за неделикатность. Ссылаясь на западную Европу, говорю: всюду, где есть армия, а не распущенная банда, существует дисциплина. Разве офицер враг солдата? Разве мало офицеров погибло на полях сражения? Свобода, говорите вы? Чем свободнее человек, тем более вежливым делается он...

Солдаты слушали меня с вниманием, ни один не оборвал грубым словом или протестом. Только один сказал:

— Мы не виноваты, таков приказ. Если не выполним, то стало-быть мы идем против свободы.

Вот как был понят приказ № 1.

Сегодня опять беседую по этому вопросу, но уже со своими ранеными в госпитале. Говорила, что этот «приказ» страшная ошибка. Ему не место во время войны. Один из раненых моих заявляет:

Да войне-то скоро конец.

— Как конец? Всей европейской войне?

— Нет, зачем европейской, — только нашей... Да вы прочтите сами, — протягивает вечернюю газету, — только что получили.

Я беру газету и с ужасом читаю, что Петроградский Совет Рабочих Депутатов от 14 марта напечатал воззвание к народам всего мира с призывом к скорейшему окончанию войны. Совет не понимает, что союзники не прекратят борьбу, и что результатом его призыва будет лишь триумф пораженцев у нас и сепаратный мир с немцами.

— Да разве можно так писать! Ведь их поймут в том смысле, что они предлагают сепаратный мир, в то время как союзники будут продолжать войну до победного конца! — восклицаю я.

— Да, оно так и есть, сестрица. Сепаратный мир, значит, скоро по домам.

Что только творится кругом. Точно все ослепли, оглохли. Самодержавие пало, потому что плохо вело войну. Долг нового правительства поднять дух солдата и всей России во имя победы. А они, что делают? Почему у нас два правительства? Совет Министров, иначе Временное Правительство, и Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов? Две власти, и каждая говорит на свой лад. Исполнительный Комитет переполнен инородцами. Русских там меньшинство. Грузины... евреи... латыши... Конечно, у них есть свои интересы и им нет дела до интересов России. Если Россия будет побеждена немцами, Чхеидзе не замедлит перебраться в Грузию. Я радовалась вначале, когда Керенский вошел во Временное Правительство, но чем он проявил свое присутствие? Отменою смертной казни? Самая подходящая мера во время войны!

Скорее бы приезжал Плеханов. Своей патриотической позицией и своим личным влиянием он даст другое направление, как Совету, так и Временному Правительству.

Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов ведет пораженческую пропаганду в своем органе «Известия С. Р. Д.». «Патриот», «родина» стали как бы неприличными словами.

Я хожу по митингам, выступаю под фамилией Ивановой, Петровой, Денисовой...

Вчера, возвращаясь из госпиталя, я выступала в какой-то столовой Общества Трезвости, около Яузы. Столовая битком набита, больше все солдаты. Я говорила, что Россия теперь свободна, прежде войну вело самодержавие, теперь ее ведет сам народ. Во имя будущего наших детей нам нужна победа. Сепаратный мир — это означало бы предать несчастную Сербию, Бельгию и свободную Францию и потерять нашу свободу.

— Не бойтесь слов «родина», «патриот». Вас пугает, что оба эти слова выдумали буржуи? Есть социалисты, которые являются истинными патриотами. У русских — Плеханов, у бельгийцев — Вандервельде, у французов — Жюль Гэд, Альбер Тома.

Я рассказала, какой я видела Францию во время войны. Я говорила горячо, я высказала все, что у меня наболело... Когда я кончила, мне устроили прямо овацию. Но что из этого? Они все питаются «Известиями», это их хлеб насущный...

Социалисты-патриоты все еще не возвратились в Россию, а в Петрограде уже сорганизовалась своя полу-пораженческая группа: Дан, Гоц, Церетели. Первых двух я хорошо помню по заграница. Из-за личных рассчетов и личного самолюбия они не допустят Плеханова в правительство и даже в совет.

Продолжаю выступать на собраниях. Мне аплодируют — видно согласны со мной, но все это носит примитивный и случайный характер. Я не связана официально ни с одной политической организацией, я не могу указать моим слушателям, с кем реально они должны идти и кого слушаться.

Меньшевики-полупораженцы типа Дана для меня неприемлемы. Большевики-пораженцы — враги народа, итти с ними, конечно, нельзя. В газетах я прочла, что организуется группа «Единство». Эта группа объединяет всех социалистов-маркси-

стов, стоящих на точке зрения обороны страны. Платформа этой группы, как нельзя более подходит к моим взглядам. В числе подписавшихся составителей этой платформы я вижу Н. И. Иорданского и В. А. Костицына. Но есть ли отделение этой организации в Москве? Нужно поскорее узнать и работать под ее флагом.

От мужа телеграмма. Он выехал уже из Парижа. Телеграмма из Христиании. Через несколько дней он будет в Петрограде. Я радуюсь. Как нужны сейчас такие люди, как он: социалист-патриот. Я выезжаю в Петроград. Встречу его там.

Московский Николаевский вокзал полон солдат, все они куда-то едут... Поезда на Петроград мы ожидали около 2-х часов. Наконец, он подошел к платформе. Тут произошло что-то неподдающееся описанию: солдаты и матросы стали прыгать находу поезда через окна, разбивая стекла. Крики, стоны, звон разбитого стекла, — жутко смотреть и слышать.

Вот как идет революция. Я застыла на месте.

— Торопитесь! — крикнул кто-то мне.

Я вздрогнула и поплелась в вагон. Я попала, вернее меня втиснули с толпою, в вагон второго класса. Он битком набит солдатами и матросами. Разместились не только на диванах, но на полу, под диванами, на полках для вещей. Какой-то матрос, ехавший с женщиной, приветливо сказал мне:

— Садитесь, товарищ, путь неблизкий.

Я присела и оглянулась кругом. Вся эта публика, несколько минут тому назад потерявшая образ человеческий, прочищая себе путь в вагоны, теперь мирно сидела и дружелюбно беседовала.

— Эх, Надежда, Надежда, — говорил мой сосед-матрос своей подруге, — не будь свободы, когда мы с тобой во втором классе бы поехали. А вот довелось!

Он говорил это так просто и искренно, что начни разубеждать его сам Бог, он остался бы при своем мнении, что свобода это именно и есть тот путь, который он проделал, — через окно в вагон второго класса. Прыгая в окно, он был страшен, а сейчас он кроток, как ребенок. Кто он? Смесь «славянина с монголом», вспомнились мне слова Горького.

Поезд тронулся. Под шум колес и свист паровоза наш вагон принялся митинговать. Заговорили все, спорили без конца,

главная тема — приказ № 1, кадетские министры и «тайные договоры».

Я вмешалась в спор и стала доказывать, что приказ № 1 сплошная и непростительная ошибка.

— Поймите же, что без дисциплины армия превращается в шайку, во все, что угодно, только не в организованную силу.

— А вы, товарищ, тоже поймите, — обратился ко мне солдат, — где же тогда свобода, раз честь отдают?

Я старалась разъяснить солдату, что свобода не есть отсутствие вежливости, — свобода есть участие всех граждан без различия пола в политической жизни и строительстве страны, свобода — это отмена сословий, равенство перед законом и т. д.

Не знаю, понял-ли меня мой оппонент, но он деловито заметил:

— Ну, баб незачем пускать к управлению.

Спор то затихал, то вспыхивал с новой силой.

Этот гул, шум, хаос человеческих тел и мыслей наводил меня на печальные думы. В таком настроении я и приехала в Петроград.

ПЕТРОГРАД. Апрель. Знаменская площадь перед вокзалом полна народа, больше всего солдат. Все они что-то продают или меняют.

— Что это здесь так много солдат? — спросила я у матроса, который покупал папиросы.

— Солдат? Они охраняют революционный Петроград, — строго ответил он.

Я остановилась в Знаменской гостинице против вокзала. Оставила свой скромный багаж в номере, поехала искать В. А. Костицына. Он комендант Лесного Института. Занят по горло. Его буквально рвут на части. Обещал зайти ко мне при первой возможности.

Вернулась к себе в гостиницу. На площади солдаты толпились попрежнему, продавали, меняли, покупали: «стерегут революционный Петроград»...

Я не могла сидеть дома, оделась, вышла на улицу, пошла по Невскому в толпе. На улице страшная грязь, тающий снег не убирают, тротуары не чистят, не метут, на домах висят красные флаги, они уже успели слинять и выглядят грязно-розовыми. На Невском толпы народа, фланеры, фланеры без конца.

Эти тоже «стерегут революционный Петроград». Все это в общем производит впечатление чего-то несерьезного.

Наступили быстро сумерки. Невский проспект заволокся легким туманом. Я свернула на один из каналов. Прохожих было мало, я шла почти одна. Это неясное очертание мостов, каналов, домов перенесло меня в старый Петербург, Петербург «Пиковой Дамы», с клавесинами, преданиями, привидениями. Напомнило о прошлом, которое всегда мило...

Вот дворец Юсупова. Здесь был убит Распутин. Все это кажется теперь таким далеким... Отошло в область истории. Старый Петербург. Неужели я хочу возврата всего, что было? Почему мне так тоскливо? Нет, я не хочу старого, но и новое не то, чего я ожидала. Солдатская революция, грубая сила штыка, куда она приведет?

Приехал Г. В. Плеханов. Как его встречали на Финляндском вокзале! Цветы, знамена, музыка, толпа народа! Когда он вышел из вагона что-то необъяснимо радостное овладело всеми, все мы шли куда-то толпой, радостно улыбались; студенты цепью охранявшие процессию, что-то кричали, но оркестр заглушал их слова. Плеханов с цветами в руках, с изумленными глазами, бледный, взволнованный, двигался с толпой. Я шла с В. Л. Бурцевым. Мы прошли в парадную комнату на вокзале, где Плеханов произнес краткую приветственную речь.

Домой я вернулась, полная радужных надежд. Г. В. Плеханов сумеет изменить политику Совета Рабочих Депутатов!

Вот и Ленин докатился до России. 3 апреля он был уже в Петрограде. Он торопился приехать и приехал в... немецком запломбированном вагоне. Пользоваться услугами Германии во время войны с нею, — до этого мог дойти лишь один Ленин, способный на все, лишь бы осуществить свои цели: — «нужно только захотеть», вспомнилось мне, что он говорил в Финляндии. И он «захотел» и приехал сейчас в Россию при помощи немцев.

Большевики устроили ему встречу с прожекторами, барабанным боем и пр. и пр. Вообще, приезд и встреча Ленина — сплошной вызов всем. Его поселили во дворце балерины Кшесинской. «Его» люди бегают по Петрограду и ведут пропаганду. Лозунги, приемы и агенты ленинской организации — это точная копия черносотенного «Союза Русского Народа»,

рассчитанного на темные массы. Лозунг «бей жидов» сменился «бей буржуазию» и «долой министров капиталистов». В воздухе запахло погромом, а Керенский продолжает говорить о «безкровной» революции.

Зашла к нашему старому товарищу и другу Д. И. Лещенко. Мы жили с ним вместе в Финляндии на даче инженера Зябицкого в 1907 году, до нашего отъезда за-границу. Он попрежнему ярый приверженец Ленина.

— Знаете, что сказал Ленин по приезде в Петроград?

— Что? Не знаю.

— Странный народ эти русские: я думал, что с вокзала меня повезут в тюрьму, а мне устроили такую встречу и...

— И повезли во дворец Кшесинской, — закончила я.

— Совсем не то, — запротестовал Лещенко, — это означает, что масса ему сочувствует.

Он долго еще говорил о Ленине в восторженном тоне. Я молчала. Да, и что я могла ему отвечать? Оба мы знали Ленина, оба знали его ум и преданность революционной идее, но фанатизм и личное властолюбие доводят Ленина до того, что он играет с огнем, опираясь на темные инстинкты масс, на солдат, «уставших сидеть в окопах».

Я поднялась. Лещенко любезно приглашал меня заходить. Я попрощалась и, вероятно, навсегда.

«Я думал, что меня с вокзала отправят в тюрьму», — повторяла я про себя фразу Ленина.

Эх, правители, наши новые правители, Ленин, как умный человек, сам понял, что видно не «все дозволено», и сам указал себе надлежащее место: в тюрьме, а наши правители этого не понимают и ничего не смеют сделать.

Видела Г. В. Плеханова. Он остановился у Иорданских. Встретил меня Георгий Валентинович очень любезно. Между прочим, я спросила его мнение о сотрудничестве моего мужа в «Русской Воле».

— Я ничего не вижу в этом предосудительного. Но в данный момент мы в России, у нас есть свой орган, нам уже не нужно писать в чужой прессе. Когда вы ждете мужа? Я глубоко ценю его талант, он нам сейчас так нужен. Ценный он человек.

И Георгий Валентинович, прощаясь, ласково пожал мне руку.

После визита к Г. В. я не могла сидеть дома. Я носилась целый день по городу, с любовью вспоминала и повторяла каждую фразу и каждое слово, сказанное о моем муже. Как молодо выглядит Г. В. для своих лет. На вокзале он казался старше, он был усталым, измученным, а сейчас он отдохнул, выглядит молодо, глаза блестят — такие умные, проницательные из-под нависших бровей. Он сам и весь его облик такой культурный, интеллигентный. Он основатель нашей социал-демократической партии.

Вчера приехал мой муж. Я и В. А. Костицын встречали его на вокзале. Поезд опоздал на три часа. Вечер был очень холодный. Я думала, что замерзну до прихода поезда, итти в буфет и напиться чаю, чтобы согреться, я не хотела, боялась, что разминусь с мужем. Видя, что я волнуюсь, Костицын стал мне рассказывать, что он делал в Петрограде после февральского переворота. Он рассказал, что ему и его роте поручили вскрыть могилу Распутина, составить опись всего найденного, затем отвезти гроб в лес, облить труп бензином и сжечь.

— От Распутина остался лишь пепел, и мы развеяли его во все стороны.

Вдруг засвистел вдалеке паровоз, неясно блеснули два огненных глаза.

— Это наш поезд, — сказал Костицын.

Паровоз остановился. Я бросилась к поезду. На одной из площадок увидела мужа, даже не верилось, что наконец-то мы опять вместе.

Г. А. вышел из числа сотрудников «Русской Воли». Он сотрудничает в газете «Единство», орган Г. В. Плеханова, и выбран в Центральный Комитет организации «Единство». После ухода из «Русской Воли», муж и я поехали к Леониду Андрееву. Его квартира выходила окнами на Марсово поле. Мой муж благодарил Андреева, что он дал ему возможность на страницах «Русской Воли» вести патриотическую пропаганду. Это Леонид Николаевич Андреев пригласил моего мужа сотрудничать в его газете.

— Теперь, Леонид Николаевич, у нас в России есть свой орган, где я могу свободно высказываться и потому покидаю

вашу газету. О вас я сохраню самые лучшие воспоминания, в вас я видел великого патриота и рад, что мне довелось сотрудничать с вами.

Леонид Андреев был очень грустен, жаловался на боли в сердце.

— Я полон плохих предчувствий о России, но нужно напречь все силы, чтобы народное движение пошло по правильному пути.

Андреев хороший художник, он пишет масляными красками, особенно интересен его автопортрет.

Чаем нас угощала в его рабочем кабинете его жена, красивая дама.

18 апреля (1-е мая по новому стилю) мы ездили по городу на грузовике, который был украшен флагами и плакатами. Самый большой плакат гласил: «Долой гражданскую войну!» Мы заезжали во все казармы и от имени организации «Единства» говорили речи: Алексинский, я и Чернышев. Я была в форме сестры милосердия. Везде нас слушали со вниманием и сочувствием. На Марсовом поле собрались большевики, и когда наш грузовик показался, большевики пришли в ярость от плаката «Долой гражданскую войну». Они, как злые мухи, облепили наш грузовик, сорвали знамена, плакаты, хотели проколоть шины, угрожали палками, осыпали бранью.

— Ну, чем вы нас пугаете, запугать нас нельзя и взглядов наших вы не переделаете! Мы старые партийные работники! — отвечали мы хладнокровно.

Большевики поспорили между собой, слезли с грузовика. Шофер моментально дал ход, и мы умчались. По всему городу носились автомобили, грузовики разных партий и повсюду происходили летучие митинги. Мы, оказывается, отделались на этот раз от большевиков счастливо, но с другими политическими противниками, как мы узнали потом, они расправились круче: во многих стреляли, есть раненые. 18 апреля впервые в свободной России пролилась кровь.

Совет Рабочих Депутатов на эти бандитские выступления большевиков смотрел, как на борьбу политических идей. Большевики, в благодарность за такую оценку, незамедлили избить депутацию раненых георгиевских кавалеров и сопровождавшую их сестру милосердия, когда те шли в Таврический дворец, где заседал Совет Министров Временного Правительства.

Кого винить? Совет Министров или Совет Рабочих Депутатов? Не берусь дать ответ, но ясно, что две власти существовать не могут.

Г. А. и я ходим по уличным митингам. Эти митинги не организованы, но они происходят на каждом шагу, и на них всюду кишат большевицкие ораторы и немецкие агенты. Их речи слышны повсюду. Они производят какой-то своеобразный гипноз на толпу. Вот с этими то ораторами и ходим полемизировать мы с Г. А. Часто я хожу в платке. Это спасает меня от большевицкой демагогии, которую они обычно пускают в ход, когда имеют дело с оппозицией. Кроме бродячих агитаторов, у большевиков имеется огромное количество литературы. Свою «Правду» они издают по всей России: — «Окопная Правда», «Московская Правда» и т. д. Каждый крупный город имеет свою «Правду». Все это стоит громадных денег. Откуда они у них?

С 1-го мая я работаю в качестве товарища секретаря Центрального Комитета организации «Единство». Занятия с 2-х часов дня до 7 часов вечера. Вечером собрания Центрального Комитета, митинги или доклады. Возвращаюсь домой усталая.

Большевики все энергичнее развивают свою разрушительную пропаганду. Результаты уже чувствуются: фронт дрогнул, и началось массовое дезертирство. Этому помогают много эсэры, которые обещают крестьянам немедленный раздел земли. Солдаты покидают фронт и прифронтовую полосу, спешат к «своей» земле — Псковской, Костромской, Рязанской... торопятся, чтобы их не обделили землею. Эс-эры, повидимому, сами чувствуют, что сделана большая ошибка, но не хотят сознаться в этом и придумывают различные паллиативы.

Дрогнул фронт в 1.800 верст. И разве можно его удержать? Изменить в корне политику в тылу и прекратить призывы Советов и Рабочих Депутатов к немедленному «миру» без аннексий и контрибуций — вот что нужно!

Самостоятельные государства в России растут каждый день. Киевская Рада, с Винниченко во главе, объявила Украину независимым государством и ищет поддержки у немцев в то время, когда нашу армию бьют на фронте. Распропагандированные солдаты не хотят больше драться. Для того, чтобы

«пристыдить» их создается «женский батальон смерти» по инициативе и под командой М. Л. Бочкаревой, крестьянки из Сибири. В то время, как к Бочкаревой стекаются из разных углов России женщины, по Невскому проспекту почти ежедневно, по окончании работ, идут процессии фабричных работниц с плакатами: «Да здравствует Циммервальд-Кинталь». Неграмотные женщины, конечно, не знают даже, что такое Циммервальд. Идут самые серые из работниц — ткачихи. Я глубоко убеждена, что Циммервальд-Кинталь они принимают за какого-то хорошего человека и, остановив одну из них, я получила бы ответ: «Очинно хорошую жисть нам обещают Циммервальд-Кинталь».

В своей летучей литературе, на митингах, на фронте большевики обещают немедленное окончание войны, если... власть перейдет к ним. Сколько земных радостей сулят они. Совсем как ведьма из сказки Андерсена. И только наш бедный, темный и невежественный народ может верить этим лживым посулам.

Совет Рабочих Депутатов на всю эту разлагающую работу наглых обманщиков дает лишь один ответ: «Это идейная борьба». В сущности, Дан, Мартов, Чхеидзе, Церетели сейчас, пожалуй, вреднее подлинных пораженцев-ленинцев. Они сделают все для того, чтобы не впустить струю здорового воздуха в нездоровую атмосферу Совета. Они не допустили в Совет Рабочих Депутатов Плеханова, основателя российской социал-демократической партии, того Плеханова, по книжкам которого они учились марксизму, они не пустили Алексинского, который пришел в Совет Рабочих Депутатов по единогласному выбору рабочих и служащих Северо-Западной железной дороги. Полупораженцы боятся влияния Плеханова и Алексинского. И в то же время они широко открывают большевикам ворота к власти. Ведь ни для кого не новость, что большевики готовят в первых числах июля государственный переворот.

Во Временном Правительстве сильное влияние левых элементов. Результат налицо: сначала пришлось уйти военному министру А. И. Гучкову, его заменил Керенский. Затем покидает пост министра иностранных дел П. Н. Милюков, за то, что посмел высказать пожелание победы и свободного выхода России из Черного моря. Уходит князь Львов с поста председателя Совета Министров, его заменяет тот же Керенский. Совсем как Фигаро: «Фигаро там, Фигаро здесь». Появляется на сцену Виктор Чернов. Зачем он? Ведь в Женеве во время войны он

издавал пораженческую литературу на деньги темного происхождения.

В редакции газеты «Единство» я часто беседую с поручиком Волком — военным летчиком. Его не очень любят в офицерской среде. У него, как у всякого энергичного, деятельного человека, много недоброжелателей. Он один из инициаторов «Лиги Личного Примера». Я люблю с ним разговаривать. Он не киснет от неудач, а наоборот, загорается еще большей энергией и бодростью. Он так же, как и я, возмущен заигрыванием Советов с большевиками.

— Надо быть дураками, чтобы не использовать положение, — говорит он про большевиков, — а так как большевики во сто крат умнее наших правителей, то они их ловко обойдут, а когда те очнутся, будет поздно. Я презираю этот Совет «ребячих» депутатов за их пошлую демагогию. Россия забыта, патриоты унижены, осмеяны. Идет ставка на левизну. Кто левее? И доскакались до пропасти...

Муж уехал в Севастополь. Там что-то совсем кошмарное: большевики призывают к избиению офицерства, интеллигенции.

Приехал в Петроград бельгийский социалист и министр Эмиль Вандервельде. Здесь он выступал на многих рабочих митингах и скоро уедет в Москву, где я должна ему организовать митинг. Я подробно написала в Москву, прося взять самую большую залу, устроить митинг под флагом «Единства». Переводчиком Вандервельде будет, вероятно, Иорданский.

Митинг Вандервельде сошел прекрасно. Цирк Никитина был набит битком. Слушали с большим волнением. Вандервельде призывал русских до конца сражаться против империалистической Германии, которая, в случае победы, поработит экономически не только Бельгию и Францию, но и Россию.

Июнь. Снова живем в напряженном состоянии. Ждем каждый день событий, еще более необыкновенных. Братание с неприятелем на фронте, двойственная политика в тылу, бесконечные разговоры о грядущем восстании большевиков создали нервную атмосферу. Вчера на собрании членов Центрального Комитета «Единства» Алексинский в своей речи предло-

жил начать определенную борьбу против Петроградского Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов за его явно пораженческую пропаганду и работу на Вильгельма II. Такая определенная постановка вопроса смутила присутствующих. И его голос остался голосом вопиющего в пустыне. Члены Комитета «Единство» предполагают, что Исполнительному Комитету Сов. Раб. Деп. и без всяких угроз придется изменить тактику.

Мне не верится, что этот момент может настать. Когда говорил мой муж, передо мной был тот решительный Алексинский, для которого не существует полумер, недомолвок и этих Иудиных «постольку-поскольку», губящих свободу и родину.

Июль 1917 г. Мы пережили ужасные дни. Вспоминаю о них, как о кошмаре. Два дня большевики держали всех в страхе, что перевес останется на их стороне. 3-е и 4-е июля не скоро позабудутся петроградцами. О предстоящем восстании большевиков говорили много, но готовились к нему лишь большевики. И когда оно пришло, все растерялись и правители и граждане. Толпы народа высыпали на улицу, по улицам на грузовиках мчались вооруженные большевики и стреляли без предупреждения в толпу. Я шла с толпою по Литейному проспекту. Вдруг раздаются один за другим выстрелы из винтовок. На тротуар падают бедно одетая женщина, старик, мальчик... Все в страхе разбегаются, затем, опомнившись, начинают сыпать проклятия по адресу убийц.

Возмущение толпы так велико, что я, бывавшая на многих демонстрациях при царизме, не запомню такого возмущения и возбуждения.

С Литейного я пошла на Владимирский в «Единство». Муж был там.

— Меня вызывают генерал Половцев и министр юстиции Переверзев, — сказал он. — Еду к ним сейчас. Когда вернусь, не знаю. Буду звонить тебе по телефону.

До 12 часов ночи я бродила по улице. На каждом углу было по матросу-агитатору, которые объясняли нам, глупым гражданам, почему они сегодня были так зверски жестоки с нами...

— Ведь с чердаков контр-революционеры бомбы бросали! — с возмущением воскликнул матрос.

— Ну, что, товарищ, брешешь, — возражает кто-то. —

Я сам был на Литейном, когда вы первые стрелять начали...

Спор разгорается, но вдруг подъезжает патрульный грузовик, полный вооруженных большевицких солдат и «увозят контр-революционера», указанного матросом-агитатором.

Около двух часов ночи меня вызвали по телефону и сообщили, что мой муж ночевать не вернется. Я не спала всю ночь. Следующий день прошел в беспорядочной перестрелке на улице, с той же бешеной скачкой большевиков на автомобилях по городу. Появились бронированные автомобили. Обыватели в страхе спрашивали:

— Где стреляют?

Но никто не мог дать точного ответа. Вернее, стреляли везде. Снова наступил вечер, а затем бесконечная ночь. Муж не вернулся домой. Утром я пошла в редакцию на Владимирский проспект. Меня поразила тишина на улицах. Неподалеку от Невского, на Знаменской, я увидела на стенах афиши. Перед ними толпы народа. Читают молча и так же молча уходят, чем то пораженные. Я подошла к афише и стала читать:

«Г. А. Алексинский, член II Государственной Думы, депутат от рабочих города Петрограда, и Панкратов, социалист-революционер, шлиссельбуржец, утверждают, что Ленин получил от немецкого генерального штаба несколько миллионов рублей для организации социалистического переворота в России в целях дезорганизации фронта и заключения сепаратного мира с Германией».

Вот приблизительный текст афиши.

Я быстро пошла в редакцию «Единства», и повсюду по дороге, где висели афиши, я наталкивалась на это жуткое настроение толпы. В редакции я узнала, что большевицкое восстание подавлено. Дворец Кшесинской отнят у большевиков. С печатанием воззвания вышла целая история. Оно было разослано Алексинским по всем редакциям и было уже набрано, как пришел приказ от арестованных большевиками в Таврическом дворце и освобожденных нашими членов Исполнительного Комитета не печатать сообщение, где Ленин объявляется агентом Вильгельма. Министры Терещенко и Коновалов также помешали опубликованию. В редакцию «Единства» явились Чхеидзе и Церетели и потребовали не печатать обвинения против Ленина, так как «источники не проверены». Но нашлась маленькая газета «Живое Слово», которая одна «осмелилась» ослушаться, и лишь ей мы обязаны широкому оглашению дела.

В редакцию «Единства» вскоре приехал Ал-ский, он возмущен поступком Чхеидзе и Церетели. — «Да знаешь-ли ты, Таня, что все они были арестованы большевиками в Таврическом дворце и если бы не солдаты, которых я убедил выступить против большевиков, они рисковали быть убитыми. Переверзева я нашел в штабе. Он вручил мне данные правительственной разведки о деятельности и связях большевиков с немецким Генеральным Штабом. Эти данные подтверждали собранные мною еще за-границей. Это документы о Парвусе и Ленине. Ознакомившись с данными разведки, я сказал Переверзеву, что они заслуживают полного доверия. Переверзев предложил мне опубликовать их за своей подписью, на это я, конечно, согласился, и, пригласив шлиссельбуржца Панкратова, мы оба, составив обращение, которое ты читала, послали его в бюро печати и в редакции газет; затем я собрал делегатов гарнизона. Если бы ты видела, какое впечатление произвело на них чтение этих документов. Солдаты слушали и не шелохнулись, как вкопанные. Я знаю, что Церетели и Ко. будут меня травить за мое воззвание и за оглашение документов. Но ведь только благодаря этому восстание подавлено».

Примечание: Бешенные крики в петроградском Совете депутатов с Церетели во главе: «Клевета!» «Клеветник!» и постановление Совета о запрещении оглашения документов в печати не испугали Г. А. Алексинского. В ответ на эти необоснованные вопли Г. А. печатает разоблачения в газете «Без Лишних Слов», которая стала выходить под его редакцией. Вот, что пишет в своих записках «Дни Затмения» генерал П. А. Половцев: «В войсках настроение благоприятное. Разоблачения Алексинского произвели сильное впечатление. Минута такая, что можно, что угодно сделать, но я не могу же итти против правительства... «Совет» прислал нескольких из своих говорунов, которые приветствовали представителей вновь прибывших войск и побеседовали на тему о демократическом единении, но... вдруг на трибуну взошел Алексинский и, повернувшись к кучке членов Совета, начал жестоко их отчитывать, красноречиво доказывая, что единения быть не может и что мы Россию не спасем, пока Совет в своей среде укрывает большевиков. Пускай изгонят из Таврического дворца эти гнусные элементы, тогда мы сможем протянуть Совету нашу руку для совместной работы по установлению порядка. Пока это не сделано, все речи членов Совета он считает лживыми и фальшивыми.

Речь Алексинского, — продолжает ген. Половцев, — вышла бле-

По приказу Переверзева, арестовано много большевиков, в числе арестованных Каменев и Троцкий. Постановлено разоружить восставшие полки.

Чхеидзе, Церетели и др., оправившись от испуга, немедленно принялись за старое. Точно и не было восстания в Петрограде!.. Одним из первых их шагов было публичное заявление, где они поспешили назвать обвинение Алексинским большевиков в получении денег от германского штаба «грязной клеветой». Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов уже хлопочет об освобождении из тюрьмы большевиков. Дальше итти некуда. Если бы, вместо неврастеника Керенского, во главе правительства стоял человек с сильной волей, то рост большевизма можно бы остановить, а сейчас ясно, что уже недалеко то время, когда массы пойдут скорее за большевиками, чем за половинчатым Керенским, который не может противопоставить большевизму ничего, кроме фраз. В Керенском я окончательно разочаровалась. Тяжелая ноша власти ему не по плечам. Переверзев смещен с поста министра юстиции, за ним следуют и другие перемены в министерстве.

Ал-ский издает свой журнал «Без Лишних Слов». Ближайший его сотрудник Л. М. Добронравов, остроумный, талантливый, молодой беллетрист, автор «Новой бурсы». Первый номер журнала полон документами, доказывающими связь большевиков с германским штабом. Во втором номере сильная статья Алексинского против Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов «Уйдите». Ал-ский указывает на крах их политики и призывает их, пока не поздно, уйти самим. Пусть их место займут люди, могущие лучше понимать интересы страны и народа. Эта статья произвела сильное впечатление на всех, особенно на редакцию «Единства».

— Вы взяли сразу слишком высокий тон, — сказал Плеханов, — его долго нельзя выдержать.

Розалия Марковна Плеханова имела со мной долгий разговор. Она просила меня уговорить моего мужа прекратить издание «Без Лишних Слов».

стящей, и была покрыта таким дружным громом рукоплесканий, что мое сердце возрадовалось, чувствуя близость минуты, когда можно будет подбить публику на перевыборы в Совет... Когда Алексинский сходил с трибуны, крепко жму ему руку». **Т. А.**

Этот журнал только дразнит всех и через него мы потеряем тех немногих друзей, которых имеем, — закончила свои аргументы Р. М.

— Но ведь Григорий Алексеевич самостоятельно издает его. Почему же вы соединяете его выступления с редакцией «Единства»?

— Да потому, что Г. А. член редакции и раз редакция не выступает против, значит, она солидарна. Вот почему хотелось бы, чтобы Г. А. добровольно прекратил свой журнал. Вы поймите, что такие выступления сильно вредят Георгию Валентиновичу. Ему обещают возможность войти в правительство. Он сможет тогда влиять на ход событий. Резкая позиция вашего мужа может помешать этому...

Я задумалась... Представилась вся жизнь Г. В. Плеханова: вечный изгнанник, всю жизнь провел вдали от родины!.. Я ясно представила, как он, узнав о перевороте, сейчас же сел на пароход и поплыл в Россию по той дороге, где почти накануне погиб другой пароход, взорванный немецкой миной... Как торопился, чтобы скорее приехать в Россию, которую не видел столько лет и которую так любил. И этому изгнаннику не нашлось места среди правителей России!

— Хорошо, Розалия Марковна, я сделаю всё, чтобы ваша просьба была исполнена.

В редакции «Единства» последние дни ходили слухи, что Георгий Валентинович войдет в министерство в качестве министра труда.

Наконец-то Керенский додумался. Бездарный Скобелев уступит место Плеханову. Я передала мой разговор с Р. М. Плехановой моему мужу. Добронравов и слышать не хотел о прекращении журнала.

— Бросать начатую борьбу! В такой момент, когда все шансы на нашей стороне! Журнал имеет редкий успех. В нем есть потребность, он отвечает настроению масс петроградцев и провинции.

Я очень хорошо понимала Л. М. Добронравова, но передо мной стоял Г. В. Плеханов: Алексинский может помешать его политической работе.

Ал-ский молча выслушал все доводы Добронравова, протянул ему руку и сказал:

— Милый Леонид Михайлович, я понимаю вас и согласен

с вами, что останавливаться на полпути после брошенных мною Ленину обвинений нельзя... Но поймите меня, я не хочу мешать Плеханову входить в министерство. Я прекращу издание журнала и не выпущу четвертый номер. Я хочу, чтобы это дало шанс Георгию Валентиновичу на участие во власти!

Он обнял Леонида Михайловича и закончил:

Мы с вами еще будем вместе работать! Начало сделано!

Опять кошмарные дни. Ал-ский разъезжает все время по митингам перед большевицкими аудиториями. Каждый раз я жду его возвращения с трепетом. Боюсь, что его убьют.

На одном из последних собраний кто-то из большевиков ему крикнул:

— А в Кронштадт-то небось вы не едете!

В Кронштадте большевики полные хозяева.

Ал-ский сейчас же обратился к кричавшему:

— Когда вы можете организовать митинг? Я приеду.

Сопровождать Ал-ского в Кронштадт вызвалось много охотников, — в том числе и три члена нашей редакции «Единства», а также несколько социал-демократов и эс-эров оборонческого лагеря.

В назначенный час мы были на пристани. Но там никого не оказалось из тех, кто вызвался ехать с Ал-ским в Кронштадт. Входим на пароход. Никого!

— Нет, ты не должен ехать один. В крайнем случае я поеду с тобой.

— Ты меня свяжешь. Я поеду один.

Мною овладело такое отчаяние, что я не знала, что предпринять. Где же все те, которые уверяли, что поедут? Отчего они не пришли?

— Познакомься, — сказал мне муж.

Я подняла голову. Рядом с мужем стояли два военных: георгиевский кавалер и казачий офицер. Я поздоровалась. Георгиевский кавалер увешан орденами, а у казачьего офицера рука в перевязке — раненый...

— У георгиевского кавалера 16 ран, — шепнул мне муж.

Раздался гудок.

Сходи, мы скоро трогаемся.

— С кем же ты едешь?

Вот с ними. Вернусь к четырем часам.

Муж поцеловал мою руку. Я сошла на пристань. Пароход отчалил. С парохода Ал-ский и его два спутника приветливо махали мне рукой.

У одного 16 ран, у другого рука еще не зажила. Какие же это защитники для моего мужа. Больные, искалеченные едут, и их только двое, а там здоровые, грубые и их тысячи.

Домой итти мне не хотелось, в редакцию было еще рано. Я медленно шла по набережной, перешла мост, шла, сама не зная куда. Летний сад. Я села на скамейку. Задумалась. Все мое обоснованное миросозерцание вдруг как-то расклеилось, точно расползлось. Все мне показалось распавшимся на клочки, не имеющие между собою связи. Мне почему-то представился Пуришкевич, его заботы на войне о раненых, Ленин, едущий в немецком вагоне и получающий от немецких провожатых хорошее продовольствие; наши военнопленные, питающиеся в немецких лагерях отбросами... Мой муж, едущий в осиное гнездо в обществе двух инвалидов, и те, пышущие здоровьем товарищи, оставшиеся неведомо почему вдали от окопов и опасностей... Что же это такое? Где же все наши доктрины, этика, заветы?!..

— Вам плохо? — с участием наклонилась надо мной какая-то дама.

Я вскочила со скамьи.

— Нет! Благодарю вас!

Я пошла в редакцию. Все были в сборе.

— Почему вы не поехали в Кронштадт с мужем?

— Я проспал.

Его, видите-ли, жена не разбудила.

— А меня не разбудила прислуга, — отвечает другой.

И все в том же роде. Вскоре приехал Г. В. Плеханов.

— Когда вернется Ал-ский? — спросил он меня.

— В 4 часа.

Прошло четыре с минутами, — его не было. Мне представились севастопольские зверства... Я уже видела мужа раненым, убитым... Я сидела в бюро секретариата и писала протоколы заседаний Ц. К., в них последняя речь Ал-ского.

Дверь в бюро часто отворялась и чей-нибудь голос спрашивал:

— Товарищ Алексинский вернулся?

Я никому не отвечала. Зачем? Они сами видят, что его нет. В седьмом часу в редакцию влетел, как вихрь, Ал-ский.

Г. В. Плеханов обнял его.

— Ну, рассказывайте скорее!

Муж рассказал, что ему удалось провести два митинга. Народу было масса. Самый многочисленный был на площади. Слушать слушали. Но когда раненый георгиевский кавалер говорил, большевики стали издеваться, заявлять, что у него нет никаких ран и потребовали даже, чтобы он показал свои раны.

— Я прикрикнул на них, и они стихли. По окончании митинга некоторые приглашали меня опять приехать и не забывать их.

(Продолжение следует)

Т. Алексинская

ВОСПОМИНАНИЯ А. Д. НАГЛОВСКОГО*

ТРОЦКИЙ

Впервые я встретил Троцкого в 1905 году в Петербурге на заседании Совета Рабочих Депутатов в Вольном Экономическом Обществе. Я был членом Совета от Путиловского завода. Троцкий же, как известно, был товарищем председателя. Надо сказать, что тогда Троцкий пользовался в революционных кругах Петербурга большой популярностью. Заслонив

---

* Настоящей публикацией мы оканчиваем воспоминания А. Д. Нагловского. В кн. 82 был напечатан отрывок из этих воспоминаний — о Л. Б. Красине; в кн. 88 — о Ленине. А. Д. Нагловский был видный большевик, вступивший в партию задолго до революции 1917 г. Он был сын генерала, близкого ко двору. В детстве играл с детьми великих князей. Среднее образование получил в Императорском Александровском лицее и высшее в Институте Инженеров Путей Сообщения. Но еще в лицее А. Д. увлекся марксизмом и, будучи студентом, вступил в с.-д. партию, примкнув к большевикам. После октября 1917 г. А. Д. стал комиссаром «путей сообщения» у Зиновьева в «Петрокоммуне», потом работал у Троцкого в НКПС, а позднее, как образованный человек, владевший главными европейскими языками, был отправлен в Италию на пост торгпреда. Но заграницей А. Д. вскоре порвал с большевиками и перешел на положение невозвращенца, причем был объявлен большевиками «вне закона». Скончался А. Д. в Париже во время второй мировой войны. Печатаемые воспоминания А. Д. были с его слов записаны Р. Б. Гулем. И тогда же отрывки о Ленине, Троцком, Зиновьеве были напечатаны в «Соврем. Записках» (кн. 61, 62). Но, к сожалению, редакция «С. З.» сделала большие сокращения и многое ценное из воспоминаний А. Д. осталось неопубликованным. Мы публикуем полный текст воспоминаний, причем отрывок «Воровский в Италии» печатается впервые. Воспоминания печатаются с разрешения архива Иельского у-та, где находится рукопись. РЕД.

ничтожную фигуру официального председателя Совета, Хрусталева-Носаря, Троцкий вел тогда за собой весь Совет, а Совет вел питерский пролетариат.

Время горячее. Горяч был и Троцкий, эдакий «молодой Лассаль» на питерском фоне. Коньком его тогдашних речей была изобретенная им теория перманентной революции. С этой теорией он и выступал, зовя рабочих «от восстания к восстанию» и обещая неминуемую окончательную победу.

Его выступления помню очень хорошо. Среднего роста, темный шатен, с громадной шевелюрой откинутых волос, большим лбом, острым носом Троцкий на трибуне как бы вырастал и казался высоким. Голос резко-металлический. Демагогический оратор, он уже тогда был хороший, хотя речи его всегда, как говорили греки, «попахивали лампадным маслом»: — чувствовалось, что это не экспромты, а сопровождающиеся эфектными жестами и эфектными паузами тщательно разученные выступления.

По своей манере говорить Троцкий был полным антиподом Ленину. Ленин ходил по трибуне. Троцкий стоял. У Ленина не было никаких цветов красноречия. Троцкий ими засыпал публику. Ленин не слушал себя. Троцкий не только слушал, но, пожалуй, и любовался собой. В речах Ленина всегда было ясно чего он хочет. У Троцкого предельной ясности никогда не было; его речь всегда можно было несколько вывернуть: — и так и иначе.

Разница душевного строя этих несхожих между собой революционеров сказывалась тогда и в их деятельности в Петербурге. Большевик Ленин редко появлялся на массовых собраниях, он вел борьбу в своей партии, этот «крот» рыл «подземные ходы». Меньшевик Троцкий сразу бросился к «ослепительному» свету рампы, к публике, к аплодисментам. Тут было не только чрезмерное тщеславие, которым очень богат был Троцкий, но был и правильно выбранный плацдарм своей деятельности, ибо Троцкий был действенен только на толпе, «на миру», он должен был быть всегда «любимцем публики», хотя бы даже галерки. Успех Троцкого был всегда успехом актера. И в то время, как в Ленине во всем чувствовалась крайняя деловитость, в Троцком — неизменный треск фейерверка.

Разность этих людей оттенялась даже в одежде. Ленин всегда был одет, «как попало». Троцкий одевался с некоторой

тщательностью, ему вовсе было не все равно, как и какой повязать галстук.

Но тогда на революционном фоне Петербурга Троцкий был куда более приметен. Ленин вел только большевицкую партию, Троцкий же, через Совет, несомненно вел питерских рабочих. И удайся революция 1905 года, революционным вождем в Петербурге стал бы, конечно, Троцкий.

Но дело кончилось иначе: — письмом Троцкого к Витте, от которого, как известно, Витте пришел в бешенство и Троцкий был арестован. Невольно хочется сказать, что судьбы этих двух людей, Витте и Троцкого, впоследствии оказались очень схожи. Достигший власти Витте, в сущности, всегда оставался «чужим» среди придворных Зимнего дворца и кончил опалой. Во время революции, достигший «высшей власти», Троцкий неизменно оставался «чужим» среди придворных Кремля и всем известно, чем он кончил.

II

Приехавшего из Америки в 1917 году Троцкого я встречал в Таврическом дворце на заседаниях Совета Рабочих Депутатов. Суммируя впечатление от общений с ним и от его выступлений, скажу, что в отличие от всех социалистов, проведших войну внутри России, Троцкий был отмечен некой «девственностью». Живший вдали от России, не переживавший войны, Троцкий как бы «законсервировался» на позициях 1905 года и в то время, как внутри страны российские социалисты неминуемо отражали в себе все сомнения, колебания и тяжелые переживания народа, Троцкий в этом отношении был «девственен». Для него ничего этого не существовало и задумываться Троцкому не приходилось, у него имелась всё разрешающая теория «перманентной революции»: — японская война, 1905-й год — первый удар; мировая война, 1917-й год — второй удар. И Троцкий выскочил на русскую землю эдаким туристом — «прямо с корабля на бал».

В противоположность Ленину внешне Троцкий за эти годы не сильно изменился. Казался очень бодрым и «полным сил». Да ему и было всего 38 лет.

Возвестив о совпадении своих позиций с позициями Ленина, Троцкий пошел вместе с ним в атаку на Временное Правительство, но и теперь, соответственно характерам, распреде-

лялись их роли. Приманивая массы на «червя большевизма» Ленин, как свинцовый груз, тянул леску вглубь, а поплавок-Троцкий моментально поплыл по поверхности. Новый свет рампы, речи, аплодисменты, интервью, словом, те же подмостки Совета Рабочих Депутатов только тут уж приходилось из задних рядов протискиваться в завоеватели Совета. В этом и есть заслуга Троцкого перед большевизмом: — демагогией своих речей он завоевал большевизму Совет (хотя это было и не особенно трудно).

Не будет преувеличением сказать, что и в 1917 году в массах Троцкий был известнее и популярнее Ленина. Но то, что было незаметно для зрителя извне, было очевидно всякому более-менее крупному партийцу: — как только Троцкий менял роль «поплавка» и уходил вглубь большевистской партии, он неизменно в ее теле оказывался «чужероден».

Вражда к Троцкому главных партийных деятелей вовсе не родилась в 1924 году по смерти Ленина. Тогда она только «пришла в действие». Жила же она и не скрывалась все время с 1917 года. Положение Троцкого в партии было всегда как бы положением «кандидата в большевики», а не большевика.

С 1917 года по 1920 мне часто приходилось встречаться и с Троцким и с его противниками и могу засвидетельствовать, что крайняя неприязненность к нему Зиновьева, Крестинского, Сталина, Стучки, Дзержинского, Стасовой, Крыленко и многих других правоверных ленинцев существовала всегда и редко чем-нибудь прикрывалась. Все эти люди только «терпели» Троцкого потому, что он был нужен большевистской революции и потому, что Ильич заключил с ним некое «джентльменское соглашение». Эта владычная рука Ленина, поддерживающая Троцкого под спину, всегда была ощутима и без этой руки падение Троцкого могло быть ежедневным.

Отказ в кредите Троцкому и недоверие к нему происходили от следующих причин. Во-первых, Троцкий действительно был многолетним меньшевиком. Правда, он занимал всегда более выгодную его натуре межеумочную позицию, плавая по социал-демократическим водам заманчивым поплавком «перманентной революции» и не идя ни под Ленина, ни под Мартова, ни тем более под Плеханова с Потресовым. Но вот именно поэтому со стороны таких совершенно нетерпимых, узко-большевистских мозгов, какими обладали и обладают твердокамен-

ные ленинцы, Троцкий и был всего только «сменовеховцем». Кредит измерялся подпольным стажем и заслугами. У Троцкого ничего этого не было. К тому ж психологически Троцкий и ленинцы были разны. Это чувствовала головка партии и это тоже против Троцкого вызывало раздражение.

Чтобы быть объективным надо сказать, что Троцкий интеллектуально был выше ленинцев на голову, хотя это и не Бог весть уж какой комплимент, ибо интеллектуальные силы ленинизма были всегда чрезвычайно убоги. Но умственное и культурное превосходство, эта бывалость и просвещенность, при невероятно-эгоцентрическом характере и надменности Троцкого, при его жажде «наполеонства», сквозившей во всем, в манере, речи, полемике, вызывали естественное озлобление у головки ленинцев. А у некоторых, как у Зиновьева и у Сталина, это чувство переходило в буквальную ненависть.

В рамки большевистской организации Троцкий не вкладывался, он как резиновый чертик, неизменно из нее выпрыгивал. Стать «нечужеродным», «своим» мешали болезненное честолюбие, сознание, что если он и не Ленин, то почти Ленин. А я думаю, что наедине Троцкий ценил себя куда выше Ленина!

III

После октябрьского переворота я видел Троцкого в роли наркоминдела. Тут мне казалось, что на короткое время о Троцком в партии как-то забыли. Дали наркоминдел, «делай, мол, там что хочешь!» И в самом Троцком на короткое время проснулся, пожалуй, больше журналист, чем «министр». Он бросился в секретные архивы, ими зачитываясь, пиша ноты и лозунги, дал волю своей революционной фантазии. На первой же министерской должности Троцкий стал приближать к себе специалистов. В противоположность Ленину, у которого «партиец все мог понимать и все делать», Троцкий искал и брал людей дела, как, например, племянника бывшего военного министра Поливанова, сына быв. министра Муравьева и других. Троцкий хотел быть окружен «настоящим министерством», настоящими чиновниками, а не большевистскими импровизаторами, к которым в ответ на недоверие относился с презрением.

Но фантазии Троцкого в роли революционного дипломата революционнейшей страны кончились... Брестом. На этом его

дипломатическая карьера оборвалась и Ленин назначил Троцкого наркомвоеном.

Этому шумному назначению Троцкого предшествовало не лишенное интереса и в литературе неосвещенное событие. В марте 1918 года, когда совнарком переезжал из Петербурга в Москву, Ленин заявил в Смольном, что хочет оставить Троцкого в Петрограде главой питерского совнаркома, а Зиновьева взять с собой в Москву.

Вопрос этот обсуждался на собрании актива петербургских большевиков, где вызвал взрыв возражений, демонстрировавших открытый отказ в кредите Троцкому со стороны ведущей головки большевизма. Из питерских большевиков Троцкого не поддержал никто, тогда как кандидатура Зиновьева в председатели петербургского совнаркома выставлялась как самоочевидная. И Ленин с этим вынужден был согласиться.

В результате, в марте 1918 года Зиновьев взял Петроград своей вотчиной, а Троцкий стал наркомвоеном. С Зиновьевым в 1918-19 г.г. я виделся почти ежедневно. Отношение его к Троцкому было самое отвратительное, причем и Троцкий платил Зиновьеву той же монетой.

Причина этой обоюдной ненависти была ясна. Зиновьев требовал себе как раз ту самую роль, на которую претендовал Троцкий: — дублера Ленина. И чистокровный большевик, старый наперсник Ленина, Зиновьев пытался всеми силами отпихнуть Троцкого от попытки дублировать Ильича. Троцкий, разумеется, не оставался в долгу. В своей драке они забыли только о Сталине, который одинаково ненавидел их обоих.

В 1918-19 г.г. взаимная враждебность Зиновьева и Троцкого не оставалась только в сердцах двух вельмож, борьба их явственно реализовалась и в жизни. В то время, как Троцкий начал организовывать военное ведомство, подбирая опять-таки «настоящих военных», генералов, полковников и комиссаров, долженствующих быть ему преданными, Зиновьев не желал выпускать из рук военную организацию Петрограда. Игра Зиновьева опиралась на то, что «полубольшевик» Троцкий подбирает людей политически ненадежных, в то время, как Зиновьев создаст надежную организацию.

Парируя эту игру, Троцкий в 1918 году стал привлекать к себе чекистов, организовав при себе чекистский отряд во главе с Павлуновским. Привлек он к себе и видного чекиста

Берзина. Из этого чекистско-коммунистического аппарата впоследствии и выросла, в сущности, оппозиция троцкистов. Тогда же, в ведомственной борьбе Троцкого (с Зиновьевым в Петербурге, с Сталиным в центре, с Ворошиловым на юге), этот аппарат играл большую роль, спасая часто положение Троцкого и поддерживая его у власти.

Троцкий был очень властолюбив и тщеславен, подчас даже мелочно. В психологии его было что-то от нувориша. Так, помню приезд его в Петроград весной 1919 года. Из Москвы в Петроград Ленин обычно ездил в купэ 1-го класса. Троцкий — в комфортабельном поезде. В этот приезд я был вызван к нему на Николаевский вокзал. На Николаевском вокзале — поезд из вагонов бывших царских поездов, оборудованный по последнему слову комфорта, тут и типография, и отдельный вагон для свиты, и первоклассная кухня, и ванны, словом, «царский» поезд. Чтоб дойти до поезда, мне пришлось пройти сквозь две цепи солдат. В поезде меня принял адъютант, бывший царский офицер, который и доложил обо мне наркомвоену. Троцкий принял меня в салон-вагоне, сидя за столом. Следов былого «молодого Лассаля» в Троцком тогда уже не было. Необыкновенная надменность человека, привыкшего к безграничной власти, вот каков был тон Троцкого. Его окружение из офицеров перед ним держалось необычайно подтянуто. Ни перед Лениным, ни перед Зиновьевым никто бы так не стоял. Тут пахло настоящим аракчеевским фрунтом.

Пока я ждал Троцкий тут же принимал какой-то доклад, высокомерным тоном министра задавая вопросы и как только ответы ему казались неудовлетворительными, он тут же обращался к секретарю, говоря коротко:

— Запишите, что было сейчас сказано!

Иногда такие записи означали вызов Павлуновского и расстрел на месте. Это был стиль Троцкого.

В небрежном постукивании карандашем по столу, во взгляде свысока, в позе нога на ногу, в повелительном обращении с своим окружением из бывших офицеров, во всем у Троцкого чувствовалось, что этот человек упивается властью. Царские поезда, свита, помпа, расстрелы, — в Троцком очень даже теплился «стиль Бонапарта». Но в то время, как извне, иностранцам, белым армиям, обывателям Троцкий казался необычайно властным, на самом деле властность Троцкого, наталкиваясь

на партийный аппарат, вглубь не шла. Ленинцы только давали Троцкому развиться. Победно воевавшему на фронтах Троцкому приходилось жестоко отгрызаться внутри партии, где его хватали за икры со всех сторон.

Именно благодаря этому Троцкий и создавал вокруг своего поезда «государство в государстве», подбирая и обласкивая нужных ему людей, хотя надо сказать, что критические моменты гражданской войны иногда выносили Троцкого наверх и с этого верха Троцкий презрительно тыкал сапогом Зиновьева и его товарищей.

Таким моментом для Троцкого было наступление генерала Юденича на Петроград. Эти мрачные, страшные дни конца октября 1919 года заслуживали бы отдельных воспоминаний. Юденич под Петроградом, занял Царское, подошел к Пулковской горке и угрожает Тосно и Ораниенбауму. Головка питерских большевиков переживала подлинную панику. Красные войска разбегались куда глаза глядят. Зиновьев, панически трусливый в моменты опасности, теперь только и делал, что по прямому проводу требовал из Москвы директив по эвакуации Петрограда, заявляя, что «держаться больше не может!»

Попытки организовать наскоро сбитые рабочие дружины ни к чему не привели, под нажимом Юденича подступы к столице обнажались и с часу на час ожидалось занятие города белыми. Предавшийся панике Зиновьев почему-то еще был убежден, что и Финляндия выступит против Петрограда. Вот в этот-то момент, когда в Смольном Зиновьев собрал всех петербургских наркомов и истерически кричал: — «Вы все останетесь тут! Хоть три дня! Я никуда никого отсюда не выпущу!» — из Москвы сообщили, что в Петербург выехал Троцкий. Для Зиновьева — конфуз. Для Троцкого — триумф, кратковременный, но несомненный.

Троцкий приехал в Петроград поздно вечером. С той же помпой пришли два царских поезда. С Троцким — большая свита двух сортов, военные во главе с генералом Надежным и чекисты во главе с Павлуновским. Окруженный этой свитой, Троцкий с вокзала проехал прямо в Смольный и вошел в кабинет Зиновьева (прежний кабинет Ленина), где вокруг Зиновьева собрались питерские комиссары. С места в карьер, обращаясь к Зиновьеву, Троцкий проговорил:

— Здравствуйте, товарищ Зиновьев! На ваш запрос об

эвакуации заявляю, что Петроград сдан не будет! Я приехал от Совнаркома с неограниченными полномочиями. А за сим — созовите собрание партийного актива Петрограда!

И когда Зиновьев еще не успел произнести слова, Троцкий повернулся к Павлуновскому и резко-металлически, с резонансом, расчитанным на всех присутствовавших, проговорил:

— Товарищ Павлуновский, приказываю немедленно арестовать и расстрелять весь штаб защиты Петрограда! А вам, — обратился к генералу Надежному, — немедленно принять на себя командование 7-ой армией и организацию штаба защиты!

Минута — «бонапартовская». При полном молчании Надежный и Павлуновский, окруженные помощниками, вышли из кабинета. В эту же ночь Павлуновский расстрелял совершенно ни в чем неповинный штаб защиты Петрограда во главе с бывшим офицером генерального штаба Линденквистом. Защита перешла в руки генерала Надежного. А расстрелы — к чекисту Павлуновскому, этому обер-палачу при Троцком, вызывавшему во всяком человеке бесконечное отвращение: — высокий, худой, с жуткими глазами убийцы, одетый в «лихую» кавалерийскую шинель до пят, с рукой на перевязи, Павлуновский с своим отрядом по мановению руки Льва Давыдовича расстреливал бесчисленное количество людей.

Когда Павлуновский и Надежный вышли и в кабинете остались Зиновьев и человек пять питерских комиссаров, Троцкий сразу же как-то «размяк». «Железный жест» был сделан и в ожидании нового жеста на собрании петербургского актива, Троцкий похаживал по большому кабинету Зиновьева, подшучивал над тем, что «Зиновьев, кажется, осунулся», брал с полки книги, перелистывал, читал наугад какие-то цитаты и по поводу их острил, потом снова клал книгу на полку и снова подшучивал над Зиновьевым и над телефоном с громкоговорителем, стоявшим у него на столе. На эти остроты Зиновьев реагировал слабо. В это время, по приказу Троцкого, происходила смена всей охраны Смольного. Прежнюю охрану сменили приехавшие с Троцким какие-то такие морды, что на них смотреть было жутко. Эта смена, вероятно, должна была подчеркнуть окончательную победу Троцкого над Зиновьевым: не оставлялось камня на камне.

Когда в зале Смольного собрался актив петербургских большевиков (это было красочное, «историческое» заседание,

занятия Петрограда белыми ждали с минуты на минуту), — Троцкий выступил с речью. Тут снова из посмеивающегося журналиста Троцкий превращался в «железного вождя». Гремела речь о постыдности поведения коммунистов, о психологии дезертирства, о беспощадности мер, которые он примет, всем и всему Троцкий грозил расстрелом.

Ночь в Смольном прошла в лихорадочной работе. Сюда привезли арестованный штаб бригады, действовавшей под Ораниенбаумом. Этой же ночью Троцкий в сопровождении генерала Надежного выехал на фронт, а в Смольный из Москвы приехал Красин, на которого было возложено поручение в случае сдачи Петрограда подготовить приведение петербургских заводов в полную негодность. Этим Красин и занялся.

На утро я застал Троцкого в Смольном. Обсуждался вопрос о переброске на фронт подходивших из Москвы и с Мурманского фронта подкреплений. Троцкий стоял посредине кабинета Зиновьева, у двери — двое чекистов, Павлуновский в своей кавалерийской шинели и начальник особого отдела петроградской ЧК Комаров. За столом секретарь Троцкого с неизменным блокнотом, а перед Троцким — перепуганный начальник военных сообщений Петрограда Араратов.

— Сколько времени нужно, чтобы перебросить войска с Финляндского вокзала на Балтийский? — кричал Троцкий Араратову.

— 24 часа, по-моему.

— Что?! Саботаж! Запишите сказанное! — кричит Троцкий и тут же Павлуновскому: — Арестовать!

Павлуновский и Комаров уже двинулись к потерявшему всякое присутствие духа Араратову и если бы за него не вступились все присутствовавшие, Араратов был бы немедленно расстрелян, как было уже расстреляно множество людей. Троцкому объяснили, что перебрасывать войска по железной дороге с вокзала на вокзал не нужно, гораздо быстрее войска пройдут в пешем строю.

В этот день под руководством Троцкого Петроград спешно делился на три зоны, из которых две могли быть сданы, а третья должна была защищаться до последнего. В деле обороны Петрограда Троцкий, конечно, сыграл роль, но все же чудес не бывает и Троцкий ничего бы не сделал, если бы ему не помог... сам генерал Юденич.

Уверенность в том, что если Юденич будет продолжать наступление, то город будет взят, была абсолютна, а сдача Петрограда грозила самыми серьезными последствиями и для центральной власти. Но генерал Юденич в это время три дня простоял перед беззащитным Петроградом в полном бездействии. Бездействие генерала Юденича было непонятно. Оно и создало триумф Троцкого: — в течение этих трех дней все время подходили красные подкрепления.

Под Петроград были переброшены уже довольно значительные части и для подъема духа войск Троцкий сам выехал на автомобиле в Гатчину. Я сопровождал его. Это был решительный момент, когда красные перешли в наступление, а белые дрогнули.

О Троцком коммунисты-военные частенько говорили, как о человеке трусливом. Придерживаясь объективности, должен сказать, что в Гатчине Троцкий держал себя вполне соответственно своей роли. Может быть, у него и дрожали поджилки, когда автомобиль под обстрелом белых влетел в еще не занятую Гатчину. Но трусости Троцкий не проявил. Напротив, несмотря на предостережения окружающих, он вылез из автомобиля, шел под обстрелом, вообще все было именно так, как подобает «полководцу».

Об энтузиазме красных войск при защите Петрограда говорить, конечно, не приходится. Этот энтузиазм создали чекистские и курсантские отряды, шедшие с пулеметами сзади войск, расстреливая на месте всех дрогнувших или пытавшихся дезертировать.

В гражданской войне защита Петрограда была моментом большого ведомственного успеха Троцкого и поражения Зиновьева. Но насколько Троцкий был непопулярен в партии показывает хотя бы тот факт, что несмотря на такие «головокружительные» заслуги он уже в следующем году под давлением головки партийцев ушел с поста наркомвоена и стал народным комиссаром путей сообщения.

Тут, в Москве, на Ново-Басманной, в здании НКПС, я не раз видел Троцкого. Привыкший ко всему «военному», он и тут действовал на военный манер: — часовые в коридорах, часовые у кабинета.

В мае 1920 года я был вызван Троцким по поводу назначения на работу по железнодорожному ведомству. Разговор

ничем особым замечателен не был. Но от этого визита осталось ощущение, что снятый с поста наркомвоена Троцкий уже на ущербе, затерт и поражен ленинцами.

Изменился и вид Троцкого, он сильно постарел, лицо бледно-желтое, пробилась сильная седина, было ясно, что сивку укатывали крутые горки. Популярностью на посту наркома путей сообщения Троцкий не пользовался. Видные коммунисты-железнодорожники, как всегда, считали его не своим, а спецы и низший технический персонал ненавидели за вводимые дикие террористические методы, за военизацию железных дорог. На железных дорогах Троцкий ввел подлинную аракчеевщину. Его чекисты, перешедшие сюда вместе с ним из военного ведомства, в смысле бессудных расстрелов творили нечто неописуемое. Военизация приводила к невероятному самодурству местных властей. Но в роли наркома путей сообщения Троцкий уже явно пел свою лебединую песню. Он падал медленно, но верно. Подпорка, ввиде руки больного Ленина, уже ослабела, а самостоятельной силы удержать власть не было.

В то время, как за Лениным стояла вся партия, за Дзержинским вся ВЧК, за Сталиным сильная часть партии и даже за Зиновьевым в Петербурге была довольно крепкая группа лично ему преданных «зиновьевцев», за Троцким была пустота. Дара водительства у Троцкого не было.

В недрах большевиков Троцкий не свой, у него нет ни друзей, ни последователей. В массах, где когда-то Троцкий имел популярность, он ее сам давно потопил в крови расстрелов. В партии за Троцкого была лишь часть интеллигенции и одиночные военные, лично им выдвинутые, да группа чекистов, подобных Павлуновскому. Чтобы сыграть роль, этих сил было слишком мало. И в итоге оказалось, что все свои рулады Троцкий пропел соло, с закрытыми глазами, как глухарь на току.

Так, пролетев по большевистскому небу фейерверочной ракетой, с шумом, треском, пальбой, Троцкий все снижался и потухал. Наконец, перелетев границы России, ракета с шипением упала в воды у Принцевых островов и потухла.

ЗИНОВЬЕВ

В первый раз я увидал Зиновьева в 1917 году в Совете Рабочих Депутатов, когда он произносил речь. Среднего роста,

плотный, ожирелый, с откинутой назад вьющейся восточной шевелюрой Зиновьев не говорил, а кричал необычайно пронзительным фальцетом. Легкость речи его была удивительна. Казалось, Зиновьев может так говорить часами, днями, неделями. Охваченный ораторским жаром, иногда он казался на трибуне даже эфектным. Во всяком случае производил впечатление и темпераментного и убежденного человека.

Позднее, когда мне пришлось встречать Зиновьева в кругу видных питерских большевиков, я замечал, что очень многие (напр., Стучка, Крестинский, Коллонтай) к этому «убежденному большевику» относятся не только без всякого пиетета, но с плохо скрываемым раздраженным неуважением. При разговорах с этими людьми о Зиновьеве, часто приходилось видеть брезгливое пожимание плечами, иногда с добавлением «нечистый человек».

Но таково отношение к Зиновьеву было только в головке питерских большевиков, в широких же слоях партии и среди революционно-настроенных рабочих Зиновьев пользовался тогда несомненным большим влиянием и все его выступления проходили неизменно с шумным успехом.

Речи Зиновьева были совсем непохожи на речи Ленина и Троцкого. Ленин вообще не обладал ораторским дарованием, к тому же Ленину всегда была нужна аудитория, которая к его идеям была хотя бы минимально подготовлена. Не расчитаны на самые последние ряды галерки бывали и речи Троцкого. Речи же Зиновьева были как раз для галерки. Зиновьев был демагогом черни.

Рассказывают, когда Ленин задолго до революции на эмигрантском собрании, впервые услыхал визгливый фальцет, произносившего речь Зиновьева, он сразу же обратил внимание на экспансивного молодого человека и приблизил его к себе, как могущего стать «первоклассным агитатором». С тех пор близость Зиновьева к Ленину никогда не порывалась. А после октябрьской революции именно Ленин выдвинул Зиновьева на руководящий пост в Петербурге, где с отъездом Совнаркома в Москву, Зиновьев стал полновластным диктатором Петрокоммуны.

Для определения размеров власти Зиновьева в Петрограде надо сказать о том, какими учреждениями осуществлялась тогда вообще власть большевиков в революционной столице.

Тогда, в Петрограде было три сорта коммунистических учреждений олицетворявших власть.

Первым был Совет Рабочих Депутатов, деливший Петроград на районы (Нарвский, Спасский, Василеостровский и другие, соответственно прежним полицейским частям). В районах действовали районные советы. Разумеется, компетенция их никаким законодательством ограничена не была и советы занимались всем, чем хотели: реквизицией зданий, мобилизацией населения на работы, обложением налогами, арестами и пр.

Вторым учреждением, олицетворявшим власть, была — партия, в лице Питерского Комитета, имевшего также районные комитеты. Круг действий районных комитетов был аналогичен кругу действий районных советов; их функции почти всегда переплетались, создавая тем невообразимую неразбериху.

Третьей властью в столице был Совет Народных Комиссаров. Правда, название «народных», по приказу из Москвы, очень скоро было отменено и питерские комиссары стали просто «комиссарами» Петрокоммуны. Деятельность этого наивысшего органа власти сплеталась тоже с деятельностью Совета Депутатов и с работой Комитета партии. И вся хаотичность работы этих трех учреждений триедино скреплялась только **личностью** Зиновьева, который в своем лице объединял все три учреждения. Зиновьев был председателем Совета Комиссаров, председателем Совета Рабочих Депутатов и председателем Питерского Комитета партии, являясь таким образом абсолютным диктатором Петрограда и Петроградской области.

В Смольном, в кабинете Зиновьева, сосредотачивалось всё. Окружали Зиновьева следующие лица: Комиссаром народного хозяйства был Молотов. Этому небольшому безличному человеку с плоским, невзрачным лицом в то время никто бы не предсказал его головокружительной карьеры. На больших собраниях, сильно заикавшийся Молотов не выступал. Собственных идей не имел, за исключением одной. Молотов носился тогда с идеей «всеучета». И надо сказать, в этой «гениальной идее» было что-то от «идей» капитана Лебядкина. Молотов хотел «учесть в России решительно все», от запасов сырья, оборудования фабрик, транспорта, военного снаряжения до площади квартир и всей «движимости», имеющейся на руках всего населения. В его предложениях идея «всеучета» приобретала

настолько юмористический характер, что Зиновьев всегда снимал ее с обсуждения.

Комиссариат внутренних дел Зиновьев отдал одной из своих жен — г-же Равич. Говорят, в частной жизни Зиновьев был хорошим семьянином. Во всяком случае, придя к власти, Зиновьев сразу же позаботился о постах для своих обеих жен. Правда, «сексапильная» дама, г-жа Равич, делами своего комиссариата почти не занималась, да, вероятно, и не имела к этому данных, зато большую роль она играла в Питерском Комитете партии, где была секретарем и, так сказать, верным «оком и ухом» своего мужа.

Своей первой жене, престарелой Лилиной, Зиновьев отдал комиссариат социального обеспечения. В противоположность Равич Лилина была антипатичной, увядшей женщиной лет 55-ти, чрезвычайно желчной и раздражительной. Административных дарований у нее было не больше, чем у второй жены, но она была старым партийным работником, а потому имела вес и сама по себе и, в особенности, как жена Зиновьева.

Комиссаром городского хозяйства (должность в те времена глубоко номинальная) был М. И. Калинин. Ввиду его дальнейшей карьеры на нем хочется остановиться. Тогда, в продолжении двух лет, я чрезвычайно часто встречался с Калининым. В совете комиссаров, в Совете депутатов, в Комитете партии, везде Калинин был абсолютно безгласен. Крайне невзрачного мужичка не замечал никто и не по какой-нибудь злонамеренности, а просто потому, что его, действительно, нельзя было заметить, настолько сер и даже как-то несчастен был будущий президент Советского Союза. Зиновьев третировал Калинина, как хотел, и употреблял его только на единственное амплуа: — если где-нибудь в городе возникал какой-нибудь конфликт, Калинин посылался туда и опять-таки не из-за дипломатических способностей Калинина, а всецело из-за его декоративной крестьянской внешности. На ней-то Калинин, как известно, и сделал карьеру.

Зато человеком совсем другого склада был комиссар печати Володарский. Разбитной, наглый парень из портных Володарский был весьма энергичен и к тому ж недурной оратор. Среди своих он был всегда любитель анекдота и «душа общества», во внешнем же мире появлялся, как фигура крайне свирепая и Зиновьев выбрал его, чтобы задушить печать.

Володарский создал «трибунал по делам печати», председателем которого был назначен рабочий Зорин. Между Зориным, рабочим от станка, вовсе нежелавшим никакого удушения печати и Володарским, действительно душившим печать, вспыхивали частые раздоры и всегда по одному и тому же поводу. Зорин ни за что не хотел соглашаться с «предрешенностью» приговоров трибунала. В Зорине жил еще призрак «свободы» и на безапелляционные указания Володарского закрыть такую-то газету Зорин вспыхивал и кричал: — «Не буду закрывать! Если хочешь все закрыть, так и объяви, что все закрываешь!» Но в такие моменты в спор вмешивался Зиновьев и все кончалось все-таки тем, что в трибунале Зорин объявлял очередной приговор о закрытии той или другой газеты.

Остальное окружение Зиновьева составляли — Урицкий, председатель ЧК, в распоряжении которого была, так называемая, «волчья сотня Урицкого», с бору с сосенки набранный охлос, действовавший не только в столице, но и в прилегающих к Питеру районах; Луначарский, Залуцкий, Марков, Позерн, Бадаев и три левых с.-р. Из всех этих «министров» революционного Петрограда диктатор Зиновьев был самой колоритной фигурой.

Иногда, глядя на Зиновьева, мне казалось, что в этом разжиревшем человеке с лицом провинциального тенора и с длинной гривой вьющихся волос, проснулся какой-то древний восточный сатрап. В периоды опасности (октябрьская революция, восстание Кронштадта, наступление Юденича) Зиновьев превращался в дезориентированного, панического, но необычайно кровожадного труса. В периоды же спокойного властвования Зиновьев был неврастеничен, безалаберен и в противоположность многим старым большевикам, не имевшим вкуса к плотским «прелестям жизни», Зиновьев с большим удовольствием предавался всем земным радостям. Хорошо выпить, вкусно поесть, сладко полежать, съездить в театр к красивым актрисам, разыграть из себя вельможу и мецената, все это Зиновьев чрезвычайно любил и проделывал с большим аппетитом.

Во то время, как при Ленине в Петербурге частная сторона жизни комиссаров в Смольном была в полном небрежении, при Зиновьеве на нее сразу же было обращено сугубое внимание. По его личному распоряжению в Смольном стали даваться, так

называемые, комиссарские обеды, которые не только уж на фоне революционного всеобщего недостатка, но и в мирное-то время могли бы считаться лукулловскими. Только когда в столице голод принял чрезвычайно сильные размеры, комиссары стали указывать Зиновьеву на неудобство в Смольном этого «гурманства» и «шика». И Зиновьев приказал перенести комиссарские обеды в «Асторию», гостиницу целиком занятую коммунистической знатью, где подобные «отдыхи» могли проходить более незаметно.

Говоря о трусости Зиновьева, надо сказать, что в Смольном он ввел необычайную охрану. У входа в Смольный сидели бессменные пулеметчики за двумя пулеметами. Пропуска́ всех контролировались не только при входе в здание, но еще на каждом этаже. В смысле «охраны» был образцовый порядок. Зато на заседаниях комиссаров у Зиновьева беспорядок достигал апогея. Митинговый демагог и мастер интриги, как организатор Зиновьев был очень слаб. Заседания совета в Смольном происходили в бывших институтских классах, где попало, не имелось даже определенной комнаты. На заседаниях Зиновьев говорил очень мало, вел заседания безалаберно, протоколы составлялись уже после заседаний секретаршей Крастиной (у Сталина попавшей в тюрьму). Одним словом, с педантической акуратностью Ленина у Зиновьева не было ничего общего. Зиновьев бывал «на коне» только в демагогических выступлениях и в темноте интриг.

Зато, как в демагогии, так и в интриге Зиновьев был мастер. От природы необычайно хитрый и ловкий, Зиновьев тут возвышался до большого мастерства. Особенно памятна мне игра Зиновьева с левыми эсэрами накануне их восстания, когда на областном съезде большевиков и левых эсэров, Зиновьев, ненавидевший левых эсэров и ждавший только случая перегрызть им горло, вдруг выступил с предложением увеличить число мест левых эсэров в Совете Комиссаров и, в частности, назначить левого эсэра Лапиера на место комиссара путей сообщения.

Этому предложению все комиссары-большевики были крайне удивлены. И на ближайшем заседании Совета Комиссаров несколько из них подошли к Зиновьеву, спрашивая, что сей сон означает? Хитро улыбаясь, Зиновьев увел спрашивавших в свой кабинет, сообщив под величайшим секретом, что

у него имеются все сведения о готовящемся восстании левых эсэров, но что меры им уже приняты и он хочет только своим предложением усыпить бдительность левых эсэров.

Действительно, назначенное левыми эсэрами выступление Зиновьев предупредил полным разгромом их штаба. В этот день ранним утром правая рука Зиновьева, комендант Петрограда, приехавший в Россию из Америки, полубандит-полуанархист, действовавший под псевдонимом «Владимир Шатов», уже оцепил Садовую улицу и с отрядами большевиков пошел «штурмом» на Пажеский корпус, где помещался штаб левых эсэров, причем штурму предшествовал обстрел здания из подвезенных орудий. Штаб левых эсэров был быстро взят и Штейнберг, Лапиер и другие засевшие в корпусе левые эсэры, бежали. Зиновьев потирал от удовольствия руки.

Но не только в отношении к врагам Зиновьев был беспощаден. В отношении к людям вообще, в характере Зиновьева были преувеличенная подозрительность и недоверчивость. Зиновьев доверял только своим двум женам. Всех же других он мог выдвигать на видные места, но тут же и сбрасывать в неизвестность. В отношении же врагов Зиновьев проявлял исключительную жестокость.

Разумеется, никто из вождей коммунизма не отличался ангельской добротой к «человеку». Но жестокость их была разная. У Ленина она покоилась на полной безынтересности к людям вообще. Троцкий был жесток для жеста, для позы. В Зиновьеве же было что-то эмоционально-жестокое, я бы сказал даже, садистическое. В Петрограде именно он был вдохновителем террора.

Помню два случая. Однажды в августе 1919 года по делам службы я был в кабинете Зиновьева, когда туда пришел председатель петербургской ЧК Бакаев. Бакаев заговорил о деле, сильно волновавшем тогда всю головку питерских большевиков. Дело было в следующем. Одна пожилая женщина, старая большевичка, была арестована ЧК за то, что при свидании с знакомой арестованной «белогвардейкой» взяла от нее письмо, чтобы передать на волю. Письмо было перехвачено чекистами. Дело рассматривалось в ЧК и вся коллегия во главе с Бакаевым высказалась против расстрела этой большевички, в прошлом имевшей тюрьму и ссылку. Но дело дошло до Зиновьева и Зиновьев категорически высказался за расстрел.

В моем присутствии в кабинете Зиновьева меж ним и Бакаевым произошел крупный разговор. Бакаев говорил, что, если Зиновьев будет настаивать на расстреле, то вся коллегия заявит об отставке. Зиновьев взъерепенился как никогда, он визжал, кричал, нервно бегал по кабинету и на угрозу Бакаева отставкой заявил, что, если расстрела не будет, то Зиновьев прикажет расстрелять всю коллегию ЧК. Спор кончился победой Зиновьева и расстрелом арестованной женщины на Охтенском полигоне, где обычно расстреливали добровольцы-железнодорожники Ириновской дороги.

Другой случай таков: В дни наступления Юденича на Петроград, в моем присутствии Зиновьеву однажды доложил «начальник внутренней обороны Петрограда» известный чекист Петерс, что чекистами пойман человек, вероятно, белый, перешедший границу с целями шпионажа. Помню, как у Зиновьева вдруг как-то странно загорелись глаза и он заговорил отвратительной скороговоркой:

— Это прекрасно, прекрасно, вы его, товарищ Петерс, пытните, как следует, все жилы ему вымотайте, всё, всё из него вытяните.

Зиновьев в этот момент был необычайно отвратителен.

Но при всей своей хитрости, ловкости и мастерстве интриги, что-то все-таки помешало Зиновьеву во-время разглядеть сложный клубок партийных интриг, ведшихся в Москве вокруг заболевшего, сдававшего Ленина. Зиновьев промахнулся, не дооценив силы Сталина. Мне запомнилась одна встреча этих людей.

Помню, летом 1919 года между первым и вторым наступлением Юденича, в Смольный к Зиновьеву приехал из Москвы член реввоенсовета Сталин для обсуждения вопросов, связанных с эвакуацией Петрограда. На это совещание я был вызван Зиновьевым, ибо вопросы эвакуации непосредственно касались моего ведомства.

Барственно и небрежно развалясь, Зиновьев сидел в массивном кресле, громко и резко говорил, страшно нервничал, то и дело откидывая со лба космы длинных волос. Сталин ходил по кабинету легкой кавказской походкой, не говоря ни слова. Его желтоватое, чуть тронутое оспой лицо, выражало какую-то необычайную скуку, словно этому человеку все на свете давно опротивело. Только изредка он задавал односложж-

ные вопросы и эта односложность и неясность позиции самого Сталина в вопросе об эвакуации Петрограда, на которой настаивал Зиновьев, последнего еще больше нервировала и горячила. Но Сталин так и промолчал все заседание, закончив его односложной репликой:

— Обдумаю и скажу, — и вышел от Зиновьева.

По уходе Сталина Зиновьев пришел в совершенно необузданное бешенство. Человек неврастенический, Зиновьев сейчас кричал и на Сталина и на ЦК, который не мог прислать к нему никого другого, а «прислали этого ишака!» Этот сочный эпитет Зиновьев в своем бешенстве варьировал на все лады, разумеется, не предполагая, что вот именно этот «ишак» после смерти Ленина и окажется самым сильным человеком в партии и через пятнадцать лет посадит Зиновьева в тюрьму, как «белогвардейца» и «контр-революционера».

Зиновьев пал по той же причине, что и Троцкий. У обоих, по смерти Ленина, без его «поддерживающей руки», самостоятельных сил не было.

ВОРОВСКИЙ В ИТАЛИИ

Официально дипломатическая работа большевиков в Европе ведет свое летоисчисление с 1921 года. Когда войны — гражданская и польская — кончились, большевики первыми «робкими» шагами пошли в дипломатические салоны Запада. Каменев — в Англии. Красин — в Швеции. А в Риге Литвинов через итальянского консула в январе 1921 года начал зондировать почву о посылке советской делегации в Рим.

С Римом у Советов в 1921-м году не было никаких отношений, если не считать пребывавшей там курьезной фигуры большого, шумного мужчины, старого эмигранта Водовозова, открывшего на Виа Ломбардия «импортно-экспортную» контору и пытавшегося через нее неофициально представлять «советскую торговлю» в Италии. Но деятельность этого старого эмигранта, с годами превратившегося в спекулянта, разумеется, никого кроме него самого не удовлетворяла.

А разрываемая разрухой и послевоенной нищетой Италия в 1921 году представляла для Коминтерна один из лакомых кусков. Большевики тогда крупно играли на мировую революцию и с Италией нужны были даже не столько торговые отношения, сколько возможность и с этого угла подпалить

Европу. Вот почему в феврале 1921 года в Кремле сочли немалой заслугой Литвинова удачное окончание им римских переговоров: — итальянское правительство соглашалось впустить торговую делегацию из представителей «Центросоюза».

Эту делегацию от «Центросоюза», в которую должны были войти, как представители внешторга, наркоминдела, так и Коминтерна и (еще не переименованной в ГПУ) ВЧК, в Москве начали снаряжать стремительно. Оглавление ее споров не возбудило. В. В. Воровский, заслуженный большевик, считался подходящим со всех точек зрения. Среди головки большевиков он был достаточно «европейской» фигурой. Старый эмигрант, по дореволюционной профессии Воровский был маленьким музыкантом, тапером. Но став профессиональным революционером он давно забросил эту основную специальность и с годами выдвинулся среди большевиков. На облике этого одного из первых коммунистов-дипломатов стоит остановиться.

Внешне Воровский производил двоякое впечатление. Когда сидел, был вполне благообразен. Тонкое лицо, подстриженная бородка, сухой блондин с типично польским интеллигентным лицом. Но как только Воровский вставал, впечатление резко менялось. У Воровского были нелады с позвоночником. Он вставал с большим напряжением, с разведенными в стороны руками и ходил отрывисто и шумно ударяя ногами, как ходят люди при начинающемся параличе спинного мозга. Вид шедшего Воровского производил гнетущее впечатление. За всем тем, Воровский был начитан, образован, владел многими иностранными языками и обладал даже некоторым литературным дарованием. По характеру же был человеком неприятным: — желчный, болезненно-самолюбивый, тщеславный он мог встретить своего служащего с мягкой обворожительной улыбкой и, отпустив его, тут же написать о нем по начальству донос. К талантам Воровского надо отнести и то, что он чрезвычайно тонко распознавал погоду в Кремле и был одним из первых сановников, кто уже тогда видел в Сталине восходящую звезду и оказывал ему всяческие любезности.

В жизни Воровский, как «европеец», очень ценил комфорт, даже роскошь, долженствовавшую окружать высокого дипломата и государственного деятеля.

Итак, в 1921 году Воровский стал главой советской делегации. Правда, главная «соль» ее была не в Воровском. Деле-

гация состояла из восьми человек, четыре от внешторга, четыре от наркоминдела. И в их числе Москвой посылались два чрезвычайно красочных типа.

На должность 1-го секретаря при Воровском ехал — представитель Коминтерна латыш Строуян. В делегации же от внешторга «заведующим экспортом» ехал представитель ВЧК, работавший и позднее в ГПУ на очень высоких постах — Яков Фишман. Остальные члены делегации Тихменев, Орлов, Дивильковский особого интереса не представляли. Но на этих двух фигурах стоит остановиться.

Видный работник ВЧК Яков Фишман был никто иной, как тот самый левый эсэр Фишман, который в дни восстания левых эсэров арестовал Дзержинского. Правда, после подавления большевиками восстания, в то время как многие левые эсэры погибли, заключенный в тюрьму Фишман подал покаянное прошение Дзержинскому, излагая ему свои «заблуждения» и прося отправить его на подпольную работу на Украину, где он докажет преданность советской власти. Дзержинский Фишмана «простил», послал на Украину и, будучи по темпераменту «авантюрно-боевым» человеком, Фишман на Украине, действительно, работал не за страх, а за совесть; он участвовал в убийстве генерала Эйхгорна, вел подрывную работу против белых и вскоре «все грехи молодости» были забыты и Фишман получил официальное назначение в ВЧК, в Главупр (главное управление по шпионажу и разведке, которым тогда ведал известный чекист Берзин).

На этой работе Дзержинский Фишмана очень ценил. И когда возник вопрос кого от ВЧК отправлять в Италию Дзержинский выдвинул кандидатуру Якова Фишмана. Кроме всего прочего, за Фишмана говорило и то, что он эмигрантом жил в Риме, хорошо знал итальянский язык и имел старые связи среди итальянцев. Так, Фишман и поехал членом делегации «Центросоюза».

Полной противоположностью «боевому» и авантюрному Фишману был ехавший на пост 1-го секретаря латыш Строуян. Это был исключительно тупой и безличный большевик, но зато такой фанатической преданности партии, что более «твердокаменного» чекиста сыскать, вероятно, и в ВЧК было трудно. А как раз эти качества в роли Строуяна и были надобны, ибо

в его личное распоряжение вручались большие ценности Коминтерна и ему поручалось их ликвидировать.

В 20-х числах февраля 1921 года делегация Воровского выехала из Москвы. Лично для любившего комфорт Воровского был подан вагон-салон, до революции принадлежавший знаменитой исполнительнице цыганских романсов А. Д. Вяльцевой. Этот вагон был поистине «верхом шика». Комфортабельный, с большим вкусом отделанный, с чудесным бехштейном, где когда-то знаменитая любимица публики заливалась романсами «Я хочу, все хочу!» Теперь в вагоне разместился Воровский, предоставив остальным членам делегации вагон-микст I-го и II-го класса.

До Риги делегация ехала без приключений.

В Риге Воровского радушно встретил Ганецкий, известный сотрудник Парвуса, контрабандист военного времени, после октября ставший тоже дипломатом. Дружеская встреча была искренна. Ганецкий был давним интимным другом мадам Воровской. Красные дипломаты, как и вся головка Кремля, составляли «одну большую хорошую тесную семью» новой коммунистической аристократии.

После дружеских воспоминаний, на первом же заседании в кабинете рижского полпреда Ганецкого произошел факт, в летописях истории дипломатии не чересчур обыкновенный: — Ганецкий «разменял» Воровскому деньги. Дело в том, что в Москве Воровскому по кремлевскому ордеру заведующий экспедицией заготовления бумаг Рождественский (позднее расстрелянный большевиками «за хищение дензнаков») выдал следующие суммы: — 500.000 рублей царскими тысячерублевками и 75.000 долларов, столь же свежими стодолларовыми билетами. Выдавая эти «московские» доллары, Рождественский даже пошутил: — «совсем еще, можно сказать, горячие». С этими суммами Воровский и приехал к Ганецкому.

Опытный в сих делах Ганецкий обменял Воровскому 500.000 рублей на самые настоящие американские доллары. Секрет операции был очень прост. В то время в коммунистическую Россию, как в «рай», ехало из Америки множество прежних эмигрантов. В Риге их деньги (иногда очень крупные) Ганецкий принудительно менял на «советскую валюту», а так как самым большим почетом в стране еще пользовались «цар-

ские рубли», то их и выпекала в неограниченном количестве советская экспедиция заготовления государственных бумаг. Настоящие же, полученные таким образом, доллары шли на коминтерновскую, чекистскую работу заграницей, на содержание Ганецких, Воровских и их организаций.

Но Ганецкий обменял Воровскому не только «рубли». На 75.000 фальшивых «московских» долларов он выдал Воровскому 75.000 долларов настоящих. Куда и как сбывал фальшивки старый контрабандист это уже было его «деликатное» дело. Одним словом, Воровский получил от Ганецкого достаточную на первых порах сумму на руки и плюс еще чек на три миллиона германских марок на один из берлинских банков.

Затем делегация «Центросоюза» двинулась дальше: в Рим через Германию. Но на границе Германии делегацию ждало неприятное происшествие. В Эйдкунене, как только делегаты в сопровождении жен вошли в зал таможни, к одетой в «потрясающее» котиковое манто жене делегата Орлова подошла служащая таможни и грубо схватив Орлову за рукав, потащила ее для личного обыска в отдельную кабину. Орлова — в крик! Вмешались мужчины. Воровский запротестовал. Немецкий офицер неумолим и в грубой форме заявляет главе делегации:

— Или вы уезжаете обратно, или все будете обысканы!

Это уже дипломатический скандал. Воровский посылает протест в Берлин и вместе с тем делегация завтра же уезжает с немецкой территории. Но на сегодня она объявлена арестованной в зале I-го класса и под присмотром сыщиков и чиновников делегаты на ночь разместились кто на столах, кто на полу. А ранним утром уехали назад в Вержболово ждать ответа из Берлина на протест Воровского, посланный советскому представителю Виктору Коопу.

Через два дня ответ пришел: — «пропустить!» И тот же офицер, с необычайной предупредительностью, взяв под козырек и выказывая всяческие любезности, не осматривая багажа, проводил делегатов в немецкий поезд на Берлин. В Берлине делегаты наконец-то осуществили заветную мечту «одеться по-европейски». Кроме Воровского, все были одеты невообразимо, кто в тулупе, кто в кацавейке, кто в старой военной шинели. Только один Орлов (прозванный «рыжим» за рыжую бороду) ехал в явно реквизированной барской собольей шубе и его жена в столь же шикарном реквизированном коти-

ковом манто. Но и у них под шубами одежда оставляла желать много лучшего.

Зато из Берлина в Рим делегаты ехали уж по-иному. Все оделись с иголочки, настоящие европейцы! Настроение делегатов прекрасное. Как вдруг, уже на итальянской территории, в купэ Воровского меж делегатами разыгрался скандал.

Только тут, в Италии, в присутствии делегатов Строуян сообщил Воровскому, что в ящике, который он везет, находятся драгоценности из бриллиантового фонда, выданные ему под личную ответственность. Этот ящик был приблизительно в квадратный метр и высотой в полметра. Теперь в купэ Воровского он был открыт и глазам делегатов представились невиданные драгоценности: — диадемы, колье, броши, кулоны, кольца. Подсчитать стоимость было просто немыслимо. А вскрытие произошло потому, что обеспокоенный Строуян спросил мнение Воровского, что делать с драгоценностями по приезде на римский вокзал, как бы не произошел случайный обыск, ведь дипломатические паспорта делегатов в Италии недействительны, ибо признания нет?

Воровский пришел в бешенство, обрушился на Строуяна с упреками в том, что он не сказал об этом раньше и теперь предлагал тут же раздать драгоценности женам делегатов, чтобы они что можно надели на себя, а что нельзя — спрятали. Большинство делегатов с Воровским согласились, но твердокаменный Строуян сделать это категорически отказался: — во-первых, жены коммунистов не могут въезжать увешенные бриллиантами в страну, где их ждут братья итальянские коммунисты, а во-вторых, прятать по карманам диадемы, колье и броши Строуян не позволит потому, что за каждый камень он лично ответственен. И как ни спорил с тупым Строуяном Воровский, Строуян решил везти ящик так, как вез до сих пор: в руках.

А поезд уже подходил к Риму. Советскую делегацию на вокзале ждала торжественная встреча. На перроне толпа коммунистов с Бамбачи во главе. Гремит «Интернационал». Под крики «Эвива Ленин!» Бамбачи приветствует долгожданную делегацию горячей речью. Рядом с Бамбачи — Водовозов, итальянцы-коммунисты. Но пока на платформе разыгрывалось это единение, дело с вещами делегатов внезапно омрачилось: — по распоряжению властей вещи должны были остаться в

таможне. И несмотря на все сопротивление Строуяна, несмотря на вмешательство итальянцев-коммунистов, вещи с быстротой молнии были взяты и их унесли в таможню.

Воровский в волнении. Но делать нечего. Надо найти сначала помещение для делегатов, которое не приготовили ни Бамбачи, ни Водовозов. А дело это оказалось чрезвычайно трудным. Приехали в один отель: — «Советская делегация? Все занято». Поехали в другой: — тоже самое. В третий, четвертый, пятый, десятый, двенадцатый: — тоже самое. Делегатов охватило беспокойство. И только к вечеру за большое вознаграждение нашли наконец два отеля пустивших советскую делегацию. Воровский, Строуян и наркоминдельцы поселились в отеле «Лондон», а делегаты от внешторга на — Виа Сикстина.

Утром Воровский должен был хлопотать о вещах, но в это же утро былое беспокойство делегатов сменилось настоящей паникой. Главные итальянские газеты вышли с необычайными заголовками: — «Бриллианты с убитых!» — «Окровавленные бриллианты!» — «Бриллианты расстрелянных!» и т. п. Причем в нескольких газетах приводились даже фотографии этих «сокровищ Алладина», привезенных в Рим представителем Коминтерна Строуяном. Раздувая сенсацию, газеты сообщали будто кто-то из русских эмигрантов уже опознал эти вещи, захваченные после расстрела их семей. Драгоценности Строуяна в Риме произвели впечатление «бомбы», а злоба Воровского к этому тупому и твердокаменному чекисту дошла до белого каленья.

Понимая, что скандал велик, что спасать положение можно только играя ва-банк, Воровский немедленно поехал в министерство иностранных дел заявить протест против действий таможни. Граф Сфорца Воровского не принял. Свой протест Воровский заявил генеральному секретарю министерства иностранных дел Канторини, указывая, что если эта газетная шумиха не будет потушена, то делегация немедленно покинет Рим и уедет назад в Советскую Россию. И дабы подтвердить сказанное, Воровский уже отправил заграницу часть делегатов внешторга.

А помимо этих официальностей за кулисами начали действовать Водовозов и коммунисты-итальянцы. Протест Воровского увенчался успехом: Кантарини заявил, что меры к пре-

кращению газетной кампании будут приняты и все вещи в целости были вручены делегатам.

Правда, в имевшей свободную прессу Италии сразу потушить газетный шум не удалось, отголоски этой истории появлялись то в той, то в другой газете, но тут уж Воровский действовал другими методами. Неловкость чекиста-коминтерн-щика Строуяна стоила Воровскому много нервов, да и не только нервов.

Плохо или хорошо, а первые дипломаты-коммунисты в Риме начали свою работу, Воровский и Строуян в отеле «Лондон», а Яков Фишман на улице Диоклетиановых Терм. Но после скандала с «окровавленными бриллиантами» первой задачей Воровского стало добиться у итальянского правительства дипломатических карт для членов делегации. Без дипломатической неприкосновенности работа Фишмана и Строуяна была невозможна. И вскоре эту «дипломатическую неприкосновенность» члены делегации Воровского от итальянского правительства получили.

В отеле «Лондон» Строуян начал свою деятельность по линии Коминтерна. Через итальянских агентов привезенные им драгоценности начали таять и в коммунистические партии Италии и Франции стали поступать средства, долженствовавшие оживить деятельность этих дружественных партий.

Фишман же развил необычайно энергичную деятельность по шпионажу. В короткий срок через своих агентов он скупил многие секретные документы. Правда, при помощи итальянских коммунистов в тогдашней Италии это не представляло большого труда. Все эти документы дипломатической вализой уходили в Берлин и работа Фишмана шла чрезвычайно гладко до тех пор пока не наткнулась на некоторые непредвиденности.

По 10.000 лир за штуку Фишман купил модели автоматического ружья и новых итальянских пулеметов. Воровский в восторге. Но если было легко отправить документы, то с доставкой в Москву моделей пулеметов Воровскому и Фишману приходилось чесать затылок. Наконец, Воровский выдумал такой план.

Для доставки этих моделей Воровский купил у Фиата два аэроплана «Капрони» и из Турина (где расположена фабрика Фиата) эти «Капрони» должны были лететь в Москву. Пилотировать за большие деньги согласились четыре видных итальян-

янских летчика из бывшей эскадрильи д'Аннунцио, два из них, Гарронэ и Стратта, особенно прославились во время войны. Летчики, кроме прочего, ставили условием, чтобы Воровский застраховал их жизни и в случае гибели выплатил страховку женам. Предусмотрительность нелишняя. Воровский их застраховал. Модели погружены. «Капрони» ждут отлета. И в ноябре 1921 года четыре летчика, на двух аппаратах вылетели из Турина.

Гарронэ и Стратта опытные летчики. За перелет Воровский мог быть спокоен. Но таковы уж бывают «апельсинные корки». Возле Гориции по необъяснимой причине аппарат Гарронэ и Стратта начал вдруг снижаться, а при посадке, задев крылом за угол дома, рухнул на землю. Оба летчика убиты на месте, аэроплан разбит.

Увидя катастрофу с первым «Капрони», второй аппарат решил тоже снизиться. Может быть, два других летчика, снизившись, попытались бы скрыть модели пулеметов? Неизвестно. Но и их снижение произошло неудачно. При посадке в открытом поле их аппарат оторвал нижний фюзиляж.

К месту катастрофы двух аппаратов сбежались жители. Приехали жандармы. В разбитом аппарате Гарронэ и Стратта жандармы нашли модели пулеметов. Летчики второго аппарата были немедленно арестованы. Шпионаж Фишмана-Воровского раскрыт. Но полпредство, разумеется, категорически отказалось от какого бы то ни было участия в похищении моделей, свалив все на разбившихся Гарронэ и Стратта. Над арестованными летчиками второго аппарата был назначен суд. Воровский нанял им адвоката Ферри. Суд приговорил летчиков к продолжительному тюремному заключению. А дело кое-как при помощи официальных и неофициальных ходов удалось замять.

Но после него Фишману пришлось уж действовать осторожнее. Усилить осторожность пришлось и Воровскому. Впрочем, подлинно торговая деятельность мало интересовала Воровского, его интерес все-таки целиком поглащала деятельность Строуяна и Фишмана. Что же касается советско-итальянской торговли, то при Воровском она имела самый жалкий вид. В ноябре месяце привезли на нескольких пароходах зерно. В итальянских газетах — кампания на тему, что это «зерно отравленное» и зерно продали за гроши. Выгрузили в Милане кожи. В газетах поднялась кампания, что это кожи с убитых

лошадей деникинской армии. Поехала даже итальянская комиссия осмотреть эти кожи, они действительно оказались на 75% гнилыми. То же повторилось и с партией кишек. Торговля не шла, несмотря на то, что Воровскому удалось заключить довольно благоприятный торговый договор.

Внутренно-итальянские настроения тоже складывались неблагоприятно для советской делегации, становилось все тревожнее, нарастал фашизм. Воровский стал бояться покушения, все время охраняясь членами собственной делегации. Правда, эта охрана его не уберегла от пули Конради в Швейцарии.

После смерти Воровского члены его делегации разъехались по разным странам, кто в Москву, кто в Берлин, кто в Париж. И «глава первая» дипломатической работы большевиков в Италии закончилась.

Из Москвы в Рим приехали новые люди и начались «новые главы».

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД

Июнь 1917-го года. Экспедиционный корпус генерала Н. Н. Баратова в Персии вышел из боев и отвел свои части на керманшахские позиции. Линия фронта, занимаемого корпусом, была очень длинна и корпус вел бои против турок по направлениям главных коммуникаций, на которых и были задержаны отведенные назад части. То же самое сделали турки, оттянув свои части за реку Диалу. Остановившись на исходных позициях, обе стороны выдвинули вперед сторожевое охранение и на образовавшейся огромной межфронтовой полосе вели разведку конными разъездами. Таким образом, на персидском фронте настало затишье, которое по временам нарушалось отдельными стычками местного характера.

Местность между Керманшахом и Диалой холмиста, маловодна, уныла. Летом жара здесь доходит до 60-ти градусов в тени. Воевавшие стороны старались держаться линий главных коммуникаций и поближе к воде. Однако, если в таких невыносимых климатических условиях воевать вообще трудно, то на этот раз прекращение военных операций и отвод войск на исходные позиции объяснялись не тяжестью климатических условий, а причинами более тяжелыми и непреодолимыми как для турок, так и для русских.

Дело в том, что турецкие части изнемогали в боях против русских и англичан. И несмотря на то, что на месопотамском фронте они не раз наносили англичанам серьезные поражения, к 17-му году они уже обессилели, отступая на всех фронтах и только революция в России спасла их от окончательного разгрома. Что касалось нашего корпуса, то к тому времени до него уже докатились раскаты революции и основательно расшатали его. Так называемые завоевания революции в корне разрушали веками выработанный уклад внутренней жизни военнослужащих и расшатали дисциплину. Взаимоотношения между солдатами и офицерами приняли новые и не всегда желательные формы. Короче говоря, боеспособность частей пала

и нужно было срочно вывести корпус из боев, чтобы как-то приноровиться к новым революционным требованиям и оздоровить состав частей. Однако, события развивались быстро и революционный развал с каждым днем все больше углублялся, морально размагничивая людей. Вчерашних бравых солдат-фронтовиков он превращал в обывателей, ничем недовольных и все критиковавших. Положение усугублялось еще тем, что новые органы власти для внедрения завоеваний революции издавали новые и новые распоряжения, выполнение которых зачастую шло вразрез с законами и положениями, на которых строилась и в течение многих веков держалась внутренняя и боевая жизнь солдат и офицеров русской армии.

Так, старая русская армия, как таковая, переставала существовать. Положение командного состава становилось невыносимым. Бывали случаи прямого личного оскорбления офицеров, хотя такие случаи тогда еще были редки. Но с каждым днем, на глазах офицерства, рушилась армия — их гордость, вне которой офицер не мог представить себе свою жизнь и свою деятельность. Русский офицер воспитывался на принципах любви и преданности России и армии; душой и телом он принадлежал той части, мундир которой имел честь носить. Официальные законы, которые определяли права и обязанности военнослужащих по отношению к их долгу службы, на практике значительно отставали от тех неписанных вековых традиций, существовавших в армии, на принципах которых воспитывалась русская армия из поколения в поколение. Эти вековые традиции складывались из лучших примеров жертвенной боевой службы многих прошлых поколений. Они и выковывали моральный облик солдат и офицеров старой русской армии, история которой изобилует блестящими победами на полях сражений и примерами гуманного отношения к слабым и побежденным.

Вот почему, когда под ударом революции официальные законы потеряли свою силу и когда влияние лиц ведущей части армии почти сошло на нет, офицерами все еще продолжала управлять сила старых понятий — считать себя ответственными и за судьбу родины и за судьбу армии. А между тем, по тогдашнему положению, офицерство в частях, потеряв значительное большинство своих прав и преимуществ, превратилось в обыкновенных военспецов, на которых новые власть имущие

смотрели, как на приверженцев старого режима и лишь по необходимости терпели их в частях. Правда, в то время в частях все-таки еще сохранялся относительный порядок, но во всем чувствовалось, что армия уже во власти какой-то внешней, ей чуждой и враждебной стихии. Представители новой власти в России приезжали на фронт и своим авторитетом старались как-то укрепить положение командиров в частях, но события уже шли мимо них, чему в немалой степени способствовала подпольная работа всевозможных темных элементов. Призывы представителей новой власти — повиноваться своим командирам и продолжать войну до победного конца, выслушивались солдатами неохотно и до сердец их не доходили.

Таковы были психологические причины, приведшие к тому, что наш корпус, до того не раз показывавший чудеса храбрости, превратился в живой труп. В то время положение еще спасали казаки, которых в корпусе было большинство и которые еще не так сильно разложились, в какой-то мере продолжая блюсти свои старые казачьи традиции.

Но в корпусе был один человек, авторитет которого как в офицерской, так и солдатской среде остался непоколеблен. Это был командир корпуса, генерал от кавалерии Н. Н. Баратов. Умный и образованный, генерал Баратов сумел снискать всеобщую любовь и уважение к себе. Его имя широко было известно не только в России, но и во всей Персии. Пожалуй, для командования отдельным корпусом и с такой сложной задачей, какую должен был выполнить корпус Баратова, более подходящего командира трудно было бы найти. В Баратове удачно сочеталось все необходимое для большого военачальника с характерными чертами тонкого и проницательного дипломата, и к тому же добродушного, веселого и отзывчивого человека. Ко всему этому генерал обладал и исключительным даром речи. Не будет преувеличением сказать, что в то время во всей Персии не было другого человека, авторитет которого как в войсках, так и среди персов, стоял бы выше авторитета генерала Баратова. Его имя было окружено славой легендарного героя; его любили и доверяли во всем. И этот заслуженный его авторитет не померк и после революции.

Революция нанесла корпусу Баратова, как и всей остальной армии, непоправимый удар, но дело командира корпуса было до последнего оставаться на своем посту и приложить все

силы к спасению своего детища. В этой борьбе генерал Баратов не щадил сил; он не знал покоя. Он метался по всему фронту, бывал везде, где стояли его части. Пользуясь своим красноречием и умелым подходом к людям, он часто выступал перед войсками с разъяснениями и наставлениями соблюдать и дальше воинскую дисциплину, пока не разрешится общая судьба русской армии. И Баратова везде встречали и принимали радостно, достойно его положения. Впоследствии корпус Баратова, если и покинул фронт, то в организованном порядке.

В частях все запасы постепенно иссякали. Обмундирование, продовольствие и снаряжение почти не пополнялись из-за дальности тыла и неудовлетворительного состояния транспорта. То же самое происходило и с пополнениями людским составом. Эшелоны, выходившие из России, коим предстояло пройти походным порядком, при температуре в 60 и больше градусов жары, от 800 до 900 км. расстояния, доходили до передовых частей в весьма ограниченном составе, ибо большинство людей (и больных и симулянтов) распылялись на бесконечных этапных пунктах и ни начальники эшелонов, ни местные комендатуры ничего поделать не могли.

Ко времени описываемых событий дисциплина в частях корпуса в какой-то мере еще соблюдалась, но в то же время в городах Керманшах и Хамадан по ночам стало опасно ходить. То здесь, то там, на окраинах городов имели место вооруженные нападения на отдельных людей и даже на караваны. А как-то раз, летом 17-го года, среди бела дня, был учинен погром персидских магазинов, но вызваны были на помощь комендатуре партизаны полковника А. Г. Шкуро (потом произведенного в генералы), которые быстро разогнали мародеров и восстановили порядок. Все это сильно беспокоило генерала Баратова и, как потом он говорил, нельзя было дожидаться дня, когда десятки тысяч вооруженных людей вынуждены будут своими силами добывать себе пропитание.

В то время Персия сама жила на грани голода и для довольствия корпуса нельзя было расчитывать на местные ресурсы. Улицы больших персидских городов были полны толпами нищих, просящих подаяние, а по ночам в Хамадане и Керманшахе полиция подбирала на улицах по 100-150 человек, умерших от голода. При таких условиях, единственным, что осталось генералу Баратову, это — пока не поздно, постарать-

ся установить непосредственную связь с английской месопотамской армией и попытаться перевести свой корпус на довольствие наших союзников-англичан. Эта попытка тогда казалась совершенно реальной, ибо на этом фронте наш корпус играл доминирующую роль. Своими успешными операциями он поставил турок в весьма тяжелое положение и оттянул на себя значительную часть турецких сил. И если бы нашему корпусу пришлось покинуть позиции, что потом и случилось, то англичанам одним против турок пришлось бы плохо. А между тем, германские офицеры, работавшие в турецких штабах, правильно оценив тяжелое положение корпуса генерала Баратова, снарядили персидскую жандармерию, которая в свое время стала на сторону турок и вместе с ними воевала против России, и решили вместе с нею проникнуть в Персию и поднять там восстание против русских.

Сведения о том, что турецкая кавалерия в составе около 3.000 сабель выступила в поход против нас, возбудили в генерале Баратове беспокойство. Каковы были задачи этой части, еще никто не знал. Да одна ли только эта часть наступает, или же за ней двигаются и главные силы турок? Но ясно было одно: надо принять срочные меры и отбить эту кавалерию, пока она передвигается еще за Диалой по пустынной и безводной местности. Эти две неотложные задачи побудили генерала Баратова выделить специальную часть с заданием: а) отбить наступающую турецкую кавалерийскую часть и в случае успеха, б) двинуться по направлению к Багдаду на соединение с английской армией. Эту ответственную задачу Баратов поручил помощнику командира Горско-Моздокского полка, полковнику Лазарю Феодоровичу Бичерахову, которого генерал высоко ценил, как боевого офицера и к тому же хорошо знавшего нравы и обычаи народов Востока.

В начале июня 17-го года, наша 12-ая сотня 1-го Пешего Пограничного полка находилась в сторожевом охранении у подступов к Керманшаху со стороны Керинда (юго-западное направление). Разместившись в одной из ложбин, недалеко от дороги, и, выставив необходимое число постов, она держала под наблюдением не только дорогу, но и ущелья между отрогами гор Сенне, которые веером спускались в наши сторону. Безотрадный ландшафт этой местности — многочисленные выжженные солнцем холмы, в отдалении примыкающие к

главному хребту Сенне. Все кругом серо и уныло. Единственной отрадой для нас и символом жизни в этой выжженной солнцем местности, была маленькая мутная речушка, протекавшая недалеко от нашей стоянки, вода которой служила нам и для пищи и для питья. Помимо того, в обеденные часы, когда солнце стояло в зените и палатки превращались в раскаленные печи, в которых сидеть было нельзя, мы часто прибегали к ней охладить свои головы, но это мало помогало, ибо вода в речке была совсем теплая. И тем не менее, она нас спасала.

Жизнь в сторожевом охранении протекала монотонно и скучно. Турки нас не беспокоили. Между нами и ними лежали большие трудно-проходимые пространства, которые к тому же находились под наблюдением наших конных разъездов. Мы должны были опасаться курдов. Эти места заселены курдами — отчаянными разбойниками и головорезами, неоднократные дерзкие нападения которых не только на одиноких солдат, но и на целые взводы и роты, стоили нам немало жертв. С курдами надо было держать ухо востро, ибо они не знают ни жалости, ни милосердия, а добыча винтовок и патронов была их постоянной заботой. И тем не менее человек ко всему привыкает, свыклись и мы с нашим соседством с курдами и на бивуаке наши солдаты часто развлекались так: бывало по дороге едет на своем осле перс, и под тяжестью его надкопытные суставы (бабки) на ногах животного выгибаются почти до земли, а рядом семенит женщина, с головы до ног укрытая черной чадрой. В таких случаях на дорогу выбегали два или три наших солдата, ссаживали перса с седла и сажали в него женщину, затем, пригрозив персу расправой, если он тронет женщину, отпускали их ехать дальше. Надо полагать, что женщина оставалась в седле, пока солдаты не скрывались за горизонтом, а там опять перс водружался на осла, а женщина шла рядом с ослом. Бывало ночную тишину прорежет звон колокольчиков проходящего каравана. Чем ближе подходил караван, тем звучнее раздавался звон, становились слышны человеческие голоса и фыркание животных, а затем все это постепенно затихало и где-то вдали уходило в ночную тишину. Эти моменты являлись единственным исключением в нашей монотонной и скучной жизни в сторожевом охранении. Так прошли две недели, положенный срок нашего пребывания в охранении; нас заменила очередная сотня нашего же полка и мы вернулись в Керманшах на стоянку.

После тяжелых условий жизни в сторожевом охранении, жизнь в Керманшахе показалась нам роскошью. Керманшах — большой торговый центр у западной границы Персии и здесь можно было достать все, чем славился Восток, а главное — здесь можно было укрыться от жгучих лучей немилосердного солнца и вдоволь напиться чистой холодной воды. К тому же здесь все было для нас ново, своеобразно, интересно. Жизнь здесь точно замерла в веках и сохранила образы людей и былых картин древнего Востока.

Керманшах и Хамадан в этом смысле были сугубо характерными, старинными персидскими городами. Широко раскинувшийся Керманшах с лабиринтом узких, немощенных улиц, окаймленных глинобитными зданиями в один или два этажа, с древнейших времен являлся крупным торговым центром и стратегическим пунктом на главном пути, соединявшем народы древнего мира, по которому совершались походы великих завоевателей того времени. Днем жизнь в нем кипела и в торговой его части издали слышен был гул человеческих голосов, а вечером, когда торговля кончалась, народ расходился по домам и ночь вступала в свои права, с разных концов города раздавалось пение одиноких стариков-мулл, днем и ночью сидевших на перекрестках больших улиц и читавших коран. Эти они, седые как лунь, в коричневых аба, в белых или зеленых тюрбанах, в больших очках в оловяной оправе, по ночам пели религиозные песнопения и своим разноголосым пением в ночной тишине дополняли картину древней экзотики. Не лишено было интереса и то, что по тогдашним временам персы все еще продолжали соблюдать свой древний религиозный обычай — по утрам встречать восход солнца, а по вечерам провожать его при закате. Для этого городской оркестр с допотопными инструментами на центральной площади подымался в раковину, возвышавшуюся над домами, и перед самым восходом солнца начинал играть, пока солнечный шар не всходил полностью. И вечером делалось то же самое, пока солнце не скрывалось. В начале европейцу такая музыка казалась сплошной какофонией, но потом, привыкнув, можно было уловить мелодию, напоминавшую нечто древнее, языческое.

Позволю себе сказать несколько слов и о городе Хамадан, который, как и Керманшах, является крупным торговым центром и характерным городом Персии. Старинный Хамадан, в прошлом Экбадан, был столицей царей древнего Ирана. В Ха-

мадане сохранилось много исторических памятников, например: в одной древней и маленькой синагоге хранятся саркофаги Эсфири и Мардохея; под Хамаданом есть высочайшая скала Биситун; у основания этой скалы находятся развалины висячих садов Семирамиды и барельеф Александра Македонского. На самой же скале, на высоте, примерно шестидесяти метров, сохранился барельеф Дария Гистаспа, с девятью разбитыми и плененными им царями. Вокруг барельефа клинописью изложено пояснение. А на окраине самого города, на холме, возвышающемся над дорогой, по которой Александр въехал в столицу Персии, и по сей день покоится каменный лев, высеченный тогда греками в знак победы, одержанной Александром над Дарием Кодоман. Все эти памятники, свои и чужие, находятся в прекрасном состоянии и вошли в историю Персии, а некоторые из них облечены мифическими сказаниями.

В Керманшахе, как и во всей Персии, жилые дома обращены к улице глухой стеной, а окнами и дверьми во двор или в сад. Здесь на улицах вы можете встретить только прохожих. Вся же жизнь жителей этих домов и, главным образом, женщин, закрыта от посторонних глаз. К моменту описываемых событий, в Персии еще царило многоженство и семейная жизнь перса протекала замкнуто, туда никто не имел ни права, ни возможности заглянуть. А женщина еще подростком должна была надеть чадру и носить ее до самой смерти, пряча свое лицо от посторонних глаз. Если на улицах попадались женщины с открытыми лицами, это были ассирийки, но они должны были иметь на лбу татуированный черный крест. Однако, в торговой части города магазины со стороны улицы были открыты и лишены четвертой стены. Только на ночь железные гофрированные листы, заменявшие четвертую стену, спускались и магазины запирались на замок.

В торговой части размещены были не только магазины, но и всевозможные мастерские, от чего человеческие голоса зачастую тонули в звоне металла из кузниц или из мастерских жестянников. В этой части города по закрытым сверху улицам с утра и до вечера сновали пестрые толпы народа в перемежку с ослами, мулами и верблюдами. Здесь совершались купля и продажа, здесь жизнь била ключом, но здесь же на каждом шагу попадались одинокие и целые группы слепых, калек и прокаженных нищих. Все эти многочисленные ни-

щие-скелеты с умоляющими взглядами и протянутыми руками, просили подаяние. И когда разжалобившийся прохожий давал кому-нибудь из них милостыню, то его мигом обступала толпа других нищих, которые просили, умоляли, целовали его руки и платье, чтобы он им тоже что-нибудь дал. Можно себе представить страх здорового человека, очутившегося в кругу прокаженных, слепых с провалившимися носами нищих, рисковавшего быть зараженным и в то же время бессильного выбраться из этой толпы. Местные жители с нищими обходились просто: или ничего не давали, или же отгоняли их ударами ноги.

А между тем, в городе магазины ломились от шелковых тканей, дорогих ковров, от тюков фисташек, миндаля, кишмиша, риса и прочих товаров. Короче говоря, — сундуки керманшахских купцов и менял были полны русским, английским, германским и турецким золотом, а беднота пухла и умирала с голоду. Никогда не забуду нищих женщин, сидевших на перекрестках с мертвыми голыми, воскового цвета, младенцами на руках, покрытыми толстым слоем пыли и роем мух и показывавших на рядом сидевшего полуживого ребенка. Они взывали к прохожим, прося милостыню. Однако, незаметно было, чтобы эти страшные картины привлекали внимание прохожих. Такие картины тогда наблюдались во многих городах южной Персии и Месопотамии и для местного населения были привычны.

В конце июля из штаба Пограничной дивизии в наш полк поступило требование выделить полусотню пограничников при двух офицерах и откомандировать ее в распоряжение начальника особого отряда, войскового старшины Л. Бичерахова. Командир полка приказал командиру нашей сотни выделить по добровольному желанию полусотню и двух офицеров в отряд особого назначения. Тогда еще никто не знал для чего этот отряд создается. Неофициальная версия гласила, что отряд пойдет на соединение с английской месопотамской армией, хотя версия эта по тем временам и казалась неправдоподобной, и тем не менее, отряд формировался и вместе с полусотней в распоряжение войскового старшины Л. Бичерахова попал и я. Этот отряд был назван Партизанским отрядом полковника Бичерахова (к тому времени Лазарь Феодорович Бичерахов был произведен в полковники). В состав отряда вошли две тысячи человек — кавалерии и пехоты. Надо полагать, что состав от-

ряда, как и его огневая мощность, были приноровлены к задаче, разрешение которой ему предстояло. А именно: а) отбить и вернуть обратно к туркам персидскую жандармерию в составе 2.500 всадников, под командой немецких офицеров, направлявшуюся в Курдистан, чтобы поднять восстание против русских, б) по выполнении первой задачи, взять курс на соединение с английской месопотамской армией. Следовательно, отряд должен был быть легкий и подвижный для похода, а огневая его мощность должна была позволить ему самостоятельно разрешить любую непредвиденную боевую задачу.

К моменту нашего прибытия на место формирования, строевые части почти все уже прибыли и вошли в состав отряда. Но работы предстояло еще много. Нужно было познакомиться с людским составом и установить в частях революционную, но в то же время твердую воинскую дисциплину, без которой немыслимо было выступать в поход. Для этого надо было удалить из частей вредных по тому времени солдат и подготовить части к походной и боевой службе. Помимо этого, как в штабе отряда, так и в частях, шла лихорадочная работа по укомплектованию отряда конским составом, вооружением, снаряжением, запасным обмундированием, продовольствием и фуражом. Достать все, что требовалось, было очень трудно, ибо в цейхгаузах запасов почти не было, а командиры частей не экипировали выделенные в отряд части, чтобы сохранить на черный день свои скудные запасы.

Отряду предстояло покинуть корпус на неопределенное время и оперировать в межфронтовой полосе, где население было настроено скорее протурецки, чем прорусски и, следовательно, нужно было запастись всем необходимым на месте. Весь июль прошел в лихорадочной работе, но отряд все еще не был готов к походу. А время не ждало; надо было во-время выйти навстречу турецко-персидскому отряду, да и изолировать свою часть от пропаганды темных элементов, которые днем и ночью шныряли по расположению гарнизона и призывали солдат покончить с войной и вернуться домой делить землю. Тогда было очень трудно бороться с этими подпольными разлагателями армии.

В начале августа в лагерь прибыл генерал Баратов, в сопровождении начальника Пограничной дивизии генерала Загю и командиров полков, пришедших проводить своих солдат и

офицеров. Начальник отряда, полковник Бичерахов, отрапортовал командиру корпуса о состоянии своего отряда и по окончании положенной в таких случаях церемонии, был отслужен молебен. После молебна Баратов обратился к партизанам с глубоко патриотической речью, призвав их служить родине в самое тяжелое для нее время. В заключение, генерал пожелал партизанам счастливого похода, успеха в боях и скорого возвращения в корпус.

Солнце уже склонялось к закату, когда партизаны Бичерахова двинулись в поход, оставив за собою Керманшах и его гарнизон, в котором революционные страсти продолжали кипеть. Никому из нас тогда не приходила в голову мысль, что в этот день мы навсегда ушли из нашей любимой нами армии. В эту ночь мы устроили привал на высотах, в десяти километрах от Керманшаха. На следующий день отряд дошел до Харунабада (Харунабад — разрушенный и покинутый населением поселок, на полпути между Керманшахом и Кериндом) и разбил лагерь на небольшой речке. Через две недели из Керманшаха прибыла и хозяйственная часть с большим вьючным транспортом мулов и лошадей. Транспорт сопровождался полусотней персов-черводаров, хозяев нанятых животных. Самым интересным лицом в транспорте оказался маленький, юркий и расторопный персидский еврей — Хабиб, поставщик животных для транспорта, а в пределах возможности и поставщик продуктов и фуража. Он владел фарсидским, турецким, русским, английским и французским языками. В этих пустынных и полупустынных местах, где потом нам пришлось оперировать, Хабиб чувствовал себя, как дома, что во многом облегчало наше положение. Черводары находились в его ведении, как поставщика транспорта: подчинялся же он начальнику хозяйственной части, а оба вместе начальнику штаба. В Харунабаде закончилось формирование отряда. Совсем неожиданно из штаба корпуса вдруг потребовали вернуть полусотню Грузинского полка обратно. Командир ее, корнет Амилахвари, был весьма этим опечален, но изменить приказ было нельзя и он увел свою полусотню в Керманшах. В Харунабаде к штабу отряда присоединился английский консул в Керманшахе, м-р Кеннен, он сопровождал отряд до самого Багдада и во многом помог нам.

В Харунабаде, на голом месте, под палящим солнцем, дни проходили скучно и однообразно. Мы все ждали начала похода,

но штаб отряда и никто не знал, почему мы так долго стоим в этом неприветливом месте. Наш неутомимый Хабиб каждый день разъезжал по окрестностям и привозил в отряд то фураж, то баранов, то фрукты. Те из наших товарищей, которые в свое время дошли до Ханикена при наступлении корпуса, с целью оттянуть на себя турецкие силы и дать возможность окруженным у Кут-Эл-Амара англичанам вырваться из окружения, рассказывали много интересного про предстоящий нам путь через Керинд, грозный Миантаг (Миантагское ущелье), Диалу и Ханикен. Все эти рассказы говорили о том, что впереди нас ждали встречи не только с турками, но и нападения со стороны воинственных курдских племен, свирепствовавших в районах Керинда и Миантага. Эти рассказы вызывали и беспокойство и любопытство. Вдруг, в один из последних дней августа, рано утром, начальник отряда собрал командиров частей и объявил, что через час отряд выступает в поход; одновременно был указан порядок следования частей, с назначением походного охранения. И каково же было наше общее изумление, когда через час колонна вытянулась не по главной грунтовой дороге на Керинд, а по бездорожью и перпендикулярно к дороге на юг, к отдаленному горному хребту.

Часа через два мы добрались до горного хребта и забрели на узкую тропу, протоптанную долгими годами людьми и животными. Подъем на гору оказался не из легких. Тропа пролегала по каменистому, скалистому склону, да еще покрытому мелким колючим кустарником. Кавалерия спешилась, верховые и вьючные лошади подымались на гору с трудом. В некоторых местах животных надо было развьючивать и подымать грузы на людях: горные орудия, полевую радиостанцию и походные кухни надо было разобрать и подымать на гору по частям. Подъем отнял у нас очень много времени и солнце уже клонилось к закату, когда последние части оказались на хребте. А к тому времени, головные части по весьма крутому спуску и извилистой тропе уже дошли до глубокой долины Гилян. (Не смешивать с Гиляном у Решта). Склон был настолько крутой и дорога настолько извилиста, что колесный транспорт надо было спустить на руках.

Стоило взглянуть вверх и вы увидели бы над собой двигавшихся коней и людей, из-под ног которых срывался щебень и падал на шедших внизу. Некоторые боязливые кони присе-

дали на задние ноги и упирались, боясь двинуться с места. И тем не менее, и подъем и спуск прошли благополучно. К вечеру мы расположились лагерем на речке у столицы владетельного хана долины Гилян.

Оказывается, полковник Бичерахов уже знал о готовившемся на нас нападении курдов и не желая рисковать и губить людей, обошел Керинд и Миантаг. Однако, и из Гиляна надо было двинуться параллельными путями к Диале, куда направился отряд персидской жандармерии, под командой немецких офицеров. Дело в том, что еще в мирное время персидская жандармерия обучалась шведскими инструкторами и была настроена далеко не в пользу России и Англии. Это обстоятельство тогда привело Россию к необходимости в противовес жандармам организовать в Тегеране Персидскую казачью дивизию. Когда же с началом войны германские и турецкие официальные лица в Тегеране усилили свою деятельность, жандармы стали на их сторону и послужили основным ядром формирований антирусско-английских вооруженных сил, которые создавались протурецки настроенными правительственными кругами Персии. Тогда под ударами казаков Баратова, жандармы вместе с турками отступили и в течение всей войны воевали против нас. Но настала революция, разложившая фронты русской армии, и жандармы, под водительством немецких офицеров, решили пробраться в Курдистан, поднять восстание и выгнать русских из Персии.

Нам нужно было ускоренным маршем добраться до Касри-Ширина. Надо было проделать трехдневный марш по полупустынной и безводной местности. Люди и животные изнемогали от жары и жажды, но в Касри-Ширин прибыли вовремя, в конце третьего дня. Город Касри-Ширин раскинулся на берегу широкой и глубокой Диалы. От нее веяло прохладой. Отряд расположился вне города, на левом берегу реки, а рано утром переправился на правый и расположился в финиковой роще. Город оказался пустым. Все население города проводило лето где-то в более прохладном месте, а за городом присматривали оставшиеся там человек 20 стариков.

Выяснив положение, полковник Бичерахов выделил разъезды охранять город (в город никому не разрешалось войти) и послал своего представителя к хану — главе города. Хан не замедлил приехать к Бичерахову в сопровождении двадцати

всадников и с пешкешем (подарком) ввиде живого барана. Бичерахов был большим знатоком нравов и обычаев народов Персии и Турции и свободно говорил по-турецки. Он достойно принял, обласкал и одарил хана, отчего тот пришел в восторг и уехал, предложив Бичерахову свою дружбу.

Став у Касри-Ширина, Бичерахов направил конные разъезды вправо и влево, вдоль по правому берегу Диалы, поджидая прихода персидской жандармерии, идущей с турецкой стороны. Появление противника обнаружено было дня через три, благо, по степным дорогам это движение легко было обнаружить по подымаемой пыли. Это помогло нам в течение нескольких дней отбить его от воды, что поставило жандармов в безвыходное положение и заставило их прислать к Бичерахову парламентера, чтобы выработать условия сдачи. Как оказалось потом, они были изнурены и не решились принять бой, а вернуться обратно по безводным местам не могли. Парламентера-подполковника сопровождал один всадник.

Приняв парламентера с соответствующим его положению достоинством, полковник Бичерахов выработал условия сдачи и, оставив у себя подполковника, с всадником послал условия капитуляции начальнику жандармов. А на место сдачи послал Горско-Моздокскую сотню, которая должна была принять оружие и доставить его в отряд при помощи сопровождавшего его вьючного транспорта. К великому удивлению командира сотни, на условленном месте противника не оказалось, а столбы пыли показывали, что колонна противника изменила направление и стремится к реке. Однако, на поле боя казаков трудно обмануть. Хитрость противника очень быстро была обнаружена и так же быстро наши сотни заставили его отступить, что принудило начальника жандармов выслать к Бичерахову второго парламентера. Второму парламентеру категорически было сказано, что, если отряд немедленно не сложит оружие, то Бичерахов прервет дальнейшие переговоры о сдаче и начнет боевые действия.

На этот раз отряд персидской жандармерии, за исключением уехавших в тыл немецких офицеров, сложил оружие в условленном месте. Безоружных жандармов пропустили в Касри-Ширин. И кони и люди припали к воде и долго от нее не могли оторваться. Оказалось, что жандармы и их кони изнемогали не только от жажды, но еще и от голода. Их было боль-

ше, чем нас и мы должны были поделиться с ними своими запасами, что потом поставило нас в тяжелое положение. Таким образом, 2.500 человек персидской жандармерии были последними пленными, взятыми русской армией во время Первой мировой войны.

Этой операцией Бичерахов разрешил первую из поставленных ему задач. На следующий день над нами появились два турецких аэроплана, сбросивших несколько маленьких бомб. Возникли опасения, что турки послали подмогу жандармам. А ввязаться в бой с турками не было смысла. Ввиду этого, Бичерахов, пропустив вперед пленных жандармов и покинув Касри-Ширин, направился в обратный путь. На третий день отряд остановился у подножия довольно высокого холма, на котором расставили полевую радиостанцию и связались со штабом корпуса в Шевирине.

Узнав о пленении отряда жандармов, генерал Баратов распорядился послать навстречу Бичерахову Запорожский полк, который должен был принять и доставить в Керманшах пленных жандармов. Освободившись от пленных, отряд Бичерахова повернул направо, взяв направление на Мендели, где должна была состояться встреча с частями английской месопотамской армии. К тому времени, отряд остался совсем без продуктов. Начались тяжелые дни. На привалах кухни не дымились, варить было нечего; не было и хлеба. А дорога пролегала по гористой местности, обитаемой кочевниками курдами, встречи с которыми были нежелательны. Особенно остро переживала отсутствие воды и хлеба пехота. В тяжелых условиях похода, люди как бы привяли, стали апатичны, многие заболели желтухой. Тяжело больных везли на конных носилках, а легко больных — на животных из транспорта. Было и несколько смертных случаев от желтухи. Отсталых было много; люди садились на землю и никакими силами их нельзя было поднять.

Нужно заметить, что путь к англичанам пролегал через ряд горных хребтов южной Персии, зачастую довольно крутых, где на подъемах и кручах больных нужно было привязывать к носилкам, а других поддерживать в седле, чтобы не вывалились в пропасть. В то же время, жара, усталость, голод и жажда одолевали людей и отнимали их последние силы. А горным хребтам не было конца и стоило преодолеть один, как перед глазами вырастал другой.

На четвертый день пути, дорога пошла по ущелью, по которому протекала сравнительно небольшая река, по названию Белая. Теперь воды было сколько угодно, но одолевал голод. В отряде запасы были съедены до последней крошки и уже два дня люди шли без всякого довольствия. Колонна растянулась в цепочку и никакими угрозами и уговорами нельзя было заставить людей подтянуться. Приходилось устраивать частые остановки и подбирать отстававших. Движение отряда значительно замедлилось.

В связи с этим и опасаясь нападения курдов на пехоту и транспорт, начальник отряда отвел конницу в арьергард, а в авангарде оставил только одну казачью сотню. Так шли мы три дня. Во второй половине четвертого дня кавалерия неожиданно обогнала пехоту и начальник отряда сообщил, что скоро конец походу. Ущелье стало шире и чувствовалось, что опасность миновала, что скоро выйдем в долину. Устроив привал, командир пограничной сотни, он же и начальник пехоты, под предлогом объяснения солдатам устройства ручной гранаты и приема ее метания (во избежание столкновения с кочевниками, без крайней необходимости было строго запрещено стрелять), бросил гранату в воду. Граната взорвалась и поверхность воды покрылась убитой и глушенной рыбой. В миг вся рыба была солдатами выловлена. Этот прием был повторен в трех-четырех местах и в результате вся пехота варила рыбу в котелках. (В этих местах реки изобилуют рыбой, ее там никто не ловит).

Подкрепившись рыбой и отдохнув, пехота двинулась вперед в значительно лучшем настроении. Прошло не больше часа времени, и ущелье расширилось настолько, что впереди показалась необъятная месопотамская равнина, на горизонте которой виднелось озеро с пальмами на берегу. Можете себе представить радость, охватившую нас! Даже сильно отставшие подтянулись, по рядам пошло оживление, лица у всех посветлели. Правда, через короткое время, к удивлению людей озеро и пальмы, как будто растворились в воздухе (это был мираж), но это еще больше подзадорило людей своей новизной.

У выхода из ущелья нас встретил Индусский кавалерийский полк. Оказалось, что английское командование, проследив, при помощи авиации, наше движение в горах, в этот день ждало нашего появления и выставило кавалерийский полк для

почетной встречи русского отряда. При нашем появлении оркестр заиграл марш, послышалась команда и полк замер в приеме отдания чести. В свою очередь, наша пехота подтянулась, выравнилась в рядах и по команде — смирно! равнение направо! прошла перед полком церемониальным маршем. А в трех километрах от этого места, недалеко от города Мендели, казачьи сотни уже расположились лагерем и ждали нас. У входа в лагерь пехоту встретил генерал английской армии, в сопровождении полковника Бичерахова. Генерал поздоровался с нами и поздравил нас с успешным окончанием тяжелого похода. Таким образом, полковник Бичерахов выполнил задание генерала Баратова, разрешив обе поставленные ему задачи: 1) ликвидировал отряд персидской жандармерии и 2) установил связь с английской месопотамской армией.

(Окончание следует)

К. Кромиади

ШОЛОХОВ И КПК

Идеологическая и политическая борьба между КПСС и КПК, разгоревшаяся с особой силой за последние три-четыре года, далеко не ограничивается только вопросами коммунистической идеологии, стратегии и тактики. Китайские коммунисты, — нападающая сторона в споре между Пекином и Москвой, — атакуют на многих фронтах. Не могло остаться вне поля их зрения и советское искусство, как важный инструмент утверждения большевицкой идеологии. До недавнего времени, однако, нападки Пекина на советские «ревизионистские» литературу и искусство носили спорадический характер. Чаще всего это были «кавалерийские наскоки» на отдельные литературные произведения, фильмы, музыку или на отдельных писателей, поэтов, киноартистов и т. д. На «зубок» пекинских газет и журналов неоднократно попадались М. Шолохов, И. Эренбург, К. Симонов, А. Твардовский, Е. Евтушенко, киноартист Чухрай, композитор Шостакович и многие другие видные представители литературы и искусства в Советском Союзе.

Картина резко изменилась в период празднования 50-летия Октября: в октябре и ноябре прошлого года нападки пекинской печати и радио на советскую литературу приняли характер хорошо организованной кампании. Редкий день в этот период на страницах центральной газеты «Жэньминь жибао» не появлялись материалы с резкими выпадами против советских «ревизионистов от литературы». Если все эти материалы собрать вместе, они составят не один объемистый том.

М. Шолохов — старый сталинец, идеолог «соцреализма», писатель пожелавший для Синявского и Даниэля расправы в стиле 20-х г.г. (т.-е. расстрела), нобелевский лауреат, чем опозорена свободная Шведская Академия, этот Шолохов оказался у КПК врагом № 1 в советской литературе. Мы печатаем интересную статью К. Павлова о китайских заушениях Шолохова, которые по своим методам чрезвычайно напоминают советские «проработки» неугодных писателей. Пожалуй, даже ученики превзошли учителей. РЕД.

Главная особенность кампании, развернутой Пекином в конце прошлого года против советской литературы и советских писателей — ее целеустремленность. Свои атаки против советского ревизионизма на литературном фронте пекинская печать сосредоточила на этот раз на одном объекте. Этим объектом генерального наступления китайских коммунистов на советскую литературу стал писатель Михаил Шолохов.

Выбор пал на него не случайно. В 1966 году состоялась конференция работников литературы и искусства вооруженных сил коммунистического Китая. По поручению министра обороны Линь Бяо конференцию проводила Цзян Цин, жена самого китайского «цезаря» — Мао-Цзэ-дуна. Протоколы конференции Пекин, очевидно — по тактическим соображениям — держал в секрете до мая 1967 года. Между тем, в этих протоколах есть такое постановление: «Борьба с иностранным ревизионизмом в области литературы и искусства не может ограничиваться только такой мелкотой, как Чухрай. Надо взяться за крупные фигуры, за Шолохова, надо смело схватиться с ним. Он — зачинатель ревизионистской литературы. Его «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Судьба человека» оказывают очень большое влияние на часть китайских писателей и читателей».[1] Следуя этому указанию, китайские коммунисты и избрали Шолохова главной мишенью своих атак в период ожесточенной кампании против советской «ревизионистской» литературы осенью прошлого года.

Надо сказать, что пекинских критиков М. Шолохова мало интересуют художественные достоинства или недостатки его произведений; безразличны им, по существу, и моральные качества писателя. К Шолохову и всему его творчеству китайские коммунисты подходят сегодня с одним определенным критерием: они рассматривают его в свете позиций, занятых этим советским писателем по отношению к политическим переменам, происшедшим в СССР после смерти Сталина. И единственная цель этой кампании: как можно безобразнее нарисовать политическое лицо писателя, который называет себя коммунистом, но который «предал Сталина и был прославлен ренегатом Хрущевым». С такой позиции пекинские критики и «ревизуют» всю прошлую деятельность Михаила Шолохова,

[1] Журнал «Хунци», № 9, 1967 г.

черня в ней все и подходя к оценке положения М. Шолохова в литературно-художественном мире Советского Союза наших дней. Суждения и оценки пекинских критиков М. Шолохова прямолинейны и порой довольно примитивны, но зато строго выдержаны в духе маоцзэдуновской установки о беспощадной борьбе с советским ревизионизмом во всех его проявлениях. Это, так сказать, речь прокурора, заранее решившего, что подсудимый заслуживает смерти.

Сигналом к антишолоховской кампании послужила статья в газете «Жэньминь жибао»: «Разоблачим контрреволюционное лицо Шолохова».[2] Автор статьи, некий Ши Хун-ю, начертал как бы своего рода диспозицию генеральной атаки на М. Шолохова. И все последующие многочисленные статьи в пекинской печати, направленные непосредственно против Шолохова, по сути дела лишь повторяли, разъясняли и дополняли тезисы Ши Хун-ю.

«Сорок лет буржуазия и ревизионисты Советского Союза и других стран превозносят Шолохова, как «великого писателя». Хрущев расхваливал его, как «яркий пример», утверждая, что Шолохов, якобы, активно участвовал в борьбе «на самом важном, решающем этапе истории советского общества» и описал эту борьбу в своих произведениях. «Китайский Хрущев» (председатель КНР Лю Шао-ци. **К. П.**) в свою очередь вознес этого «заморского писателя» на пьедестал — пишет «Жэньминь жибао». — Что же, в конце концов, представляет собой этот Шолохов? Достаточно перелистать его биографию, перетряхнуть его старые бумаги, да посмотреть, какую роль играл он на каждом ответственном историческом этапе классовой борьбы в Советском Союзе, чтобы сорвать с него тогу «пролетарского революционного писателя» и обнажить его контрреволюционную сущность».

Добросовестно занявшись этим «перелистыванием» и «перетряхиванием», пекинские сталинцы обнаруживают, что его «падение» началось много раньше смерти Сталина; предательскую, контрреволюционную работу М. Шолохов, по утверждению Пекина, начал чуть ли не с первых дней советской власти.

---

[2] «Жэньминь жибао», 22 октября 1967 года.

«Смертельный враг диктатуры пролетариата»

Истоки «ревизионизма» М. Шолохова пекинские критики обнаруживают еще в первые годы Октября, когда «пролезшие в партию агенты буржуазии типа Троцкого и Зиновьева» замышляли «свергнуть вновь родившуюся советскую власть и восстановить капитализм».

«После смерти Ленина партия большевиков во главе со Сталиным решительно отстояла путь октябрьской революции, вдребезги разбила бешеное наступление антипартийного блока, укрепила диктатуру пролетариата. В этот решающий момент Шолохов стал на сторону антипартийного блока, первым водрузил в литературе и искусстве черное знамя ревизионизма, предал путь октябрьской революции, нападал на насильственную пролетарскую революцию и на диктатуру пролетариата, проводил широкую подготовку общественного мнения к захвату партии и государства контрреволюционным ревизионистским блоком Троцкого-Зиновьева».

Этот приговор М. Шолохову, выдержанный в стиле обвинительных речей А. Я. Вышинского на процессах троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев в 1937-38 г.г., к которым только подбавлена доза маоцзэдуновской фразеологии, «Жэньминь жибао» подкрепляет и доказательствами.

В 1926 году М. Шолохов выпустил первый сборник рассказов: «Донские рассказы». «Жэньминь жибао» особо останавливается на повести «Путь-дороженька», вошедшей в этот сборник, и находит в ней доказательства «предательства Шолоховым советской власти». Если помнит читатель, в повести «Путь-дороженька» М. Шолохов рассказывает о судьбе секретаря ячейки РКСМ Петьки Кремнева, попавшего в плен к махновцам. «Жэньминь жибао» утверждает, что Кремнев был «молодым продработником» и что, попав в плен к махновцам, «он капитулировал перед врагом». Причем пекинская газета узнает в этой «физиономии предателя» черты самого Шолохова. «Этот Шолохов, бахвалившийся, что он «рожден революцией», что он «боролся за победу советов в годы гражданской войны», в 1921 году, когда он был продработником, действительно побывал в плену у банды Махно. Через сорок лет, вспоминая обстоятельства своего пленения, он, все еще с сердечным трепетом, говорил: «С кулаками я был слишком крут... А они потом отпустили меня... Вот это здорово!» «Вот законченный

образ бесстыжего ренегата! С этого времени Шолохов и вступил на путь предательства октябрьской революции».

Итак, пекинская критика устанавливает даже дату, с которой началась «предательская» деятельность М. Шолохова: это было в 1921 году! С тех пор «главарь советских писателей-ревизионистов», как утверждает пекинская печать, не прекращал своей работы против диктатуры пролетариата, ухитрившись при этом благополучно пережить всю эпоху Сталина и кровавые годы террора.

В 1940 году выходит в свет полный текст шолоховского романа «Тихий Дон», над которым автор работал 14 лет. Еще лет десять тому назад пекинские литераторы, говоря о влиянии на них советской литературы, считали первым долгом выразить свое восхищение этим произведением и преклонение перед его автором. Сегодня «Жэньминь жибао»[3] видит в «Тихом Доне» лишь «бесспорное доказательство нападок Шолохова на пролетарскую революцию».

«Почти 14 лет тщательно отделывал Шолохов свой ядовитый сорняк «Тихий Дон» — пишет «Жэньминь жибао». — В этом обширном романе, содержащем полтора миллиона слов, октябрьская революция, ставившая своей целью вооруженный захват власти, и революционная гражданская война — эта вооруженная защита власти пролетариата — ядовито описываются, как «великая трагедия», сломавшая «спокойную, зажиточную жизнь» донского казачества».

В личности Григория Мелехова, в явной симпатии к нему автора пекинские коммунисты находят лучшее доказательство ревизионистской природы самого Шолохова и его покровителей в послесталинскую эпоху. Анализу образа Григория в шолоховском изображении, его «социальной базы» и исторической судьбы пекинская пропаганда в дни празднования юбилея Октября посвятила несколько обширных статей. Вывод их, в общем, один: — «на всем протяжении романа «Тихий Дон» воспевается контрреволюционер Григорий и зажиточные слои казачества, представителем которых является Григорий, подвергается злостным нападкам, созданная Октябрем, советская власть, как «новый, но еще худший строй», слезливо проводится мысль, что «эта власть нам, казакам, принесла только

[3] «Жэньминь жибао», 29 октября 1967 года.

разруху». — Правда, та же «Жэньминь жибао» оговаривается, что «Хрущев и ревизионисты в советской литературе, стремясь прикрыть реакционную сущность Григория Мелехова, постоянно и усиленно подчеркивают насколько сложен его образ. Между тем, стоит только разобрать его с классовых позиций марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэ-дуна, чтобы с легкостью выявить в этом Григории не «образ труженика», как именуют его хрущевы, а самого настоящего, крупного ренегата, по горло запачканного кровью, матерого контрреволюционера, злостного, смертельного врага советской власти».

Чтобы показать китайскому читателю, что их выводы не голословны, пекинские газеты стараются подкрепить их и кое-какими доказательствами и ссылками. «В 1931 году, в письме к Горькому, Шолохов открыто утверждал, что причиной казачьего восстания в годы гражданской войны были «перегибы», допущенные большевицкой партией и советской властью — пишет «Жэньминь жибао». — При этом он злобно вопил: «Надо признать ошибкой политику ликвидации казачества и ущемления интересов казаков-середняков... Шолохов сам признал, что в романе он описал «борьбу белой армии с красной, а не борьбу красной армии с белой».

Обвиняя М. Шолохова в политическом ренегатстве и контрреволюционном мировоззрении, китайские коммунисты подчеркивают, что они, собственно говоря, отражают только взгляд на Шолохова «широких народных масс Советского Союза». Пекинская пропаганда убеждает китайских читателей, что «после выхода «Тихого Дона» широкие революционные массы СССР выступили с суровой критикой этого ядовитого сорняка. Они остро подметили, что роман «берет под защиту бунт казачьих белых банд», что это «произведение, проникнутое ненавистью к пролетариату, идущее вразрез интересам пролетариата, и что автор романа «вовсе не пролетарский писатель», а «представитель казаков-куркулей и зарубежной аристократии».[4]

Через 17 лет после выхода романа «Тихий Дон» вспыхивает венгерское восстание 1956 года. «Шолохов, исходя из своих реакционных позиций, не может удержаться, чтобы не выскочить вперед с одобрением и защитой нечисти из клуба

[4] «Жэньминь жибао», 22 октября 1967 года.

Петефи — пишет пекинская печать. — По его словам, члены этого клуба такие же «колеблющиеся люди», как и Григорий, «только случайно, бездумно примкнувшие к белогвардейскому движению». Основываясь на этом, «Жэньминь жибао» проводит знак полного равенства между Григорием Мелеховым 20-х годов и «венгерскими контрреволюционными бунтовщиками 50-х годов». По словам пекинской газеты, «Тихий Дон» — «реакционный роман, который приукрашивает и воспевает контрреволюционных бунтарей. А Шолохов — это зачинатель ревизионистского искусства, который, в условиях диктатуры пролетариата, использует искусство для контрреволюционной деятельности».

«Верный последователь Бухарина»

Шолохов отражается в пекинском зеркале в образе Януса, причем даже не двуликого, а многоликого. Если в начале 20-х годов пекинские критики находят юного М. Шолохова в стане «троцкистов и зиновьевцев», то в начале 30-х годов он выступает у них уже в качестве верного последователя и защитника Бухарина. Разоблачению «бухаринского нутра» многих героев, выведенных М. Шолоховым в романе «Поднятая целина» пекинские газеты отводят целые страницы. Так, центральная газета «Жэньминь жибао» только в ноябре посвятила анализу этого произведения М. Шолохова три огромных статьи (не считая нескольких заметок): «Шолохов — смертельный враг трудящихся всего мира» — 5 ноября; «Агент кулаков, адвокат Бухарина» — 11 ноября; «Любовь и ненависть Шолохова» — 22 ноября прошлого года. Каждая из этих трех статей по размеру займет не менее двух страниц «Правды».

Обвинение в причастности Шолохова к «бухаринщине» и в «симпатиях к кулачеству» пекинская печать строит по типично-коммунистической шаблонной схеме, по которой она установила и связь Шолохова с троцкистско-зиновьевским блоком.

«В конце 20-х, в начале 30-х годов Советский Союз вступил в период коллективизации сельского хозяйства... Правые оппортунисты, представителем которых выступал Бухарин, всеми силами противились коллективизации сельского хозяйства, выступали против ликвидации кулачества. ЦК ВКП(б) во главе со Сталиным вел непримиримую борьбу с этими представителями буржуазии в партии, защитил и отстоял ленинскую линию

на коллективизацию сельского хозяйства. В ходе этой острой классовой борьбы Шолохов выступил глашатаем идей бухаринского правооппортунистического блока на фронте литературы и искусства».[5]

Влияние взглядов Бухарина пекинские критики прослеживают и в шолоховском романе «Поднятая целина», который он начал писать в 1930 году. Этот роман китайские коммунисты клеймят как «типичное» порождение правооппортунистических идей. «В романе Шолохов, не щадя сил, преувеличивает так называемые «перегибы» во время коллективизации, выставляет «левацкие ошибки», как главную опасность, а бурное движение за коллективизацию рисует, как ошибочное, лишенное всякой массовой базы и целиком опирающееся на голое администрирование». Председателя колхоза Давыдова, который «на деле затирает бедняков, опирается на зажиточных середняков и покровительствует кулакам», Шолохов «открыто рисует как представителя 'правильной' линии». «Ловко маскируясь, Шолохов поет кое-где в романе льстивые дифирамбы Сталину — пишет «Жэньминь жибао». — На деле же он целиком остается на реакционной платформе правого оппортуниста, нападает на правильную линию сплошной коллективизации, расхваливает бухаринскую оппортунистическую линию, открывая тем самым путь реставрации капитализма».

И если по тому, как раскрыл Шолохов в «Тихом Доне» образ Григория Мелехова, китайские коммунисты сумели разгадать в нем «контрреволюционера и ревизиониста», то «Поднятая целина» дала им возможность разоблачить М. Шолохова, как правого оппортуниста. Действительно, почему Шолохов в своем романе «приукрашивает» кулака, выводит его умелым хозяином, трудолюбивым, смекалистым? А это потому, отвечают пекинские критики, что «Шолохов сам настоящий правый оппортунист».

«Еще в 1929 году, в начальный период широкого движения за коллективизацию, кое-кто разоблачал в газетах преступные действия Шолохова, который в районе Вёшенской покрывал кулаков. В 1933 году Шолохов, в письме к Сталину и к секретарю Вёшенского райкома партии, яростно нападал на коллективизацию, выступал ходатаем за репрессированных кулаков, настаивал на пересмотре дел правых оппортунистов,

---

[5] «Жэньминь жибао», 22 октября 1967 года.

утверждал, что «лучшие люди признаны врагами партии», что «вопрос исключительно серьезен». Сталин тогда сурово его критиковал».[6]

Но если М. Шолохов столь «ненавидел социалистическую коллективизацию», то «он с безграничным обожанием взирает на капиталистическое сельское хозяйство». В 1935 году, после поездки по Дании, Швеции, Англии и Франции, Шолохов «трубил о полезных и ценных достижениях передового капиталистического сельского хозяйства, бесстыдно призывал «учиться» у этих капиталистических стран. Все это в полной мере свидетельствует о том, что Шолохов — трубадур реставрации капитализма, верный ученик Бухарина».

«Предатель народной революционной войны»

Войне с Германией 1941-45 г.г. М. Шолохов, как известно, посвятил и публицистические и художественные произведения. К этим проблемам он возвращался и после войны. Написанный после войны рассказ «Судьба человека» относится к числу этих шолоховских работ. Но и этот рассказ жестоко критикуют китайские коммунисты.

«В сороковых годах советский народ, под водительством Сталина, вел великую борьбу с немецким фашизмом; эта борьба решала будущее социализма и судьбу человечества. В этом суровом испытании Шолохов полностью обнажил свою безобразную физиономию противника народной войны. В публицистических статьях и художественных произведениях, написанных им в годы войны, он не воспевает революционный героизм воинов и граждан Советского Союза, а всеми способами сеет пессимизм и безнадежность. Уже через два года после начала войны, в письме Шолохова к «американскому другу» слышатся «рыдания по поводу гибели страны». С отчаянием восклицает он: «Война жестоко изранила нашу страну, наш народ». Рабски, коленопреклоненно умоляет он Америку послать армию, все надежды возлагает на американский империализм».[7]

Выдвигая против Шолохова обвинения в «предательстве народной войны», пекинские коммунисты ищут доказательств опять-таки в художественных работах писателя. И здесь они прежде всего указывают на рассказ «Судьба человека». «В

---

[6] «Жэньминь жибао», 22 октября 1967 года.
[7] «Жэньминь жибао», 22 октября 1967 года.

этом рассказе Шолохов, расписывая так называемые «трагические переживания» предателя Соколова во время Отечественной войны и беззастенчиво приукрашивая «тяготы» и «ужасы» войны, поет хвалебные песни ренегату, ставшему на колени и капитулировавшим перед врагом, злобно поносит великую антифашистскую войну, якобы «похоронившую в советских людях последнюю радость и надежду».

«Жэньминь жибао» в одном из своих октябрьских номеров напечатала не лишенную таланта драматическую инсценировку экзамена в советском вузе по литературе.[8] Экзамен сдает китайский студент-аспирант, специализирующийся в этом вузе по советской литературе. Инсценировка называется: «Борьба с ревизионизмом на экзамене», в подзаголовке дано пояснение: «Наш студент-аспирант в пух и прах разбивает Шолохова». Передать, хотя бы даже кратко, содержание диалогов китайского студента с советскими профессорами, не представляется возможным: инсценировке «Жэньминь жибао» отвела целую страницу. В ней проводится все та же идея предательства Шолоховым-коммунистом дела коммунизма. «Автор изо всех сил старается показать, как ужасна была Отечественная война, но мы то знаем, что великая Отечественная война была войной справедливой. Марксизм-ленинизм учит нас, что такие справедливые войны народу нужны, а бороться надо против несправедливых — грабительских и захватнических войн. Выступая против таких войн, как Отечественная война, Шолохов выступает против всех вообще справедливых войн», — рассуждает китайский студент-аспирант. На замечание советского профессора: «Но разве советскому народу нужны были 8 миллионов жертв? Отечественная война — справедливая война. Однако, надо помнить, что советскому народу она ничего не принесла, кроме 8 миллионов человеческих жертв — почти каждая семья потеряла кого-нибудь из родных», у китайского студента есть свой ответ: «А вот все советские друзья, с которыми я сталкиваюсь, говорят совершенно другое, когда речь заходит об Отечественной войне, а не твердят лишь, как вы, о 8 миллионах погибших людей. Они с гордостью считают, что в великой Отечественной войне они отстояли независимость советской родины, защитили национальную честь, далеко вперед продвинули революционную борьбу народов мира, вписали

---

[8] «Жэньминь жибао», 23 октября 1967 года.

блестящую страницу в историю международного коммунистического движения». Вот в чем видит китайский коммунист-студент главные результаты войны 1941-45 г.г.

Соколов, о котором М. Шолохов отзывается, как о «народном образе», в глазах коммунистов никакой не герой, а по меньшей мере — «крайний индивидуалист». Другой недостаток шолоховского рассказа «Судьба человека» в глазах пекинских коммунистов — отсутствие в нем героев-коммунистов. «Автор в своем рассказе дал совершенно искаженный образ советского коммуниста — указывает китайский студент. — В единственном коммунисте, выведенном в рассказе, совершенно ничего нет от коммуниста, это — законченный трус». Наконец, китайские коммунисты считают, что Шолохов, рассказывая о мытарствах Соколова после войны, тем самым старается показать советским людям, как «бессердечна и безжалостна» советская власть. «Подумаем только над таким утверждением: «Он нигде не мог найти работы!» А почему нигде не мог найти? — спрашивает китайский студент в рассматриваемой нами инсценировке и сам отвечает: «Автор хочет сказать: местные власти неправильно относились к этому герою (т.-е. к Соколову. **К. П.**). Давая такое описание, не хочет ли автор сказать своим читателям, что советская власть на протяжении более чем тридцатилетнего руководства Сталина не была гуманной?»

Можно было бы бесконечно продлить перечень «преступлений» М. Шолохова в глазах пекинских коммунистов. Но эти «преступления» больше касаются уже его политической деятельности последних 15 лет, нежели его творческой работы, как писателя. Тем не менее, мне все же хочется познакомить читателя с тем будущим, которое сулит М. Шолохову «Жэньминь жибао» в концовке одной из статей об этом советском писателе:

«Наступит день, когда советский народ, озаренный традициями Октября, поднимется против советской ревизионистской руководящей клики. Сегодня мы показываем Шолохова в свете идей Мао Цзэ-дуна, а завтра ему не избежать сурового приговора советского революционного народа! Советский народ похоронит его вместе с брежневыми и косыгиными».

К. Павлов

КАК ВОЗНИКАЮТ ВОЙНЫ?

Войны — одно из величайших бедствий человечества (в наш атомный век война особенно страшна). И все-таки войны возникают и губят миллионы человеческих жизней, поглощают огромные материальные средства, которые могли бы способствовать дальнейшему улучшению жизни недостаточных слоев населения. Все это всем ясно. Но почему же все-таки войны происходят?

Еще не так давно историки и политические мыслители объясняли возникновение войн решениями глав государств, их ближайших советников и даже всего населения. Но при нынешнем состоянии науки об обществе (социологии) такие объяснения считаются наивными и в действительности они таковыми и являются.

На смену устаревшим объяснениям пришло много других теорий, из которых, впрочем, некоторые столь же наивны, как и те, на смену которым они пришли. Таковы, прежде всего, теории об укоренившейся традиции войн; все люди-де привыкли к тому, что войны ведутся, и это-то и является причиной возникновения войн. Но такое объяснение неприемлемо потому, что традиция налицо всегда, она является одним из факторов возникновения той или иной войны, но не его причиной. Это все равно, что объяснять заболевание тем, что такие заболевания «бывают».

Есть и другие теории о возникновении войн. Сто лет тому назад, в романе «Война и мир», Л. Толстой предложил следующее объяснение Отечественной войны 1812 г. и ее продолжения: народы Запада **должны были** двинуться на Восток, а затем **должно было** произойти обратное движение. Но это сводит объяснение причин войны к фатальности и является философским или даже теологическим.

Сам я сделал попытку построить теорию научного типа, т.-е. теорию: «если есть А, то будет и Б». Конечно, такая постановка вопроса не устраняет роли людей в решении судьбы народов.

Чтобы построить научную теорию, нужно прежде всего иметь научное определение предмета изыскания. Что такое

война? На этот вопрос один из крупнейших социологов нашего времени, П. А. Сорокин, отвечает так: война — в сущности то же самое, что драка между несколькими людьми. Мне представляется, что это не так. И я и П. А. Сорокин — ученики Л. Петражицкого, утверждавшего, что прежде всего нужно построить «адэкватное», т.-е. годное для научных теорий определение. То же самое утверждал и один из крупных представителей социологии в начале 20 века, Макс Вебер, который настаивал на необходимости создания «идеальных типов» явлений.

Я изучал процесс возникновения войн по историческим источникам о важнейших войнах последних столетий. К этому я присоединил сведения о русско-японской и первой мировой войнах, полученные мною от моего отца, бывшего в свое время министром торговли и промышленности.

На основании всех собранных мной данных я и построил следующую теорию возникновения войн, которую положил в основу своей книги «Война и Революция», вышедшей в 1965 г. по-английски. Война возникает при сочетании во времени трех факторов: 1) наличность конфликта между государствами, признаваемого серьезным правительствами заинтересованных государств; серьезность конфликта определяется современными воззрениями государственных людей; 2) неудача попыток разрешения конфликта мирным путем; 3) вера каждой из сторон в то, что победа в войне останется за ней. Все эти три условия отчасти субъективны, но в значительной мере и объективны. Попробуем приложить эти взгляды к нескольким примерам.

Русско-японская война возникла на почве серьезного конфликта между империалистической политикой обеих сторон. Россия старалась завладеть всей Маньчжурией и ввести Корею в сферу своего влияния. Япония претендовала на всю Корею и южную часть Маньчжурии. Все попытки разрешить конфликт в порядке мирных переговоров не привели ни к чему. Этому сильно способствовало весьма неудачное построение русской дипломатии, которая по вопросу о Дальнем Востоке была отдана в руки адм. Алексеева, наместника императора на Дальнем Востоке. Третье условие возникновения войны — уверенность обеих стран в победе — было налицо. С русской стороны огромное большинство людей, от которых зависело решение вопроса — война или мир — просто утверждали, что огромная Россия легко справится с маленькой Японией. Японские авто-

ритеты правильно утверждали, что их силы победят те силы, которые Россия сможет выставить против них, и что вообще за несколько тысяч километров от основной базы главные силы государства могут быть использованы лишь в малой доле. Это предположение незадолго перед тем было подтверждено ходом англо-бурской войны. Правда, вся громада русского войска могла победить японские силы, если бы русское командование оценило положение правильно. Но этого не случилось, и Япония победила Россию.

Первая мировая война началась с столкновения России с двумя центральными европейскими державами — Австрией и Германией. Конфликт был очевиден: Австрия предъявила ультиматум Сербии по поводу убийства сербским гражданином австрийского престолонаследника, на австрийской территории. Ультиматум требовал допущения Сербией австрийских агентов и предоставления им возможности расследовать подготовку убийства и наказания виновных. Но принятие такого ультиматума было равносильно низведению Сербии до положения австрийского вассала. Этого Россия не могла допустить, т. к. в течение многих лет она вела себя, как покровительница Сербии. На заседании Совета Министров под председательством имп. Николая II, министр иностранных дел заявил, что Россия и Франция точно выполнят требования франко-русского союза, что вскоре к ним присоединится и Англия, а Италия (которая по условиям тройственного союза должна была присоединиться к германо-австрийской коалиции) своих обещаний не выполнит. На этот раз русские дипломаты оказались на высоте: все произошло именно так. Германские же дипломаты на этом экзамене провалились, т. к. утверждали, что Англия останется нейтральной, а Италия выполнит свое договорное обещание. Надо сказать, что в те времена германо-русская война многими считалась неизбежной. Германии приписывалась тенденция выполнить план «Берлин-Багдад», что лишило бы Россию ее роли на Ближнем Востоке. К тому же в Германии с опаской следили за ростом русской мощи, за реорганизацией армии, за быстрым ростом промышленности и за ослаблением аграрных трудностей при проведении в жизнь планов Столыпина и Кривошеина. Исходя из этого, мин. иностр. дел Сазонов и заявил в Совете Министров, что лучше воевать теперь, при особенно благоприятной конъюнктуре, чем позже, когда конъюнктура может измениться.

Переговоры велись весьма сумбурно — и в Петербурге, и в Берлине, и в Вене, и в Париже, и в Лондоне и в Риме. Мирное разрешение конфликта оказалось невозможным. При этом было известно, что германские военные круги не сомневаются в полной и довольно скорой победе, полагаясь на превосходство германского командования и на быстроту германской мобилизации.

Итак, все три условия возникновения войны были налицо. И война разразилась, приведя к разгрому всех четырех европейских империй (России, Германии, Австрии и Турции).

Вторая мировая война возникла на почве все возраставшего мирового конфликта, вызванного явным намерением Германии (под властью Гитлера) поделить весь мир между собой и Японией (может быть, и Италией и СССР). За первые годы своего владычества, Гитлер присоединил к Германии Австрию с Чехословакией. В начале 1939 г. Гитлер заявил, что больше не потерпит разрыва германской территории т. наз. польским коридором к морю (на основании Версальского договора) и притеснений немецких меньшинств в западных провинциях Польши. Великобритания, оскорбленная гитлеровским обманом, т.-е. нарушением данного в Мюнхене в 1938 г. обещания — больше ничего не присоединять — вмешалась в германо-польский конфликт. Но и в Англии, и во Франции, и в С. Штатах стали с тревогой следить за планами Гитлера. В частности, в С. Штатах стали понимать, что Гитлер не остановится на отнятии у Польши некоторых ее провинций, а постарается подчинить себе и бóльшую часть западной Европы, а оттуда захватить северо-западную Африку, откуда недалеко и до северо-восточного угла Южной Америки. Англия дала Польше гарантию неприкосновенности ее территории, за исключением небольших уступок, на которые Польша пошла бы «добровольно». К Англии, хотя и неохотно, присоединилась Франция, в которой часто раздавались крики «мы не хотим умирать за Данциг». Гитлер не дремал и в начале сентября начал войну с Польшей. Англия и Франция присоединились к Польше. Соед. Штаты решили ждать, но обещали Англии существенную помощь, однако, без употребления вооруженных сил. СССР, с которым обе стороны вели переговоры о помощи, уклонялся, желая использовать положение для т. н. «добровольной» аннексии балтийских республик и занятия восточной половины

Польши, тогда как западная половина была быстро занята германскими войсками.

Все эти факты подтверждают наличие серьезного конфликта. Мирные переговоры оборвались очень быстро, т. к. обе стороны не пошли на уступки. Обе стороны были уверены, что они выиграют войну. В Германии повторились, даже в усиленной форме, те же самые рассуждения, которые предшествовали первой мировой войне. Англия и Франция полагали, что их морские силы смогут блокировать Германию, а германское производство хлеба было недостаточно для пропитания страны. Но расчеты на доведение Германии до голода не оправдались. Немцы быстро захватили соседние земли и обрекли на голод их население, использовав их урожай для удовлетворения потребностей Германии.

Итак, все три условия возникновения войны были налицо. Война разразилась и закончилась... захватом средней Европы Советами.

Углубимся несколько в историю и рассмотрим вкратце возникновение нескольких войн во второй половине 19 века. За этот период Россия дважды воевала с Турцией. В 1853-5 г.г. имела место т. наз. крымская кампания, в которой союзниками Турции оказались Англия, Франция и королевство Пьемонт-Сардиния. В 1877 г. Турция воевала одна, но с неофициальной поддержкой Англии и Австрии, которые сумели совершенно исказить условия мира для России, хотя эта последняя и добилась небывалого, со времени похода Олега на Византию, успеха.

Обе войны возникли на почве давнего конфликта между русским намерением «воздвигнуть крест на храме св. Софии в Константинополе», и турецким пониманием своего суверенитета, включавшим и право «геноцида» своих «гяуров». Западные же державы не хотели допустить русского владычества в Проливах, через которые Черноморский флот мог бы прервать сообщения между западными державами и их колониальными владениями.

Переговоры длились долго, но ни к чему не привели. Обе стороны верили в свою победу. Между прочим, и в России, и в Англии, и во Франции генералитет стоял на самом низком уровне, если не считать, что в России появился гений военно-инженерного дела, Тотлебен. Итак, все три условия возникно-

вения войны, выдвинутые в моей теории, были налицо. Война разразилась.

Русско-турецкая война 1877-8 г.г. началась, как ответ России на «болгарскую резню». Но плоды войны, не столько для России, сколько для болгарского народа, были сужены донельзя на Берлинском конгрессе 1878 г.

Обратимся теперь к франко-прусской войне 1870-1 г.г. Конфликт между Францией и Пруссией возник в результате быстрого выигрыша Пруссией войны против Австрии, в результате чего гегемония в германском союзе перешла от Австрии к Пруссии без всякой компенсации для Франции. Германия (под руководством Бисмарка) ставила своей следующей целью присоединение двух французских провинций, Эльзаса и Лотарингии, население которых было по большей части немецким. Между прочим, население этих провинций отнюдь не стремилось к переходу под власть Германии. Как я установил за свое пребывание в Страсбурге, где я слушал лекции в университете, оно предпочитало образование нейтрального государства, подобного Швейцарии или Бельгии. Окончательно сложился конфликт, когда на вакантный испанский трон был приглашен принц из Гогенцоллернского дома, глава которого был прусским королем.

Франция взглянула на положение, как на повторение того тяжелого для нее времени, когда Габсбурги, правившие и в Австрии, и в Испании, и в Нидерландах охватывали ее железным обручем. Франция потребовала, чтобы прусский король запретил члену своего дома принять испанский престол, что и было сделано. Но Франция этим не удовлетворилась и потребовала, чтобы Пруссия и впредь запретила членам своего королевского дома вступать на испанский трон. Пруссия отказалась сделать это, и при том в очень резкой форме: ее подлинный правитель, Бисмарк, очень хотел войны. На этом и кончились переговоры.

Обе стороны были уверены в победе. Во Франции были еще живы настроения времен Наполеона I, а Пруссия была полна гордости, которую вселила в нее легкая и быстрая победа над Австрией (1866 г.). Война разразилась и кончилась полным разгромом Франции.

Я проверил свою гипотезу на ряде и более ранних войн, и всюду приходил к выводу, что эта гипотеза правильна.

Гипотезы обыкновенно повышаются до ранга теорий, если

оправдывают предсказания, сделанные на их основе. Это испытание мне довелось сделать неоднократно. В 1939 г. моя семья еще жила во Франции, хотя я с 1936 г. проводил бóльшую часть года в С. Штатах, приезжая каждое лето к семье. На 1939 г. было положено, что я приеду во Францию в начале июня, а в сентябре увезу семью в С. Штаты на постоянное жительство. Но после заявления Гитлера относительно Польши и гарантии Англией и Францией неприкосновенности польской территории, я пришел к убеждению, что война неизбежна, и ускорил выезд моей семьи из Франции. Друзья писали мне, что я напрасно тревожусь, т. к. заявление Гитлера это просто блеф. Но я, к счастью, настоял на своем и дал семье возможность приехать в С. Штаты.

По окончании второй мировой войны, в русской эмиграции в Америке господствовала уверенность, что война между США и СССР неизбежна и близка. На ряде собраний я защищал точку зрения, что этого не будет и оказался пока прав: прошло больше 20 мирных лет.

Наконец, в самом начале корейской войны в редакции одного американского журнала лежала моя статья, в которой я, опираясь на свою теорию, утверждал, что эта местная корейская война не перейдет в совето-американскую. Редактор журнала встревожился и хотел снять мою статью. Но мне удалось убедить его в правильности моего взгляда. Редактор поверил, и потом был доволен тем, что сделал.

Я пробовал подойти к этому вопросу и с другой стороны. Если моя теория правильна, то война не должна возникнуть при отпадении любого из трех условий. Не буду здесь доказывать, что это так и есть. Большая часть войн кончается, когда отпадает третье условие; иными словами, когда одна из сторон убеждается в том, что противник сильнее ее. И так и случается: явно побеждаемая страна естественно просит мира. Сомнение возникает, однако, относительно конца второй мировой войны. Гитлер довел Германию почти до самоубийства. Конфликт закончился на крайне суровых для Германии условиях. Ее «пример другим наука». Но случай, когда государства попадают под диктатуру маниака, каким несомненно был Гитлер, не частый. И в наш атомный век ошибка, подобная гитлеровской, весьма невероятна.

Н. С. Тимашев

СОВЕТСКИЕ ВУЗЫ И СТУДЕНЧЕСТВО (1918–1942)

1

Современный советский вуз представляет собой тип школы, совершенно отличный от прежних русских университетов и высших технических школ, а также от соответствующих учебных заведений на Западе. По обычному здравому смыслу высшая школа, наводненная сотнями тысяч людей от станка и от сохи, лишенных умственных навыков и часто элементарных знаний, уже не является **высшей** школой, а чем-то другим и, если она продолжает существовать, в основном сохраняя свои первичные пороки, то это значит, что она удовлетворяет какому-то иному назначению, а не распространению высшего образования.

Прежняя русская высшая школа имела свою традицию; нам нет надобности входить в ее рассмотрение. Достаточно сказать, что в 1913 году в России было 97 высших школ. Этой цифры русские высшие школы достигли в течение 158 лет, начиная с 1755 г., когда был основан первый русский университет — Московский.

Советские вузы тоже имеют свою традицию и, чтобы понять это явление, надо знать его историю.

Менее, чем через год после октябрьской революции, 2

Автор этой статьи — историк Дмитрий Петрович Кончаловский. До войны 1914 г. Д. П. преподавал, как приват-доцент, римскую историю на Высших Женских Курсах в Москве. Во время войны (1914-1917) был на фронте. С 1918 по 1921 г. вел занятия по римской истории в Московском университете. В 1921 г., не будучи марксистом, был вынужден прекратить занятия в у-те. С тех пор, до 1941 г., Д. П. занимался преподаванием немецкого языка и латыни, а также много переводил с разных иностранных языков. Скончался Д. П. в 1952 году в Париже. РЕД.

августа 1918 года, постановление Совнаркома отменило образовательный ценз: при поступлении в вузы, от поступающих требовалось только удостоверение личности и возраста. Согласно декрету от 1 октября того же года, ученые степени и даже образовательный стаж при соискании профессорской должности были отменены. Профессором мог сделаться каждый по выбору совета профессоров вуза. 7 октября последовал декрет об открытии новых вузов. Результат не замедлил сказаться: в 1920-21 учебном году вузов стало 248, т.-е. в 2½ раза больше, чем в 1913 году. Откуда было взять преподавателей для такого числа вузов? Их доставил вышеупомянутый декрет от 1 октября, предоставивший подбор преподавателей усмотрению профессорской коллегии. «Профессорами» в массовом порядке делались учителя гимназий, так называемые «оставленные при университете», лица, опубликовавшие однудве брошюры или популярных статьи, сплошь да рядом лица, не имеющие даже высшего образования.

В 1920 г. правительством было принято постановление о революционнизации и пролетаризации высшей школы. Средством к этому должны были служить рабочие факультеты (рабфаки), заполненные рабочей молодежью обоего пола, которая в течение четырех лет должна была в стенах университета проходить курс средней школы, чтобы затем уже в качестве настоящих студентов начать учение в высшей школе. На рабфаки принимались лица с 18-летнего возраста и выше, было немало 30-летних. Декрет Совнаркома о рабфаках был издан 17 октября 1920 года, но уже в 1919 г. организовался рабфак при МГУ. Вот некоторые данные роста рабфаков: в 1921 г. — 87 рабфаков с 27.341 учащихся; в 1928/29 — 176 с 56.663 учащихся; в 1932/33 — ? с 339.500 учащихся. О классовом составе рабфаковцев можно судить по данным 1922 года. Тогда было: — рабочих — 63%; крестьян — 27%; не занимающихся физическим трудом — 9,3%.

Итак, более 90% рабфаковцев были рабочие и крестьяне. И вот эти-то уже великовозрастные молодые люди, иногда в возрасте около 30 лет, часто едва грамотные, должны были овладеть общим средним образованием в срок вдвое меньший, нежели прежде овладевали дети, в большинстве из интеллигентных семей, от 10 до 18-летнего возраста. Следует к тому же иметь ввиду, что часть рабфаковцев училась «без отрыва

от производства», другими словами, эти молодые люди усваивали науку ежедневно по вечерам в течение шести часов, после того, как утренние шесть часов они провели за работой на фабриках или в мастерских.

В порядке продолжения революционнизации и пролетаризации высшей школы в 1922/23 г. был введен принцип классового комплектования вузов. В результате такого комплектования в 1922/23 акад. году 34.265 человек, принятых в вузы по классовому признаку, разделялись на: рабочих — 16,1%; крестьян — 26,8%; остальных — 57,1%. Причем из этих последних 20% составляли интеллигенцию, а 17,1% остались невыясненными. В 1923/24 акад. году была предпринята чистка вузов от классово-враждебных элементов. Рабочая «прослойка» в МГУ в 1932 г. составила уже 59,3%.

Такова история трансформации социального состава советского студенчества. Что касается внутренней конституции высшей школы, то ее автономия, в очень широкой форме введенная Временным правительством 1917 г., просуществовала только до 2 сентября 1921 года, когда новое «Положение о высших учебных заведениях» целиком подчинило эти последние правительственной власти.

Приведенные выше факты говорят сами за себя и не требуют комментариев. С точки зрения не «революционного» мышления, а обычного здравого смысла, эти факты означают разрушение высшей школы. Упомянутая только что отмена университетской автономии была как раз и вызвана тем, что профессура, хотя и обновленная новыми назначениями, хотя и подчинявшаяся всем распоряжениям власти, все же внутренне им не сочувствовала и воспринимала их именно, как разгром высшей школы. Тем не менее, революционная власть действовала решительно и смело, ничуть не смущаясь вопиющими и совершенно очевидными результатами проводимых мероприятий. Эти последние каждым здравомыслящим человеком воспринимались, как чистейшая демагогия. В провозглашении немедленной общедоступности высшего образования была, конечно, немалая доля демагогии, однако, основным двигателем являлась здесь вера в чудесную силу революции, в силу провозглашенных принципов социализма и особую одаренность представителей крестьянских и особенно пролетарских масс, «людей из народа», призванных сменить гнилую выродившую-

ся буржуазию, дворянство и интеллигенцию. Только этой верой и можно объяснить абсурды, которые с точки зрения здравого смысла должны были быть очевидны и Луначарскому и Ленину, как и любому «консервативному» профессору. Эта же вера двигала также массой рабочей и крестьянской молодежи, широкой волной вливавшейся в вузы. Эта вера и до сих пор является одной из основных черт психического типа советского студента, который я бы назвал волевым в противоположность интеллектуальному типу дореволюционного студента.

В самом деле, постановка высшей школы и подготовка к ней, как она явствует уже из первых мероприятий большевиков, с необходимостью несла для новых студентов и рабфаковцев материальные и духовные последствия тяжелого свойства, вынести которые можно было только при необычайном волевом напряжении, каковое в свою очередь основывалось на глубокой убежденности в правильности избранного пути. В подтверждение сказанного приведу несколько фактов из личного опыта. В 1930/31 г. в качестве преподавателя немецкого языка в Московском Геодезическом (бывшем Межевом) институте мне пришлось иметь дело с целым рядом групп студентов различных курсов. Студенты из интеллигенции были редким исключением, общая масса представляла собой серую, некультурную и плохо воспитанную публику. Для подавляющего большинства этой молодежи была характерна умственная неподатливость, плохая восприимчивость в постижении и усвоении учебного материала не только в области языка, но, по отзывам других профессоров, также и в других предметах. Тем не менее, мне постоянно случалось наблюдать, что эта столь невысокая в умственном отношении молодежь была преисполнена глубокой и наивной веры, что она-то и является настоящим студенчеством, неизмеримо превосходящим студенчество прежнего времени. Эта вера ничуть не нарушалась и даже не смущалась пред лицом явного отставания и положительной неспособности к учению значительной части этого студенчества. Последний факт, с точки зрения чисто рациональной являющийся основным и решающим, в их глазах оказывался ничего не значущим и легко устранимым. На самом же деле для его устранения была придумана мера, чрезвычайно тяжелая для лучшей части студенчества, а именно занятия так называемыми «бригадами», в которых успевающие должны были помогать отстающим. Таким образом, на

первых налагалась общественная повинность, для них чрезвычайно тяжелая, тормозившая их собственную работу и в сущности бесполезная, как это и обнаружилось в конечном счете на опыте. Тем не менее эта нелепость выполнялась безропотно, ибо интеллект молчал, а действовала бессознательная вера в общую нормальность положения.

Другой пример: годом раньше я преподавал немецкий язык на рабфаке при механическом институте им. Ломоносова в Москве (бывшее среднее Комиссаровское техническое училище). Если в Геодезическом институте передо мной были «студенты», уже прошедшие многолетнюю «учебу», то здесь я имел дело с людьми большею частью от 25 до 30-летнего возраста, в огромном большинстве обладавшими только элементарной и не всегда безупречной грамотностью. «Учебе» эта молодежь посвящала пять или шесть вечерних часов после шестичасовой дневной работы у станка. Таким образом, на этих уроках надо было не только выслушивать объяснения преподавателей, но и усваивать объясненное, ибо другого времени для приготовления заданий не было. Можно себе представить, какого психического и физического напряжения требовала такая «учеба». В особенности на последних уроках около 9-11 часов вечера, когда слушателей должны были одолевать усталость и сон. И мне приходилось видеть, что у некоторых глаза действительно слипались, но в то же время воля преодолевала дремоту, и студент старался припоминать и давать ответы на вопросы преподавателя. Само собой разумеется, что практический результат такой «учебы» был ничтожен, что, однако, не доходило до сознания самих заинтересованных или, если и доходило, то парализовалось инстинктивной верой в основную правильность избранного ими пути. Нет сомнения, что подсознательно в них говорил также личный интерес, который, однако, невольно отождествлялся с общим принципом: собственная выгода совпадала с общим благом страны, с строительством новой жизни. И все же выдержать всю эту муку, от которой некоторые кончали неврастенией и даже психическим расстройством, можно было только на основе убежденности в правильности выполняемого дела.

Из описанного только что положения вытекала одна весьма характерная особенность в постановке преподавания, а именно своеобразный способ оценок знаний студентов: поскольку

подавляющему большинству учащихся была поставлена непосильная задача и ввиду того, что для ее разрешения и для преодоления связанных с нею трудностей студенчеством прилагались все усилия и, кроме того, существовало убеждение в правильности всего процесса, для преподавателя вытекала необходимость так или иначе дать удовлетворительную оценку достигнутому результату. Иначе все воздвигнутое с трудом здание, с которым были связаны интересы, вера и надежда стольких лиц, разрушалось до основания. И потому, раз уж преподаватель, независимо от собственных точек зрения и убеждений, взялся за дело в советском вузе, он логически, психологически и морально должен был действовать определенным порядком, независимо от своего здравого смысла. Равным образом, вся вышеописанная система делает понятным, почему студенты внутренне могли считать себя вправе требовать удовлетворительных оценок не только в сознании добросовестно затраченного ими труда, но и в силу двигавшей ими веры в их призвание быть студентами и в их способность удовлетворять этому призванию.

В течение всей истории советских вузов, все время шла борьба с присущими им недостатками, вытекающими из самой сущности их организации. С течением времени надобность в рабфаках миновала, и они были упразднены, было покончено также с общедоступностью вузов, поскольку для приема в них стали требовать предварительное прохождение полной средней школы; мало того, поскольку было замечено, что эта последняя подготавливает плохо, ввели при поступлении в вузы экзамены для всех бывших школьников, за исключением лишь «отличников». В самих вузах борьба с хронической неуспеваемостью велась бесчисленными способами, как пропаганды, так и соцсоревнования, а также постоянными методическими опытами и мудрствованиями вроде уже упоминавшихся «бригад», консультаций, коллоквиумов и т. д., велась также борьба и с так называемым «либерализмом» профессоров в оценке знаний. Тем не менее, в основном вузы остаются прежними и сохраняют свои исконные недостатки.

Прежде всего мы наталкиваемся на курьезный факт, что многие студенты при поступлении в вузы сами не отдают себе отчета, чем они будут там заниматься, и какова в связи с этим будет их судьба в дальнейшей жизни. В № 6 журнала «Совет-

ское студенчество» за 1941 год в статье «Организованно провести прием в вузы» читаем: «Многие школьники неясно представляют себе значение ряда специальностей для нашего народного хозяйства и социалистической культуры» (стр. 11). О том же говорит и статья в № 8 «Советского студенчества» за 1940 г., стр. 11: «Поступив в институт, многие из нас совершенно не представляли, кем они будут». Тогда «парторг провел несколько бесед о профиле института, затем пригласил к нам доцента Лозинского, который так ярко обрисовал нашу будущую профессию, что никто больше не помышлял уйти из института». Факт весьма знаменательный. Зная, как скупо и осторожно в советской прессе и общественности подвергаются критике явления советского быта, можно с полным правом заключить, что указываемое в статье явление представляет собой нечто весьма распространенное.

«На первые курсы вузов и втузов СССР, — говорит статья, — в этом году будет принято свыше 180 тысяч человек, а вместе с заочными и вечерними отделениями больше 280 тысяч». Где же этой массе, исходящей зачастую из глухих деревенских углов, разобраться в «специальностях»? Правда, по словам статьи, «Комитет по делам высшей школы и управления учебных заведений выпускает, по примеру прошлых лет, справочники», однако, они оказываются неудовлетворительными, как и «вузовские многотиражки, справочники и проспекты».

Все эти явления, странные с точки зрения человека, мыслящего себе высшую школу в ее традиционном виде, как питомник культурных сил, представляют собой нечто естественное и неизбежное в советских условиях. Ведь высшее образование самим фактом «строительства» социализма переведено в общую плоскость «производства» и включено в «планирование». Подобно тому, как в начале каждой пятилетки планируется производство такого-то количества тонн чугуна или стали, точно так же на определенный срок заранее намечается выпуск определенного и все возрастающего количества спецов каждой отрасли техники или науки, и соответственно этой потребности открываются новые вузы с узкой специальностью, иногда новой и никому неизвестной. И так как в молодежи под влиянием более, чем 20-летней пропаганды вообще создана определенная презумпция, что после средней школы она естественно переходит в вуз на казенном содержании, то эта молодежь и

не отдает себе отчета, куда, собственно, на какую специальность итти, да и, кроме того, эта молодежь даже не спрашивает себя о том, способна ли она заниматься высшей наукой. Какое-либо сомнение на этот счет вообще исключается.

Этим объясняется, что главный вопрос, составляющий сущность высшей школы, вопрос об образовательном процессе или, как принято говорить на советском жаргоне, об «учебе» студентов, в течение всего времени существования советских вузов являлся больным вопросом, и в свою очередь порождал другие болезненные явления вузовской жизни. Отрицательные результаты деятельности вузов были следствием плохой успеваемости студентов, которая в свою очередь проистекала от неумения работать. Этот порок советского вуза являлся и является предметом самого оживленного обсуждения и толков в среде профессоров и студентов. Тема эта также оживленно обсуждалась почти в каждом номере журнала «Советское студенчество». Высказывания студентов и преподавателей, их предложения разных способов помочь делу и научить студентов работать, их признания насчет действительного положения дела с учебой в высшей степени поучительны.

Замечательное признание делает кандидат химических наук Т. А. Захаренко в статье «О нужном и ненужном», посвященной вопросу о консультациях студентов у профессоров: «Студент понял, что для того, чтобы знать предмет, чтобы выйти из вуза достойным специалистом, уважаемым советской общественностью, нужно самому засесть за книгу и хорошенько поработать» («Сов. студ.», 1940, № 2).

Слова замечательные! Установка большинства студентов была действительно такова, что наука должна влезать в голову как-то сама собой, без всякого усилия с их стороны, и что достаточно числиться студентом, чтобы по истечении положенного срока сделаться «специалистом». О собственной работе студента над книгой автор говорит потому, что у студенчества долго существовало обыкновение учиться «с голоса», т.-е. усваивать кое-как сведения из слушаемых лекций и устных объяснений преподавателя на консультациях.

Характерны признания уже закончившего «учебу» инженера В. С. Петрова в статье «Слово к друзьям» («Сов. студ.», 1940, № 7): «Иногда приходится слышать такие жалобы: ‘Трудно учиться. Программы очень обширны, требования очень

велики, а времени мало'. Спора нет — знания даются нелегко. Но на личном опыте я убедился, что при желании всего можно достичь. Помню, когда я впервые попал на семинар по физике, то просто растерялся. Часами смотрел на доску, возле которой отвечали мои товарищи, старался понять... и почти ничего не понимал. Примерно, то же было и с химией... Что было делать? По совету товарищей, я начал изучать физику с самых азов. Вернусь из института, немного отдохну и сажусь за книги. Читаю, конспектирую, решаю задачи».

После всех мытарств Петров все же выбрался на твердый берег... «И вот пять лет учебы позади. Я — инженер-теплотехник». Пример Петрова можно считать типичным для советского студента; типично также его чувство счастливой самоудовлетворенности, столь характерной для советской учащейся молодежи, которая всегда уверена в конечном успехе дела. И Петров говорит, что как раз тогда, когда он, почти ничего не понимая, смотрел на классную доску, «какая-то внутренняя уверенность, что в конце-концов дело пойдет на лад, не покидала меня». Случай Петрова не исключительный, но типичный, и он сам, имея ввиду подобные же случаи, заключает свое «слово» таким обращением: «Хочется посоветовать моим незнакомым друзьям, молодым юношам и девушкам, впервые переступающим порог института: 'Не пугайтесь трудностей! Упорство и настойчивость обеспечат вам победу'».

Что случай с Петровым не единичный, об этом говорит множество подобных же статей в «Советском студенчестве». Я уже говорил, что главный порок советского студента в том, что он твердо убежден, что существует какой-то доступный всем и каждому способ приобретения знаний и преодоления трудностей, притом без особенных усилий. Эта презумпция внушена ему самым его воспитанием, всей атмосферой советской «общественности», которая пропитана пропагандой той идеи, что уже самым фактом Октябрьской революции и постоянной «заботой» советской власти о молодежи и о науке, эта последняя сделалась легко доступной всякому. Являясь в стены вуза, студент убежден, что он овладеет наукой, ибо в качестве пролетария или крестьянина, в качестве сына народа, он особо призван к этому. Подобный гипноз питается и поддерживается в советском студенчестве постоянным повторением высказываний в таком роде, как, например, цитата из М. Горького:

«...Вы держите экзамен на творцов новой жизни, создателей бесклассового общества социалистического государства рабочих и крестьян, вы держите этот экзамен перед лицом трудового народа всего мира. Непоколебимо убежден, что вы сдадите экзамен этот», — писал М. Горький в 1929 году серпуховским рабфаковцам. И далее: «Вы должны преобразовать себя в ту новую, бодрую, непоколебимую армию работников науки, героев труда, в ту силу, которая преобразит все изжитые, изгнившие основы жизни. Так оно и будет. Победите вы». («Сов. студ.», 1940, № 6). Легко представить себе действие на молодежь таких призывов, пожеланий и надежд, исходящих из уст таких «корифеев», как Горький, Ленин, Сталин. Они создавали в молодых и малосмысленных умах уверенность, что цель, поставленная перед ними — наука — достигается по слову вождя и порывом энтузиазма со стороны студенчества.

Во всех патетических прославлениях советской науки, советских вузов и студенчества авторы их всегда оперируют главным образом количественными показателями, однако, в сознании неопытной и невежественной молодежи, эти количественные показатели легко превращаются в качественные. Слова о том, что наука в СССР стала доступна для народных масс, что между молодежью и наукой разрушены все преграды, несомненно, понимаются в том смысле, что этим самым наука действительно усваивается молодежью, становится ее внутренним достоянием. Причем этой уверенности нисколько не мешают те отрицательные факты об «учебе» студентов, их поведении, дисциплине и т. д., которые приводятся (и иногда довольно настойчиво) в тех же самых панегирических статьях. Я уже приводил, в качестве примера из собственной практики, высокую самооценку студентов Геодезического института. Но такого же мнения о себе были и мои, учившиеся без отрыва от производства рабфаковцы, которые в силу одного своего пребывания на рабфаке, видели себя в будущем на высоких командных постах промышленности в качестве инженеров. Эта самооценка и эта уверенность имела, впрочем, также совершенно реальную почву благодаря тем ничтожным требованиям, которые вплоть до последнего времени предъявлялись к знаниям студентов, и той общей психологической установке администрации вузов, что каждому студенту так или иначе надо дать возможность превратиться в «специалиста».

Итак, советская демагогия в значительной степени определяет мышление студента, внушая ему известное представление о себе самом и о своем отношении к науке. Вопрос о таких моментах, как способность, одаренность, унаследованные или благоприобретенные навыки, в качестве необходимых предпосылок для успешности занятий в вузе, проходит мимо сознания советского студента. Характерно, что такие темы и не обсуждаются в советской печати, а если затрагиваются, то лишь вскользь.

Интересные и показательные данные содержит, например, статья доц. С. Васильева «Уметь читать, уметь конспектировать» («Сов. студ.», 1940, № 8). Знаменательно уже самое ее начало: «Теперь уже никто из студентов не оспаривает, что самостоятельная работа есть непременное условие успешного изучения той или иной дисциплины. Мало присутствовать на лекциях и наблюдать опыты, демонстрируемые преподавателями. Надо самому хорошенько поработать, закрепить в памяти услышанное и увиденное». Эти слова содержат в сущности целое разоблачение, и в этом их чрезвычайная ценность, ибо ведь в советской прессе мы никогда не найдем правдивой и непредубежденной характеристики умственного и вообще духовного облика советского студенчества. Мы принуждены вычитывать правду между строк или из косвенных признаний. Лишь постепенно советское студенчество пришло к сознанию, что надо и «самому хорошенько поработать» и, «закрепить в памяти услышанное и увиденное». Но при слабых умственных навыках большинства студентов, для них и получает огромное значение вопрос, как же работать, как же заучивать? Автор статьи обходит вопрос о личных качествах ума и воли, вопрос опасный, и говорит словами проф. математики Кузьмина: «Можно думать, что значительная часть того, что мы приписываем разнице в способностях людей, принадлежит разнице в методах умственной работы». Автор указывает на важность знакомства с методами работы великих людей науки и искусства и описывает способ работы Ленина в гимназии над заданными сочинениями, указывает также, что Ленин был всегда акуратен в работе, не просто читал книги, но их штудировал, всю жизнь учился и т. д. Все это, конечно, сведения о чисто внешних вещах, они не открывают внутренних процессов работы Ленина и секрета его достижений по той простой причи-

не, что эти внутренние процессы и секреты остаются непостижимыми, сколько бы мы ни исследовали внешние приемы работы. Этого-то как раз не могут понять ни советские студенты, ни многие авторы поучающих их статей.

Совершенно естественно, что при важности, прямо-таки жгучести вопроса о способах «учебы», он вызвал и специальную литературу. Этому посвящена, например, статья студента Н. Кузнецова «Забытый участок» («Сов. студ.», 1938, № 9), который жалуется, что «литература по организации умственного труда» вообще небогата и исчерпывается 2-3 десятками книг. Из них книга Ребальского «Азбука умственного труда» вышла в десяти изданиях, но встречается редко, очевидно, вследствие большого спроса на нее. Характерно заключительное пожелание автора, чтобы какое-нибудь издательство поручило «авторской бригаде из группы отличников какого-либо вуза написать пособие по технике работы над книгой».

Другая статья: «Как работать студенту» Б. П. Петрова («Сов. студ.», 1940, № 4) посвящена целому ряду брошюр, среди которых две автор отклоняет, как высказывающие неверные и «претенциозные» утверждения. Возражения автора интересны и характерны тем, что они отрицают всякую свободу мнения насчет приемов работы, всякий субъективизм. Советские теоретики и методисты упускают из вида одно, а именно, что метод, конечно, всегда существует, и каждое научное достижение совершается с помощью какого-либо метода, однако, все дело-то в том, что метод этот в самой сущности своей непередаваем, ибо он является частью духовной личности ученого. Советские студенты и их конгениальные руководители ни за что не хотят понять, что, если метод и играет роль, то он сам определяется индивидуальностью. Есть так называемые «книгоглоты» и есть люди, которые лишь медленно усваивают книги. Умение работать есть тоже своеобразное дарование. Это дарование может отсутствовать, несмотря на одаренность человека в других отношениях. Если возможно научиться работать, то исключительно собственным внутренним опытом и трудным путем ошибок и неудач. Но характерное для большевицкой психологии механистическое мышление внушает советским студентам убеждение, что и в умственной работе все дело заключается в рациональной системе внешних

приемов, предназначенных для всеобщего употребления и пригодных во всех случаях.

Как во многом другом, так и в постановке высшей школы большевицкие руководители попадают из одного противоречия в другое. Объявив науку достоянием широких масс, открыв к ней доступ решительно всем, они оправдывают свою политику словами Маркса, имеющими как раз противоположный смысл: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам» («Сов. студ.», 1940, № 7). Смысл этих слов легко уразумеет всякий студент, чувствующий хоть некоторое призвание к науке и обладающий хоть некоторым опытом самостоятельных университетских занятий.

2

Большевицкие руководители высшей школы в согласии со своим общим механистическим взглядом на вещи упорно пытались и пытаются повысить успеваемость «учебы», путем чисто внешнего воздействия на студентов в форме так называемого «социалистического соревнования». Само понятие этого соцсоревнования перенесено в школу из области промышленного и сельскохозяйственного производства, где оно было придумано и введено Лениным в момент, когда результаты уничтожения частной инициативы сказались резким падением производительности. Упорствуя в своей ошибке, не желая признать великой стимулирующей роли конкуренции частных предпринимателей и рабочих в повышении качества и количества продукции, Ленин выставил свой пресловутый тезис о соцсоревновании, превратившийся затем в настоящее бедствие для массы трудящихся и учащихся: «Конкуренция при капитализме», говорит Ленин, «означает неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся — означает замену соревнования финансовым мошенничеством, деспотизмом, прислужничеством наверху социальной лестницы. Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применять его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство тру-

дящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе непочатый родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами» (статья «Как организовать соревнование», цитирую по МСЭ, т. 8).

В высшую школу соцсоревнование было введено весною 1930 г. Сущность соцсоревнования в вузе заключается в том, что каждая «производительная» единица, а в вузе к ней приравнивается отдельный студент, группа, курс, факультет и даже целый вуз, — вызывает на соревнование другую соответственно равную ей единицу другого вуза в том же городе (или даже иногороднюю), причем заключается «договор о соцсоревновании», в котором устанавливается обязательство каждой из сторон в определенный срок достигнуть условленных максимальных показателей производительности труда (успеваемости). По идее стимул к соревнованию в вузах должен быть исключительно моральный: чувство удовлетворения выполнением обязательства, гордость первенством, слава и т. д. Высшим выражением являлись почетные награждения книгами, знаками отличия, вручением (при коллективном соревновании) так называемого «переходящего красного знамени».

О соревновании, как способе повышать успеваемость в вузах можно сказать без дальнейших рассуждений, что оно полностью провалилось. Тем не менее, из быта вузов оно не исчезло, и несмотря на очевидный неуспех, упорно проводилось вузовскими общественными организациями, отнимая у учащихся время и отравляя им существование. Это явление представляет собою нечто столь характерное как для жизни вузов, так и для психологии большевизма, что его стоит рассмотреть подробнее.

Большевицкое руководство во всех областях жизни, вплоть до, казалось бы, самых незначительных мелочей проявляет поразительное упорство в борьбе с живыми силами и естественными потребностями жизни в целях подчинения их требованиям своей теории или просто своим практическим мероприятиям. Никакое сопротивление человеческого быта и человеческой психики, никакие доводы логики или чувство смешного не останавливают большевиков в этом упорстве. Так именно обстоит дело и в области студенческого соцсоревнования. Целый ряд статей «Советского студенчества», проповедующих соцсорев-

нование, изображали его фактически полный провал, однако, упорно не желали сделать отсюда естественный вывод о нежизненности и бесполезности этого мероприятия. Так, в носящей общий, итоговый характер статье «О социалистическом соревновании в вузах и техникумах», напечатанной после восьмилетней практики этого дела, мы читаем: «Произведенная ЦК ВЛКСМ проверка ряда вузов и техникумов показала, что в организации социалистического соревнования имели место грубые извращения. Во многих вузах и техникумах... отличники учебы выдвигались и утверждались на заседаниях профкомов или же «выбирались» на общих собраниях групп, курсов, факультетов и т. п.» («Сов. студ.», 1938, № 9). Здесь невозмутимым, деловым тоном констатируется вопиющий факт не только провала соцсоревнования, но и открытой фальсификации его результатов со стороны тех самых общественных организаций (профкомов), которые по самой идее являются его главными проводниками и гарантами успеха.

Сущность социалистического соревнования прекрасно известна на практике каждому преподавателю советского вуза. Правда, официально каждому приходилось делать вид, что он принимает соцсоревнование всерьез, однако, находились и такие преподаватели, которые своим отношением к нему старались сделать себе рекламу. Видимо, к этой категории относится «молодой талантливый профессор М. А. Барон», заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии в 1-м Московском медицинском институте. «Когда в феврале пришли изучать гистологию 600 студентов первого курса, профессор сказал им: «Студенты должны соревноваться! Добиться хороших успехов можно только соревнуясь»... Вступление к курсу гистологии в нынешнем году было посвящено... социалистическому соревнованию» («Сов. студ.», 1938, № 9).

С вопросом о соцсоревновании, как способе повысить успеваемость студентов, в тесной связи стоит вопрос о том, насколько соответствуют действительности оценки знаний советского студенчества, даваемые преподавателями на экзаменах. На этот вопрос приходится дать решительно отрицательный ответ. Постоянная реклама необычайных успехов и достижений нашей «замечательной учащейся молодежи» в устных и печатных выступлениях всякого рода «вождей» до последнего профорга или комсорга, имеет целью лишь скрыть, затушевать

тот факт, что подавляющее большинство этой массы молодежи, совершающей «поход в науку», учится плохо.

Прежде всего в печати сплошь да рядом отмечается так называемый «либерализм» преподавателей в деле оценки знаний, что означает попросту, что профессор ставит незаслуженно хорошие отметки за посредственные или неудовлетворительные ответы. Вот, что читаем мы на этот счет в журнале «Советское студенчество»: «...среди студентов еще не изжиты случаи несерьезного отношения к учебе; некоторые преподаватели в погоне за количеством высоких отметок проявляют либерализм при оценке знаний студентов. В ряде вузов социалистическое соревнование между преподавателями по существу свелось к тому, у кого будет больший процент студентов, получивших высокие оценки». («Сов. студ.», 1940, № 7).

Наличие в вузах тенденции к искусственному повышению оценки знаний студентов обратило на себя внимание даже высших органов власти, которая в лице ЦК ВКП(б) осудила практику искусственного повышения оценок успеваемости студентов, а также «поведение тех руководителей вузов, партийных и комсомольских организаций, которые требуют от преподавателей выставления повышенных оценок студентам» («Сов. студ.», 1940, № 10). Здесь откровенно констатируется факт прямого давления на преподавательский состав.

Незнакомому с советским бытом наблюдателю может показаться совершенно непонятным, каким образом полному невежеству многих студентов профессура могла давать удовлетворительные и даже повышенные оценки. Попытаюсь объяснить это на основании данных советской печати, а также и моего собственного опыта и наблюдений.

Во-первых, над преподавателями тяготеет вся атмосфера вуза. Если кругом, в вузе и за его стенами, в широкой общественности, устно и печатно, от парторгов и журналистов вплоть до политической головки государства непрерывно и настойчиво ведется пропаганда о том, что нынешнее студенчество должно овладевать наукой и в массе своей ею овладевает, что наука в СССР расцветает, становится всеобщим достоянием и т. д., то в такой атмосфере преподаватель инстинктивно начинает чувствовать себя обязанным итти в ногу с этим всеобщим течением. Тут говорит известная логика личного поведения: согласившись участвовать в общей игре, признав преподава-

тельскую работу в вузе при всех данных условиях для себя возможной, преподавателю приходится быть последовательным до конца: если само преподавание науки этим студентам есть для преподавателя компромисс, то и в оценке результатов приходится итти на компромисс.

Но есть и другие причины. Есть преподаватели, пошедшие на компромисс из-за нужды, из-за куска хлеба и им глубоко безразлично, какой результат получится из всей этой затеи. Они делают то, что от них требуется. Другие просто боятся давления организаций и претензий отдельных студентов и держатся безопасного курса, стараясь одновременно удовлетворить требования как общественности, так и личной безопасности. Лишь редкие независимые характеры идут против течения. Однако, я по собственному опыту знаю, что и таким приходится итти на компромиссы, ибо их непримиримость, в конце концов, оказалась бы направленной не против отдельных неуспевающих студентов, а против всей системы. Искусственное повышение оценок студенческой успеваемости до определенного момента было нужно советской власти, ибо реальная оценка показала бы, что вся большевицкая политика в области высшего образования с ее лозунгом, «науку в массы», никуда не годится.

Однако, сама жизнь должна была показать большевикам, что дальше поддерживать этот лозунг значило бы продолжать обман сверх пределов возможного. Какие непосредственные причины заставили большевиков отказаться от своего принципа и провести целую революцию в жизни студенчества, это не дано знать простым смертным, для которых скрыты тайные пружины действий советской власти. Можно только предполагать, что произведенная осенью 1940 года революция была вызвана тем, что военные события в Западной Европе и близившийся конфликт с Германией решительно поставили перед большевицкой диктатурой вопрос о концентрации и экономии всех материальных рессурсов страны. В данной ситуации роскошь содержания на казенный счет 700.000 молодых людей, из которых большая часть самой же советской общественностью квалифицировалась как «лодыри», была государству не под силу. И вот с тем же спокойствием, с каким раньше утверждалась рациональность содержания студенчества на государственный счет, теперь эта практика отменялась и даже осуждалась, как

вредная. За мотивировкой же советская власть никогда в карман не полезет. Отмена стипендий и введение платы за учение в вузах и в старших классах средней школы мотивировались ростом материального благосостояния трудящихся.

На студенческую массу декрет об отмене стипендий всем студентам, за исключением отличников, и введение платы за обучение произвел удручающее впечатление. Но несмотря на общий внутренний протест этой массы, в печати немедленно начали раздаваться услужливые голоса, приветствующие новый принцип и вытекающие из него последствия. Но приветствовать новый принцип значило осуждать старый и вместе с тем всю старую установку советской власти. Это и было сделано с абсолютным спокойствием и откровенным цинизмом.

После обнародования декрета в ближайшем же номере «Советского студенчества» заместитель председателя Комитета по делам высшей школы, И. Агроскин, поместил большую статью о новом декрете, под заглавием «23 года советской высшей школы». Согласно советскому шаблону, статья начинается с обзора грандиозных «достижений» в прошлом и затем рассматривает данное мероприятие, как новый этап прогрессивного развития, стоящий не в противоречии с прошлым, а в полном согласии с ним. «Постановление СНК СССР об установлении платы за обучение и об изменении порядка назначения стипендий — читаем в статье — сыграет важную роль в повышении качества высшего образования. Отныне право на государственную стипендию имеет лишь тот, кто проявляет отличные успехи, повседневно и упорно овладевает наукой, кто все свои силы и энергию отдает учебе. Иными словами понятие «студент-стипендиат» наполняется в наши дни совершенно другим содержанием. Стипендия — не вспомоществование, а награда за ударный труд, признание способностей и достижений студента-передовика. Хочешь быть стипендиатом — будь отличником, отлично успевай по большинству дисциплин, т.-е. глубоко и серьезно овладевай будущей специальностью!» («Сов. студ.», № 9, 1940 г.).

Новое положение, само собою разумеется, внесло новую, совсем иную остроту в вопрос об экзаменах. Если раньше можно было весь вузовский курс пройти на отметках «посредственно», и даже оставаться по нескольку раз на второй год, то теперь получение высоких оценок для студента становилось

вопросом жизни или смерти. В этом отношении я имею мой собственный опыт, так как в 1940/41 году преподавал латинский язык на историческом факультете Московского Института Философии, Литературы и Истории (Мифли), одного из лучших вузов по составу студенчества. По наблюдениям моим и моих коллег, постановление вызвало полное уныние среди тех студентов и студенток, которые учились посредственно и даже хорошо, но не числились отличниками, и которым, следовательно, предстояло в короткий срок радикально повысить свою успеваемость, добиться «отличничества».

Постановление об отмене стипендий я назвал революцией. Таким этот акт действительно и был в идее. Он должен был бы произвести переворот в жизни студенчества и в постановке учебного дела, если бы был осуществлен так, как это предполагалось. Однако, большевики на этот раз были побеждены жизнью. Непосредственно после издания постановления Совнаркома господствовало ожидание, что большинство студенчества будет принуждено покинуть вузы. Хотя активный протест был оказан студенчеством лишь в редких случаях, тем не менее вся жизнь, весь быт по мелочам соединялся против этой реформы и одолел ее. Отчасти у студентов нашлись кое-какие средства, чтобы существовать, не покидая вуза: работа, служба, посторонняя помощь; в отношении тех элементов студенчества, которым без особенных компромисов с совестью можно было давать так называемые «завышенные оценки», это стало делаться преподавателями в еще большей степени, чем раньше. По моим наблюдениям и по рассказам моих коллег, контингент студенчества сократился совершенно незначительно, а общее положение осталось приблизительно прежнее. Оно изменилось главным образом в том смысле, что учиться и преуспевать большинству студентов стало гораздо труднее, так как к прочим неудобствам и затруднениям прибавилась необходимость содержать себя службой или работой одновременно с учением.

В этом-то смысле и можно говорить, что постановление о введении платы за учение и об отмене стипендий, несмотря на всю лживость принципиальной мотивировки, представляет собой настоящую революцию в постановке учебного дела, ибо оно означает идейный переворот, отказ от взгляда, что каждому молодому человеку, независимо от его способностей,

доступ к науке должен быть обеспечен за счет социалистического государства.

3

Мне остается охарактеризовать советского студента, как человека, как нравственную личность, его духовные интересы, его культуру, его отношение к жизни, к среде, товарищеской и более широкой, человеческой.

С самого начала я должен оговориться, что эта задача представляет огромные трудности, не только сама по себе, но и вследствие недостаточности и особого свойства источников, а также вследствие особенной атмосферы советского быта, в которой все явления «духовного» порядка находятся на особом положении, состоя отчасти под запретом, отчасти под наблюдением и контролем власти. Вследствие этого внутренний мир советского человека, а следовательно и студента, чрезвычайно трудно доступен для наблюдения и характеристики.

С другой стороны, в советской действительности есть определенные резко выраженные черты, которые, напротив, облегчают эту задачу. Я имею в виду духовную скудость этой действительности и в особенности тот важный факт, что духовное содержание жизни, как творческое (динамическое), так и пассивное (статическое), не являются результатом свободной игры индивидуальных сил, стремлений, прихотей, но определяются сверху известной суммой официальных идей и понятий, а также директивами и контролем их органами советской власти и так называемой «советской общественности». Эта нарочитая, политически обусловленная направленность всей духовной жизни советских людей весьма способствует выработке из них определенного, штампованного типа, повторяющегося с ничтожными отклонениями бесчисленное число раз. Такой штампованный тип в особенности распространен в студенчестве, ибо оно представляет собой «возрастный класс», легко доступный посторонним воздействиям и особым образом организованный в целях его воспитания по известному образцу, установленному государственной властью и нужному для ее целей. Можно сказать поэтому, что в духовном и моральном облике советского студента есть две стороны: одна — официальная, шаблонная, другая — неофициальная, индивидуальная, каким-то образом ускользающая от штампа. Соотношение

этих двух аспектов в каждом студенте, конечно, вариируется в зависимости от природной оригинальности и силы его индивидуальности. Но первая его половина — на виду, отражена в общественности и в печати. Вторая же — скрыта и часто стоит в противоречии с первой, существуя контрабандой и уловить ее можно лишь в отдельных, счастливых случаях, большей частью в ее косвенных отражениях.

Итак, внутренняя духовная жизнь студента, точно так же, как и учеба определяется всегда внешним фактором — государством и «общественностью», причем та и другая в лице их разнообразных органов и агентов являются конкретными воплощениями известных идей долженствующих быть великими и священными в сознании каждого студента. Эти идеи — социализм, революция, пролетариат или вообще низший класс (как некая отвлеченная сущность), пролетарская культура. Эти факторы и направляют жизнь студента к известной не им избранной для себя, но указанной для всех общей цели — строительство социализма и служба государству. Напоминания об этой зависимости студента от направляющих его директив встречаются на каждом шагу в жизни, работе, отдыхе и многообразно отражаются в специальной печати.

Так, например, что такое «большевицкая радость и социалистическое счастье» определил тов. Постышев* на IX съезде комсомола Украины: «Это радость и счастье советского патриота... могущественной социалистической страны, неуклонно догоняющей и обгоняющей самые передовые капиталистические страны... Это счастье от роста материального и культурного уровня жизни... Это счастье красивого творческого труда, радость свободного социалистического труженника... Это радость и счастье борца-революционера...» Вот программа внутреннего содержания советского студента, преподанная ему, так сказать, для руководства и исполнения.

Необходимость директив, опеки над жизнью и работой студента — проходит красной нитью через всю вузовскую общественность. На страницах журналов, в статьях секретарей комитетов комсомола, комсоргов и просто студентов мы постоянно читаем такие фразы: «В центре внимания комсомоль-

---

* Позднее Постышев, как известно, был «ликвидирован» НКВД, как враг народа.

ской организации должны стоять вопросы идейно-политического воспитания студенчества» («Сов. студ.», 1940, № 7); «комсорг обязан знать жизнь и запросы каждого комсомольца, обязан сплачивать коллектив» (там же, № 8).

Теперь приведу автохарактеристику, принадлежащую человеку из массы:

«Моя судьба — это судьба страны. Страна меня вырастила, подняла, дала силы и мужество, и я стал знатным человеком своей родины. А был я всего навсего простым малограмотным, деревенским парнишкой, ходил в лаптях, и никогда не думал, что мне выпадет на долю такая судьба. Комбайнер я, говорят, не плохой: в 1935 г. добился 780 га выработки при норме в 150, в 1936 г. — 2.040 га при норме в 180, а в 1937 г. дал 3.240 га. Но каких-нибудь особых достижений я за собой не знаю. Воспитали меня партия, комсомол да красная армия, они научили меня быть упорным и работать по большевицки».

Затем рассказчик кратко излагает свою несложную карьеру и продолжает: «Страна моя цветет и я вместе с ней. Правительство наградило меня орденом Ленина — это моя большая гордость, великое счастье... Я учусь теперь в Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, а ведь образование раньше у меня было двухклассное, сельское. Конечно, придется много работать, но работы я не боюсь. Пробуду три года на подготовительном отделении, а потом поступлю в институт механизации сельского хозяйства и буду инженером. «Инженер Константин Борин» — даже думать об этом до революции не смел, а теперь — это живая действительность» («Сов. студ.», 1937, № 9). Эта автобиография выбрана мною из числа других автобиографий студентов — кандидатов в депутаты Верховного Совета. В журнале «Советское студенчество» не мало таких автобиографий. Они мало чем отличаются одна от другой, ибо все написаны по определенному канону. Единственное различие между их оригиналами — специальность; в остальном это люди чисто советского образца. Разрисовка таких портретов в прессе производится систематически. Она составляет часть пропаганды и имеет целью формировать людей по трафарету и действительно формирует их.

Очень характерно для советского студента, что он мыслит культуру, как некую сумму знаний, бытовых привычек и правил поведения, которые каждый может легко усвоить учением.

У них нет никакого представления о том, что подлинная культура не может быть «культурой студента» или «культурой военного» или «культурой рабочего», что культура — это достояние всего общества, результат его долгого творчества. Студенты не могут понять, что у них, как у существ, оторванных от органической почвы и среды, — нет культуры и долго еще не будет.

Итак, с одной стороны, вузам и студенчеству поставлены свыше определенные цели и требования, предписан определенный образ действий, нарисован определенный тип учащегося и тип человека, которому должен удовлетворить студент; с другой, — при каждом случае, по каждому поводу, в связи с каждым выступлением, в каждой статье сквозит полное несоответствие между этими официальными нормами и реальной действительностью. При всей покорности студенческой массы, при всей ее примиренности с советской действительностью и даже добровольном ее приятии, при всей невозможности свободной и независимой критики, между насилующей официальной «нормой» и реальной жизнью все же и в этой распыленной, неорганической студенческой массе происходит непрерывная борьба. Жизнь оказывает сопротивление, и это доказывается тем, что «нормы» в большом количестве случаев остаются мертвыми и выполняются лишь формально. Так, мертвым делом остались пресловутое соцсоревнование, воспитательная роль комсомола, общественная деятельность студентов, в значительной степени также внеучебные научные кружки. Все это выполняется, как обязательная казенная повинность.

Тем не менее все эти требования образуют на студенте массу механических привесков и придатков, которые совершенно подавляют и загоняют куда-то глубоко внутрь его истинную сущность. Это делает студента трудно доступным для понимания и познания не только постороннему, но и самому студенту. Я думаю советский студент, в большинстве своем сам не знает, что он такое; до такой степени наносное, искусственное, внушаемое извне заполняет в нем подлинную, первоначальную натуру.

Одно можно сказать с достоверностью. В этой проникнутой неискренностью и фальшью среде все истинно благородное и правдивое рано или поздно уничтожается. В этом меня убеждает не только логика этой своеобразной, еще небывалой дей-

ствительности, но и мой личный опыт. В 1930 году я преподавал немецкий язык в Геодезическом институте в Москве. Среди моих студентов был один, видимо, весьма способный малый. Я говорю «видимо», потому что вполне разгадать его было трудно, он проявлял себя чрезвычайно мало, относился к занятиям довольно безразлично и поражал меня своей задумчивостью, даже грустью. Однако, занятия посещал акуратно. Однажды этот мой студент не явился в группу. На мой вопрос, не болен ли он, его товарищи ответили отрицательно и с двусмысленными улыбками и переглядыванием между собой сообщили, что их товарищ больше не будет учиться. Разгадку я вскоре узнал частным образом от одного из студентов. Оказалось, что этот студент внезапно выступил на комсомольском собрании с откровенным и резким обличением не только студенческого быта, но и всей советской действительности вообще с ее ложью, жестокостью и нелепостью. При этом он заявил, что в ранней юности он, будучи простым крестьянином, верил в революцию, в советскую власть, в то, что все совершившееся приведет к благу народа. Но ближайшее знакомство с жизнью в студенческие годы принесло ему полное разочарование. Ему дали высказаться до конца, и тут же на собрании он был арестован и бесследно исчез.

Д. П. Кончаловский

ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ СССР

Министр обороны, А. А. Гречко, предложил делегатам 3-ьей Сессии Верховного Совета СССР рассмотреть проект нового Закона о всеобщей воинской обязанности, по которому, как указано в главе 3, ст. 17, начальная военная подготовка, включая подготовку к гражданской обороне, будет проводиться в общеобразовательных школах (начиная с 9 класса)... штатными военными руководителями. («Правда», 13 октября 1967 г.).

Для советской школы это, конечно, не новость, а повторение старого опыта на новый лад. Начальная военная подготовка или «военное дело», как ее называли в школьных программах и расписаниях, была введена в общеобразовательных школах в 1929-1930 учебном году и проводилась до 1934-1935 учебного года в тех местностях, где возможно было обеспечить школы военными руководителями и помощью со стороны организаций Осоавиахима (Общество Содействия Авиации и Химии).

В тех местах, где невозможно было найти военного руководителя, «военное дело» так и не вошло в школьные занятия. Таким образом, систематической начальной военной подготовки между 1929-1935 гг. в общеобразовательных школах **повсеместно** не проводилось.

По тогдашней программе на «военное дело» отводилось 60 часов на один год в 7 классе (возрастная группа 14-15 лет), из которых 2/3 составляли теоретическое обучение и 1/3 — практику. В теоретический курс входило: изучение устава красноармейца, изучение структуры и взаимоотношений различных видов вооруженных сил СССР, изучение организации обороны СССР, заучивание наизусть и исполнение военных песен. Практические занятия состояли из строевых занятий, черчения топографических карт, изучения и пользования боевой винтовкой, изучения строения пулемета Максима, пользования противогазом, оказания первой помощи, военных игр.

Уроки «военного дела» проводились при полном соблюдении военной дисциплины. Класс превращался во взвод, разде-

ленный на отделения. Командиром взвода считался председатель классного комитета, а командирами отделений, председатели бригад или звеньевые пионерских отрядов. Дежурный по классу превращался в дневального.

При входе военного руководителя в класс дежурный подавал команду: «смирно» и, отдав честь, сдавал по форме рапорт об отсутствующих, причинах отсутствия (если таковые были известны) и о количестве присутствующих. По команде военного руководителя «вольно» класс либо садился за парты, если урок был теоретический, либо становился в положение «вольно», если шли строевые занятия.

Зачеты по успеваемости проводились в таком же порядке, как и по остальным предметам, выставлялась одна отметка, общая по теории и практике.

От практических занятий освобождались только те учащиеся, которым по решению школьного врача было запрещено заниматься физкультурой. Но такие учащиеся не освобождались от экзамена или зачета по теории «военного дела».

Военные игры проводились за городом или в большом городском парке раз-два в год, обычно весной или летом. Школа разделялась на два лагеря: «красных» и «синих». Создавался боевой штаб во главе с главнокомандующим — военным руководителем и его заместителем, учителем физкультуры. Во главе служб связи, разведки и санитарной команды ставились учащиеся, которые отлично успевали по данным видам подготовки, были энергичными, ловкими и сообразительными.

После игры, которая продолжалась часов десять-двенадцать, обсуждались недостатки и положительные стороны тут же на привале. Полный отчет о результатах такой игры передавался директору школы и печатался в стенной школьной газете.

В 1934-1935 учебном году, когда «военное дело» было опущено из школьных программ в общеобразовательных школах, были введены нормы комплексов БГТО (Будь Готов к Труду и Обороне) для возрастных групп 14-15 лет и нормы ГТО (Готов к Труду и Обороне) для возрастных групп от 15-ти до 40 лет. Комплексы ГТО были введены раньше, чем комплексы БГТО, а именно в 1931 году по инициативе ВЛКСМ и разработаны Высшим Советом физкультуры. Пользуясь методами социалистического соревнования, которые широко применялись в школах и на производстве, ВЛКСМ совместно со школь-

ными организациями прилагали все усилия к тому, чтобы охватить как можно большее количество учащейся молодежи подготовкой к сдаче таковых норм. Учителя физкультуры были непосредственно заинтересованы такой работой и требовали от всех здоровых учащихся усиленной тренировки, стараясь обеспечить самые лучшие результаты, поскольку:

«Требования комплекса ГТО лежат в основе государственной программы по физическому воспитанию в школах, ремесленных училищах, техникумах, вузах, спортивных организациях предприятий, учреждений, колхозов, Советской Армии и Военно-морского флота» (БСЭ, стр. 346, т. 12, изд. 2, 1952).

Оба комплекса: БГТО и ГТО (обеих ступеней: 1-ой и 2-ой) включали различные упражнения, вырабатывающие быстроту, ловкость, силу, выносливость, необходимые: «для всестороннего физического развития трудящихся, для подготовки их к социалистическому труду и обороне СССР» (там же).

Оба комплекса включали и санитарную подготовку — первую помощь при различных случаях ранений, отравления газами. Для этого необходимо было прослушать курс Первой помощи, которым, обычно, руководил квалифицированный доктор из местного отдела Наркомздрава и сдать экзамен. Также необходимо было изучить свойства всех отравляющих газов, пройти газоокуривание в специально оборудованной газовой камере при отделении организации Осоавиахима. Употреблялся для этой цели только хлор-пикрин. В камере нужно было снять противогаз, потом вновь его надеть, причем необходимо было сделать это таким образом, чтобы не «пострадать» от действия газа. Умение сменить противогаз при наличии газа в камере было обязательным и те, которые не могли удовлетворить требования инструктора, проходили газоокуривание вторично.

Оба комплекса включали практику в стрельбе из боевой винтовки. Тир предоставлялся в распоряжение учащихся местным отделением организации Осоавиахима по договоренности со школой через военного руководителя.

Таким образом, хотя «военное дело» с 1934 г. уже не было включено в школьные программы и штатных военных руководителей не стало, все-таки военные кружки существовали и в самих школах, и при местных отделениях организаций Осоавиахима, и при вновь появившихся Дворцах пионеров, где в сво-

бодное от занятий время **желающие** учащиеся фактически проходили начальную военную подготовку. Нужно при этом учесть, что для членов организации ВЛКСМ такая подготовка и сдача норм на комплексы БГТО и ГТО была **обязательной.** Каждая школа стремилась иметь как можно больше «значкистов», сдавших такие нормы.

Неудивительно, что в 1939 году, когда разразилась война, Институты физической культуры отправляли своих студентов прямо в действующую армию в течение 24 часов.

С 1942 года «военное дело» снова вводится в общеобразовательные школы, охватывая возрастные группы от 12 до 17 лет, т.-е. от 5 до 10 класса. Приказом Совнаркома № 1729/30, от 24 октября 1942 г., отмечается, что военное обучение введено во **многих** школах. В ряде последующих приказов и Совнаркома и Наркомпроса «О мероприятиях по улучшению военной и физической подготовки учащихся» указывается на то, что «...введение военного обучения положительно сказалось на укреплении дисциплины среди учащихся». (Приказ Наркомпроса, № 43, 20 января 1944 г.). Много внимания уделяется и недостаткам в деле организации военного обучения, а именно: слабой методической и общеобразовательной подготовке военных руководителей, назначенных из военнослужащих; низкому уровню учебных занятий по военной подготовке в ряде школ, где происходит подмена учебных занятий строевой подготовкой; неудовлетворительному обеспечению школ военно-учебными пособиями и спортивным инвентарем. Вряд ли следует удивляться наличию таких недостатков в военное время, когда лучшие военные силы были на фронте, а снабжение в первую очередь предназначалось для нужд фронта.

Но при всех недостатках в сентябре того же года в Приказе Наркомпроса РСФСР, № 610, от 5 сентября 1944 г., отмечается, что: «программа по военно-физической подготовке, начальной допризывной подготовке выполнена удовлетворительно».

Вышецитированный приказ был опубликован через семь недель после приказа № 1095, от 15-го июля 1944 г., где от «руководителей отделов народного образования и директоров школ» Народный Комиссар Просвещения требовал «решительного улучшения руководства и повышения ответственности за постановку военного обучения учащихся». Конечно, в условиях военного времени исполнение таких приказов директора-

ми школ и руководителями отделов народного образования было немедленным и безоговорочным. Армия требовала пополнения.

Введение раздельного обучения способствовало не только укреплению дисциплины среди учащихся, но и созданию резервов для армии. И по всем данным, созданию резервов для армии в первую очередь. Согласно Е. Н. Медынскому («Народное образование в СССР», Учпедгиз, 1947, стр. 75): «Введение раздельного обучения было проведено сначала в виде опыта в ряде средних школ города Москвы в течение второго полугодия 1942-43 года. Эта мера целиком себя оправдала: повысилась успеваемость учащихся, улучшилась дисциплина. На основании этого опыта с осени 1943-44 года в 76 городах (в столицах союзных и автономных республик и в крупных городах) было введено раздельное обучение мальчиков и девочек в средних школах. Уровень общеобразовательных знаний и, следовательно, учебные планы и программы для мужских и женских школ остались **одинаковыми** (подчеркнуто нами, Д. В.), одинаковыми остались требования к учащимся мальчикам и девочкам в отношении знаний, так же, как и прав оканчивающих». Далее: «...к концу 1944-45 гг. раздельное обучение проводилось уже в 146 городах».

Е. Н. Медынский допустил неточность, утверждая, что учебные планы и программы для мужских и женских школ остались одинаковыми. Подсчет часов, отведенных для военной подготовки в мужских школах, составляет сумму в 594 часа на курс от 5 до 10 класса, возрастные группы учащихся от 12 до 17 лет. В то же время в женских школах осталась только подготовка по физкультуре, включающая тренировку на сдачу норм комплексов БГТО и ГТО.

Одновременно от **всех** учащихся (подчеркнуто нами, Д. В.) при переходе в 7 класс (14-15 лет) и при переходе в 10 класс (17-18 лет) требуется сдача комплексов БГТО и ГТО (1-ой ступени). (Приказ Наркомпроса РСФСР, № 20, 1943).

Постановление Совнаркома СССР, № 789, от 16 июля 1943 г., совершенно ясно формулирует важность необходимости введения раздельного обучения: «Учитывая, что совместное обучение мальчиков и девочек в средней школе создает некоторые затруднения в учебно-воспитательной работе с учащимися, что при совместном обучении не могут быть должным образом приняты во внимание особенности физического

развития мальчиков и девочек, подготовки тех и других к труду, практической деятельности, **военному делу** (подчеркнуто нами, Д. В.) и не обеспечивается требуемая дисциплина учащихся». Далее там же: «Придавая **большое государственное значение введению раздельного обучения** в школах (подчеркнуто нами, Д. В.), Совнарком Союза ССР обязывает облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы союзных и автономных республик обеспечить проведение в жизнь настоящего постановления».

Приказом по Наркомпросу РСФСР, № 43, от 20 января 1944 г., школьным инспекторам вменяется в обязанность «при выезде на места **обязательно** (подчеркнуто нами, Д. В.) проверять состояние военной и физической подготовки в школах».

Все вышесказанное лишний раз подтверждает тот неоспоримый факт, что введение раздельного обучения диктовалось в первую очередь нуждами военного времени, а не существованием «особенностей физического развития мальчиков и девочек», которые, кстати сказать, существовали со времен Адама и Евы и продолжают существовать и поныне. Введение раздельного обучения дискутировалось учительской общественностью очень давно, с 1930-31 года, но так и не осуществилось, пока «связь школы с жизнью» не потребовала этого. Значит, введение раздельного обучения не было обусловлено желанием проведения педагогического опыта. Гораздо проще и легче было бы ввести раздельное обучение в условиях мирного времени за десять лет до войны, а не заниматься этим в то время, когда вся страна была в состоянии хаоса и большинство учителей ушли на фронт. Разве в такое время занимаются педагогическими экспериментами с чисто научной целью?

Следует также вспомнить, что 22 июля 1943 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) вынесли постановления о создании суворовских и нахимовских училищ, которые комплектовались в первую очередь детьми погибших офицеров и генералов. Эти училища были предназначены для мальчиков в возрасте от 8 лет. Это закрытые военные учебные заведения, дающие среднее образование с военным уклоном. Учащиеся находятся на полном иждивении государства и, окончив курс в таком училище, поступают в высшее военное заведение соответственного типа. Таким образом подготовляется руководящая военная аристократия, проверенная и идеологически выдержанная в условиях закрытого военного учебного заведения при очень

ограниченных возможностях «связи с жизнью» и населением.

Внимание, уделявшееся ЦК ВКП(б), Совнаркомом СССР и Наркомпросами военному обучению в школах в период с 1942 по 1945 гг., потребовало большей ответственности от местных властей и органов народного образования за качество подготовки военных руководителей и исполнения их обязанностей.

Приказ по Наркомпросу РСФСР, № 43, от 20 января 1944 г., гласит: «1) Обязать заведующих гор(рай) ОНО производить подбор кадров военных руководителей лично самим, а директорам предварительно проверять пригодность намечаемых кандидатов для работы в школе. 2) Назначение, перевод и увольнение военруков производить только приказами обл(край) ОНО и НКП АССР, а военруков неполных средних и начальных школ приказами рай(гор) ОНО, по согласованию с соответствующими военными комиссариатами. 8) Привлечь областные, краевые институты усовершенствования учителей, а также районные и городские педагогические кабинеты к практической работе по повышению педагогической и методической квалификации военных руководителей. 9) Обеспечить точное выполнение приказа Наркомпроса РСФСР, № 110, от 27 августа 1943 г., о проведении полуторамесячных курсов по повышению квалификации военных руководителей школ. 10) Проявить максимальную заботу в отношении военруков участников Отечественной войны, особенно вышедших из госпиталей после ранения, в отношении предоставления им жилищной площади и снабжения одеждой и обувью».

Приказ по Наркомпросу РСФСР, № 610, от 5 сентября 1944 г., отмечает, что: «Военное обучение в школах в 1943/44 учебном году получило дальнейшее развитие. Значительная часть школ удовлетворительно выполнила программу по военно-физической, начальной и допризывной военной подготовке». Тут же указывается, что необходимо: «Повысить требования в оценке знаний учащихся по военному делу». В параграфе 5 данного приказа сказано: «Укомплектовать **все** (подчеркнуто нами, Д. В.) школы кадрами военных руководителей и продолжать работу по укреплению их состава». Далее: «Требую от руководителей отделов народного образования и директоров решительного улучшения руководства и повышения ответственности за постановку военного обучения учащихся». Положение о педагогическом совете начальной, неполной средней и средней школы, утвержденное Народным Комисса-

ром просвещения РСФСР 7 апреля 1943 г., параграф 3, предусматривает необходимость пребывания военного руководителя в составе педагогического совета школы, как постоянного члена, выделяя его из среды всех учителей.

Всё это продолжалось до августа 1945 г., когда было созвано Всероссийское совещание по народному образованию. На этом совещании выступил Народный Комиссар просвещения, В. П. Потемкин, с докладом «О дальнейшем улучшении учебно-воспитательной работы школы». Совещание происходило 7-11 августа. В резолюциях этого совещания по докладу В. П. Потемкина уже ни слова не сказано о военно-физической подготовке учащихся. Очевидно, с окончанием войны актуальность военного обучения сошла с повестки дня.

«Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», вошедший в силу в 1958 г., основан полностью, на принципе соединения обучения с производительным **трудом** (подчеркнуто нами, Д. В.). Проекты новых учебных планов для всех типов общеобразовательных школ, разработанные Министерством просвещения РСФСР совместно с Академией педагогических наук РСФСР в 1959 году, уже не упоминают о военном обучении. Физкультура же включена. (Журнал «Народное образование», № 11, ноябрь 1959 г.).

В книге «Школа и Труд», изданной Академией педагогических наук РСФСР, под редакцией А. И. Янцова и П. Р. Атутина, Москва, 1963 г., на стр. 36 читаем следующее: «Исключительно важную роль в развитии всех сторон человеческой личности играет труд. Посильное участие школьников в труде, начиная с младших классов, имеет большое значение для умственного и физического развития, для нравственного воспитания и формирования эстетических вкусов и суждений». На стр. 44 сказано: «Уже в конце 30-х годов отрыв школы от жизни стал ощущаться настолько остро, что на 18 съезде партии в 1939 г., т.-е. два года спустя после отмены труда в школе, ставился вопрос о подготовке оканчивающих среднюю школу к практической деятельности, а в 1952 г. Сталин вернулся к идее политехнического образования».

Новый Закон о всеобщей воинской обязанности начинает новую главу в «связи школы с жизнью» и третий опыт начальной военной подготовки в истории советской школы.

Манчестер *Дуклида Вайт*

ПОЧЕМУ ПУШКИН НЕ ОКОНЧИЛ "ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ"

Как известно, «Египетские ночи» привлекали внимание многих исследователей. Это произведение рассматривалось с разных точек зрения. Делались попытки установления связи главного неоконченного отрывка с тоже неоконченными набросками повестей и поэм тематически связанных с «Египетскими ночами». Пушкинский итальянский импровизатор вызывал дискуссии о явлении поэтической импровизации, как таковой, и в связи с этим ставился также вопрос, что побудило Пушкина заняться этим сюжетом?

Я тоже интересовался этим вопросом и формулировал свои взгляды в статье «Пребывание Мицкевича в России и его дружба с Пушкиным», напечатанной по-английски.[1] В этой статье я не хочу возвращаться к вопросу о происхождении пушкинского итальянского импровизатора, об этом я высказал все в упомянутой статье.

Я не собираюсь также изыскивать связи между «Египетскими ночами» и рядом пушкинских прозаических и поэтических набросков. В данном случае я хочу говорить об ином — о том finale «Египетских ночей», который жил в воображении поэта, когда он писал это произведение и свои прозаические и поэтические варианты. Этот вопрос занимал многих пушкинистов, старавшихся выяснить то, что обычно называлось «загадкой» «Египетских ночей». Каждый, кто знаком с работами посвященными этому предмету, знает, что некоторые исследователи (В. Брюсов, М. Гофман) так увлеклись в своих исследованиях, что даже предложили возможные окончания этого произведения. Конечно, все эти попытки неизбежно носили

Эту статью В. А. Ледницкий прислал нам совсем незадолго до своей кончины. РЕД.

[1] *Mickiewicz in World Literature*, Berkeley, The Univ. of Calif. Press, 1956, pp. 69-82.

чисто спекулятивный характер. Вопрос, который я хотел бы здесь поставить, совершенно иной, хотя и моя попытка остается связанной с проблемой развязки пушкинского произведения. Моя цель, поскольку дело касается загадки «Египетских ночей»», заключается в том, чтобы найти причины, которые не позволили Пушкину закончить свое произведение. Если бы он не написал своих неоконченных набросков, связанных с «Египетскими ночами», то проблема эта, вероятно, вообще бы не возникала.

Конечно, самый простой ответ был бы тот, что Пушкин или не успел закончить свое произведение, или же потерял к нему интерес. В связи с этим допустимо, пожалуй, было бы сказать, что ученые создали всю эту проблему. Но сопоставление незаконченных вариантов, которые связаны с «Египетскими ночами», показывает, что главная тема «Египетских ночей» сосредоточена вокруг темы поэтической импровизации и роли и судьбы поэта в обществе.

Тема наброска «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» — иная: это проекция сенсационного вызова Клеопатры в современность. По-моему, импровизация пушкинского итальянского поэта на тему «Клеопатра и ее любовники» является единственным мостом между «Египетскими ночами» и этим прозаическим наброском. Допускалось, что Пушкин затруднялся сочетать эти два разных мотива в одном произведении. Но это предположение не помогает найти ответ на поставленный вопрос. Самый длинный прозаический набросок, в котором открыто ставится вопрос: — рискнула ли бы женщина современного общества поставить условия Клеопатры, требующей цены жизни за любовную ночь с ней — тоже остался незаконченным. Героиня Пушкина допускает такую возможность. Ее собеседник уходит после драматического разговора с ней и мы не знаем конца.

Можно, конечно, предположить, что если бы Пушкин даже обработал этот набросок, он мог бы сознательно воспользоваться приемом намеренного устранения развязки. Достаточно в этом случае упомянуть очаровательную и полную экспрессии новеллу Мопассана «Возвращение», хотя сюжет ее совершенно иной. Но это тоже только домысел и даже не очень убедительный. В этом смысле некоторый намек есть в наброске «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.»

Из всех исследований, посвященных «Египетским ночам» мне представляется самым ценным небольшой этюд погибшего от гитлеровцев молодого поэта М. Горлина. Этот этюд я напечатал в пушкинском сборнике, вышедшем в Кракове перед самой войной, под моей редакцией. В работе Горлина есть несколько замечаний непосредственно связанных с моими собственными домыслами и догадками, но я и не во всем согласен с выводами Горлина.

Чтобы сделать мою аргументацию яснее, я вынужден напомнить, хотя бы вкратце, содержание наброска «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» Гости собравшиеся на этом вечере занялись вопросом, кто была самая выдающаяся, удивительная и необыкновенная женщина во всемирной истории. Молодой Алексей Иваныч называет Клеопатру. Чтобы поддержать свое мнение он приводит рассказанный Аврелием Виктором эпизод, в котором говорится об условиях Клеопатры. Алексей Иваныч признается, что этот рассказ поразил его и прибавляет, что в этом месте — «сухой и скучный Аврелий Виктор силою выражения равняется Тациту». Затем он цитирует по-латыни своего автора:

«Она отличалась такой похотливостью, что часто торговала собой, такой красотой, что многие покупали ее ночь ценою жизни...»

Мы узнаем, что Алексей Иваныч предлагал знакомому поэту эту тему для поэмы. Но «он было и начал, да бросил». Далее Алексей Иваныч приводит еще несколько отрывков и стихотворных строк (тематически связанных с импровизацией итальянца в «Египетских ночах»), которые вызывают оживленные прения:

«— Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как и ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы...»

С этим замечанием присутствующие не соглашаются:

«...Этот анекдот совершенно древний; таковой торг нынче несбыточен, как сооружение пирамид.

— Отчего же несбыточен? Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того, что твердят ей поминутно: — что любовь ее была бы дороже им жизни.

— Положим, это и любопытно было бы узнать. Но каким

образом можно сделать это ученое испытание? Клеопатра имела всевозможные способы заставить должников своих расплатиться. А мы? — Конечно: ведь нельзя же такие условия написать на гербовой бумаге и засвидетельствовать в гражданской палате.

— Можно в таком случае положиться **на честное слово.**

— Как это?

— Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой день он застрелится.

— А он на другой день уедет в чужие края, а она останется в дурах».

Алексей Иваныч горячо протестует против таких предположений:

«— Да, если он согласится остаться навек бесчестным в глазах той, которую любит. Да и самое условие неужели так тяжело?»

Затем Алексей Иваныч объясняет, что если бы он действительно полюбил женщину, то не поколебался бы принять условия Клеопатры; если он готов подставить лоб под пулю в самом глупом поединке, то каким образом «я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве...»

«— Неужели вы в состоянии заключить такое условие?..

В эту минуту Вольская, которая во все время сидела молча, опустив глаза, быстро устремила их на Алексея Иваныча.

— Я про себя не говорю. Но человек, истинно влюбленный, конечно, не усумнится ни на одну минуту...

— Как! Даже для такой женщины, которая бы вас не любила? (А та, которая согласилась бы на ваше предложение, уж верно б вас не любила). Одна мысль о таком зверстве должна уничтожить самую безумную страсть...

— Нет — я в ее согласии видел бы одну только пылкость воображения. А что касается до взаимной любви... то я ее не требую: если я люблю, какое тебе дело?..»

Когда затем общий разговор переходит на другие темы, Алексей Иваныч, подойдя к Вольской, садится подле нее и спрашивает «вполголоса»:

«— Что вы думаете об условии Клеопатры?

Вольская молчала. Алексей Иваныч повторил свой вопрос.

— Что вам сказать? И нынче иная женщина дорого себя

ценит. Но мужчины 19-ого столетия слишком хладнокровны, благоразумны, чтоб заключить такие условия.

— Вы думаете, — сказал Алексей Иваныч голосом, вдруг изменившимся, — вы думаете, что в наше время, в Петербурге, здесь, найдется женщина, которая будет иметь довольно гордости, довольно силы душевной, чтоб предписать любовнику условия Клеопатры?..

— Думаю, даже уверена.

— Вы не обманываете меня? Подумайте, это было бы слишком жестоко, более жестоко, нежели самое условие...

Вольская взглянула на него огненными пронзительными глазами и произнесла твердым голосом: — **Нет.**

Алексей Иваныч встал и тотчас исчез».

Горлин выдвигал теорию, что «Египетские ночи» и связанные с ними наброски принадлежат к той же группе произведений Пушкина, что «Пиковая дама» и «Медный всадник», в которых поэт изобразил роль демонических и фантастических сил в человеческой жизни. Иными словами — к циклу произведений, в которых можно найти следы влияния Э. Т. А. Гофмана. Это приводит его к заключению, что конечная развязка ситуации, в которой оказались Алексей Иваныч и Вольская, «должна наступить вне действительного мира, в высшем плане, достижимом единственно в особенном духовном состоянии — на краю сна или даже безумия. Таким образом, подобно Герману из «Пиковой дамы», несчастному Алексею Иванычу, чтобы пережить историю Клеопатры — единение страсти и смерти — необходимо нарушить нравственное равновесие и в результате войти в связь с демоническими стихиями».

Словом, Горлин рисует финал отрывка похожий на сцену в «Пиковой даме», где умершая старая графиня является как призрак в галлюцинации Герману. Горлин думает, что кара, которая должна была постигнуть Алексея Иваныча была бы того же порядка.

Я не согласен с этими мыслями, и если бы я решился строить догадки, я бы скорее искал родственные связи между «Египетскими ночами» и наброском «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» с одной стороны и «Каменным гостем» и «Пиром во время чумы» — с другой. Я бы сказал, что демонические страсти, которые действуют в этих рассказах и в маленьких трагедиях — иной природы, чем демонические силы действую-

щие в «Медном всаднике» и в «Пиковой даме». В известной мере и Горлин отдавал себе отчет в этом различии, поэтому, когда он искал возможные развязки помимо гофмановских литературных влияний, он совершенно правильно заглянул в так называемую «френетическую» школу французской литературы, прежде всего в произведения Жюля Жанена. В своих розысках Горлин подошел очень близко к проблеме зависимости Пушкина от Жанена. Впрочем, доказать эту зависимость и не было слишком трудно, во-первых потому, что, как мы знаем, Пушкин очень высоко ценил Жанена, и его отношение к французскому писателю было много раз исследовано; во-вторых, потому, что в «Барнаве» и в некоторых других произведениях Жанена, которых Горлин не упомянул, есть эпизоды явно связанные с «Египетскими ночами». Горлин оказался очень близок к моим собственным предположениям.

Роман Жанена «Барнав» появился в 1831 году. В письме к Е. М. Хитрово «октябрь — ноябрь» 1831 года Пушкин упомянул этот роман. Загадочная фраза «mais Barnave... Barnave» вероятно выражает восхищение Пушкина этим романом. И точно, этот роман никак нельзя счесть обыкновенным. Он заключает ряд сенсационных ситуаций и эпизодов, связанных с мотивом Клеопатры. Еще раньше (апрель 1830 года) в письме к княгине В. Вяземской, Пушкин энтузиастически отозвался о Жанене.

На фоне в общем скорее скептической, критической позиции Пушкина по отношению к французской литературе его времени эта оценка романа Жанена приобретает особое значение. Не следует забывать также, что Пушкин собирался писать о «Барнаве».

Независимо от как будто-бы явной связи «Египетских ночей» с некоторыми эпизодами из «Барнава», общая позиция этого писателя в общественных и политических вопросах, которую можно установить из заявлений Жанена на тему об аристократии, о придворной жизни, о тех кто в ней участвуют, (женщины и мужчины), а также рассуждения его о нравственном падении тогдашнего общества, все это — отвечало взглядам Пушкина, особенно в тридцатых годах, когда он сам драматически переживал свои отношения с царским двором.

Я думаю также, что глава из «Барнава», («Игра»), в которой Жанен описал страсть к игре и отчаянную борьбу с роком, показав великого Мирабо вполне спокойным и улыбаю-

щимся за столом, за которым происходили не раз его самые большие поражения, должна была произвести особенное впечатление на страстного игрока, каким был Пушкин. Эта глава не могла не привлекать Пушкина своей поэзией тайных наступлений и отступлений судьбы, которой человеческая воля напрасно силится овладеть. Поэтому не только граф Сен Жермен из «Барнава» стал эпизодическим лицом «Пиковой дамы». Думаю, что и Мирабо со своей коллекцией любовных воспоминаний тоже мог бы заинтересовать обладателя «Дон Жуанского списка», не только своей страстью к игре. Приведенное в «Барнав» стихотворение О. Барбье «Жертвы» тоже должно бы было порадовать Пушкина. В его известном стихотворении, написанном жене в 1831 году, «Когда в объятия мои», я слышу созвучие с «Жертвами», не говоря уже о «Et tes baisers sont bien mordants», которые в моей памяти связываются с грузинкой из «Бахчисарайского фонтана», с ее «язвительными лобзаниями» и замечаниями Пушкина об ее поцелуях: «Моя грузинка кусается».

Что же касается Клеопатры, появляющейся в «Барнав», то мы имеем, независимо от личных высказываний Пушкина, несомненное доказательство о впечатлении, которое на него произвел этот роман Жанена. Горлин правильно подчеркивает торжественный и полный пышности, необычный для Пушкина, стиль описания пира в садах египетской королевы. От себя подчеркну — не только торжественный и орнаментальный, но и импрессионистический характер этого отрывка: обращаю внимание читателя на явно намеренное повторение слова **недвижный,** которое напоминает анафору. Привожу этот отрывок:

«Темная, знойная ночь объемлет африканское небо, Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальный Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовье спящей красавицы.

Светлы и шумны чертоги Птоломеевы: Клеопатра угощает своих друзей; стол обставлен костяными ложами; триста юношей служат гостям, триста дев разносят им амфоры, полные греческих вин; триста черных евнухов надзирают над ними безмолвно.

Порфирная колоннада, открытая с юга и севера, ожидает дуновения Эвра; но воздух недвижим — огненные языки светильников горят недвижно, дым курильниц возносится прямо

недвижною струею; море как зеркало лежит недвижно у розовых ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые сфинксы в нем отразили свои золоченые когти и гранитные хвосты... только звуки кифары и флейты потрясают огни, воздух и море.

Вдруг царица задумалась и грустно поникла дивною головою; светлый пир омрачился ее грустию, как солнце омрачается облаком.

О чем она грустит?»

Горлин не приводит сходного образца этой орнаментальной прозы, тем не менее я хочу указать, что его можно найти как раз в «Барнав», в главе XXX-ой под заглавием «Граф Сен-Жермен». Эта глава заключает описание Клеопатры, александрийской ночи и пира.

Не менее красочен в своей помпезности и отрывок того же Жанена под заглавием «Ночь в Александрии», заключающий между прочим, картину, которая несомненно отразилась в очаровательных сонетах Ж.-М. Эредиа — «Антоний и Клеопатра».

Эти наблюдения о стилистических сходствах являются моими вступительными замечаниями — и ведут к тому, что я бы назвал сутью вопроса. Последние главы «Барнав» заключают описание вечера в загородной вилле, где собралось блестящее общество (почти как у Пушкина): герой романа — немецкий князь, граф де Сен-Жермен, Мирабо, Ходерло де Лакло и много других знаменитостей, которых окружают многочисленные дамы. Граф де Сен-Жермен рассказывает историю Клеопатры и ее ночных любовных похождений — на фоне уже известного нам прекрасного описания александрийских ночей и пира. Кровавая тема Аврелия Виктора на этом вечере не была упомянута. Завернутую в шаль Клеопатру несет раб, и таким образом королева совершает свое ночное странствие по Александрии, после чего возвращается «полуживая с лиловым от ночных поцелуев лицом; но музыка ночных веяний, музыка Вакха, является возвещением смерти — пир кончается, как для умерших».

Таким образом тема любви и смерти ясно звучит в рассказе графа де Сен-Жермен: родившись тысячу лет тому назад он был очевидцем того, что тогда в Александрии происходило. После него, Ходерло де Лакло развлекает слушателей еще более страшным рассказом, который «начал Тацит, но не имел мужества его закончить». Это история двух дочерей Сеяна, которых Тиберий решил умертвить, мстя Сеяну, когда тот впал

у него в немилость. По закону девственницы не подлежали смертной казни, и тогда Тиберий приказал своему палачу Карниксу сначала изнасиловать этих девушек. Карникс, несмотря на свой преклонный возраст, исполнил полученное приказание (описание изнасилования потрясающе по своему натурализму). Но после совершения насилия он влюбился в своих жертв и умер в день их казни.

Когда Ходерло де Лакло в самом начале своего рассказа упомянул о намерении Тиберия, его прервала одна из присутствующих дам: «Довольно! не читаете ли вы нам «Опасные связи», не думаете ли вы тут встретить маркизу де Мертойл?»

Опять почти как у Пушкина. Но я прибавлю еще более разительную деталь. Уходя, Ходерло де Лакло ужасает присутствующих неожиданным вопросом: «А что вы бы сказали, если бы я оказался Карниксом?» И после этого он развивает тему о возможности превращения античного мира в современный, так как кровь и порок являются общим содержанием этих обоих миров.

Таким образом мы имеем здесь в зародыше обе самые важные пушкинские темы: сочетание любви и смерти, и проекцию Клеопатры в современный мир. Горлин заметил и указал на это тематическое родство.

Но я дополнил его аргументацию, выше приведенными деталями. Однако, и это еще не все. Приведенные цитаты и сопоставления могут служить доказательством и того, что Жанен оставил ясные следы в художественном воображении Пушкина. Но это, все-таки, не решает проблемы: почему Пушкин не закончил «Египетские ночи»?

Дело в том, что у Жанена есть коротенький рассказ под заглавием «Портрет». Начинается он с разговора автора с пожилой женщиной, «красивейшей из красивейших» во времена начала империи. Во время этого разговора, в ее доме, автор присматривается к чудесному портрету красавицы кисти Ж.-Б. Изабея. Госпожа де В. рассказывает ему историю этого портрета. Мы читаем краткое описание бравурных успехов, возвращающихся с полей сражений, офицеров, которые после военных побед покоряли женские сердца, не зная соперников ни среди женихов, ни среди мужей. (Между прочим это описание в стиле пушкинской «Метели»). Случилось, однако, что муж этой молодой красавицы, изображенной на портрете, оказался

не столь покорным по отношению к блестящему ротмистру, ухаживавшему за его женой, и этот муж погиб на дуэли с ротмистром. Молодая вдова, однако, не забыла это и решила отомстить. Прошло несколько лет; подчинившись просьбе бабушки, она согласилась на то, чтобы Изабей написал ее портрет и изобразил ее в черных траурных кружевах.

«В Лувре происходили выставки батальных картин Гроса и портретов Изабея, которым придавал блеск своим посещением сам император. Эти выставки посещали также офицеры, возвращающиеся в Париж после своих кампаний. Они мало интересовались батальными картинами, но зато громко называли имена женщин Изабея и рассказывали их любовные истории. Портрет госпожи де В. привлек всеобщее внимание, чо никто не мог отгадать, кто эта женщина? Наш ротмистр вернулся полковником. Увидя портрет, он присматривался к нему с растущим волнением и внезапно ему показалось, что портрет ему кого-то напоминает. Тогда он громко сказал своим удивленным товарищам: 'Господа! Если эта женщина подарит мне один час своей жизни, я даю честное слово, что погибну во главе моего полка через месяц'.

Он сказал это достаточно громко, чтобы его услышала одна женщина, оказавшаяся среди присутствующих. Она подошла к нему и, дотронувшись до плеча полковника, и став перед портретом так, что каждый мог ее узнать, сказала:

— Господа! Вы свидетели его клятвы? Полковник, я принимаю ваши условия.

И они медленно вышли из Лувра — она и он: и все офицеры отдали им честь, как ее отдают мертвым».

Рассказав эту историю, хозяйка сняла портрет Изабея и показала слова написанные кровью: «Что обещал, то и заплатил». Через месяц полковник был убит во главе своего полка. Так смерть мужа была отмщена.

«Но с того времени я **его** оплакиваю», — вскрикнула госпожа де В., целуя кровавую надпись на портрете Изабея».

Надеюсь, что я, может-быть, наконец убедил читателя. Мой ответ, как мне кажется, решает вопрос, почему Пушкин не окончил своих произведений связанных с этой темой — это сделал за него Жанен. Все элементы налицо. Условия Клеопатры перенесены в современный мир — мир времен Пушкина. Негодование Алексея Иваныча, вызванное высказанными со-

мнениями, сдержит ли любовник свое честное слово — получило выразительное подтверждение. Утверждение госпожи Вольской, что «нынешние» мужчины слишком холодны и рассудительны, чтобы пойти на такого рода условия — оказалось опровергнуто. Ее сомнение, заплатит ли мужчина своей жизнью за любовную ночь с женщиной, которая его не любит — оказалось развеянным, а ее убеждение, что женщина, которая предложит подобные условия своему любовнику не может его любить — получило точное подтверждение — госпожа де В. приняла условия полковника, руководясь только жаждой мести.

Но и это еще не все. Заключение Жанена (впрочем, явно связанное с историей Карникса) и является заключением, долженствовавшем особенно привлечь Пушкина. Возможно поэтому, что и госпожа Вольская, которая твердо сказала Алексею Иванычу, что она его не вводит в заблуждение и что решится на предложение своему любовнику условий Клеопатры, несмотря на то, что они являются отрицанием любви — кончила бы также как госпожа де В., оплакивая Алексея Иваныча, если бы он сдержал свое слово.

Литературные мистификации Пушкина хорошо известны. Я сам писал по этому вопросу в разных своих работах посвященных поэту. Гости на даче у княгини Д., говоря на тему о современной Клеопатре и о новых нравах, упоминают Жорж Занд, Антония, Александра Дюма, и «Физиологию супружества» Бальзака. Но это скорее всего обманчивые, предостерегающие сигналы. Не там нужно искать разрешения загадки. Тот, кого следовало бы упомянуть: Жанен — не упомянут.

Несмотря на все эксцессы «френетиков» и экзальтацию этих романтиков, любящих сильнодействующие контрасты, которые, конечно, характеризуют предтечу этой школы, самого Жанена, остающегося в полном противоречии с лапидарным суровым искусством Пушкина, экспрессивные ситуации и психологические контрасты этих произведений его несомненно привлекли.

В начале статьи я подчеркнул спекулятивный характер моих выводов. Теперь, заканчивая ее, я еще более их поколеблю. К сожалению, несмотря на многолетние розыски и консультации в Парижской национальной библиотеке, мне не удалось установить дату, когда впервые вышел в свет рассказ «Порт-

рет». К сожалению, полное издание произведений Жанена, а также существующие богатые библиографии не указывают даты этого произведения. Но ввиду того, что вокруг «Египетских ночей» развернулась большая дискуссия, побудившая некоторых даже написать окончание «Египетских ночей», и так как эта тема связана с проекциями и ассоциациями в границах тысячилетия, то, может быть, и я имею право в данном случае вдохновиться ролью графа де Сен Жермен, хоть и в гораздо меньшем временном масштабе.

Читал ли Пушкин «Портрет» или нет, это — в конце концов неважно. Если Брюсова и Гофмана забавляли их собственные финалы «Египетских ночей», то может-быть и я могу попробовать при помощи Жанена и странствуя в этих эмпиреях — дать предположительное объяснение, почему Пушкин не окончил «Египетские ночи».

В. Ледницкий

О РУССКОМ МЕССИАНИЗМЕ

ЗАМЕТКИ*

Статья князя Евгения Трубецкого носила заголовок — «Старый и Новый национальный мессианизм». Была она помещена в 1912 г. в книге третьей журнала «Русская Мысль», редактируемого П. Б. Струве. Я набрел на нее, копаясь в этом журнале за годы 1908-1913, и прочитал ее с большим интересом и с тем новым чувством, новым убеждением, которые были во мне в зародыше, когда я читал эту статью впервые сорок восемь лет тому назад.

«Едва ли, писал Е. Трубецкой, найдется какое-либо другое человеческое чувство, которое бы в наши дни подвергалось более глубоким изменениям чем чувство национальное. После целого ряда огненных испытаний, через которые оно прошло, мы переживаем его совершенно иначе, чем прежде. Оно изменилось в чем-то основном и чрезвычайно важном. И оттого-то все старые формы, в которых оно прежде выражалось, кажутся нам глубоко неудовлетворительными. В области мысли есть увядание мотивов окончательно неприемлемых для современного уха. И в их числе одно из первых мест занимает идея русского национального мессианизма. В дни молодости моей она заставляла биться сердце совершенно также, как музыка «Жизни за Царя». А теперь, когда приходится слышать новейшие вариации на ту же некогда любимую тему, испытываешь мучительное чувство *неловкости*. К великому нашему счастью нам дано распознавать фальшивую ноту, которой наши предки раньше не чувствовали. В известном народном пересказе беседа Христа с самаряшкой передается буквально так: «Она ему говорит — как же я Тебе дам напиться, когда ты еврей, а Он ей в ответ: врешь, говорит, я чисто русский». Рассказ этот всегда неизменно вызывает снисходительную улыбку по адресу темного, безграмотного простого

---

* Эти заметки покойного Н. В. Вольского (Валентинова) не были опубликованы. Мы получили их от В. Н. Вольской. РЕД.

народа. Между тем он выражает собою сущность той национально-мессианистской психологии, которая, быть-может, еще в большей степени увлекала людей высокообразованных и культурных. Так или иначе русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении *русского Христа,* в более или менее тонкой руссификации Евангелия. Существенная черта национального мессианизма заключается в национальной исключительности религиозного сознания. В этом и есть причина, почему в наши дни мессианизм принадлежит к числу мотивов увядших. Увядание есть роковая судьба всякого растения, оторванного от корня. Бытовой корень нашего национального мессианизма скрывается в отдаленном прошлом русской жизни, в таких настроениях и чувствах, которые уже давно и безвозвратно канули в вечность. Раньше нас были другие времена и другие поколения, которые не чувствовали противоречия в идее «русского Христа». Этой иллюзией дышала до-петровская Русь. Было время когда наши предки жили мечтою о «третьем Риме», призванном спасти и обновить мир. После падения второго Рима — Константинополя — «третий Рим» — Москва возомнила себя единственным в мире убежищем правой веры и благочестия. В это время православная Русь считала себя единственной обладательницей Христа и христианства. Говоря словами В. О. Ключевского, органический порок древне-русского церковного общества заключается в том, что «оно считает себя единственным истинно-правоверным в мире, свое понимание Божества исключительно правильным, Творца вселенной представляло собственным русским Богом». Хомяков мог верить в Россию как единственную в мире спасительницу народов. Он проводил знак равенства между вселенским и «православным», а на место православного так или иначе подставлял русское. Однако, у Хомякова в этом отношении были колебания: стертая граница между вселенским и русским у него от времени до времени восстанавливалась. Она исчезала окончательно у Достоевского, который должен быть признан наиболее типичным выражением русского национального мессианизма. По Достоевскому обновление человечества в будущем совершится «одной только русской мыслью, русским Богом и Христом». Именно в России совершится новое пришествие Христово. Народ русский «на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога», ему одному «даны ключи жизни и нового

слова». Каковы бы ни были недостатки старо-русского национального мессианизма, у него, по сравнению с мессианизмом новейшим, было одно несомненное преимущество — преимущество цельности и последовательности: его сторонники могли дать ясный отчет в своем уповании. На вопрос чем удостоверяется особое избрание и особая близость России к Христу, наши отдаленные до-петровские предки могли отвечать словами инока Филофея, обращенными к великому князю Василию, отцу Ивана Грозного: «соборная церковь наша в твоем державном царстве одна теперь паче солнца сияет во всей поднебесной, все православные царства собрались в одном твоем царстве; на всей земле один ты христианский царь». Так же и Хомяков, и Достоевский могли совершенно ясно ответить почему для них «народ православный» — «превыше всех сынов земли». Равным образом и Соловьев в средний период своего творчества мог обстоятельно и точно объяснить почему из всех народов в мире один народ русский есть народ «царский», призванный утвердить на земле царствие Божие в форме святой государственности и общественности. Этой ясности недостает современным поборникам национально-мессианской идеи. Обрушились не только стены старого горделивого строения. Самый его фасад по ветхости своей и узости пришел в негодность и стал неприемлем для современного религиозного сознания».

Попытки продолжать традиции национального мессианизма Ев. Трубецкой видел в книге «Два Града» Булгакова и в книге Бердяева о Хомякове, ставшей для этого автора отправным пунктом эсхатологически-мессианского суждения о призвании России, взгляда, которому Бердяев остался верен до конца своей жизни (см. его «Русскую Идею»). К обеим этим опытам Е. Трубецкой относился с большим осуждением, находя их крайне неудачными. Он изобличал «ложь всяческого национального мессианизма». «Нас слишком долго держали в убеждении, что русский человек не просто человек с определенными конкретными чертами расы и народности, а всечеловек объемлющий черты всех национальностей». Русская религиозная идея должна быть очищена от фантастических примечаний и «первый шаг в этом направлении должен заключаться в отречении от русского национального мессианизма».

Должен сказать, что уже тогда, т. е. в 1912 году, я с большим скептицизмом отнесся к убеждению Трубецкого, что идея рус-

ского мессианизма, взлетевшая в начале 16 века, окончательно увяла и никакого прочного фундамента под собою уже не имеет. В двух течениях русской общественной мысли — византийско-восточном и западнически-европейском («овии смотрят на Запад, а овии на Восток», — говорил дьяк Тимофеев). В последнем я не видел водружения идеи для меня непереносимого национального мессианизма, но другое течение по моему убеждению в самом себе, в своей глубокой сущности несло самые опасные по своим последствиям «филофейские» настроения и идеи, конечно, с течением времени принимавшие формы не имевшие как будто никакой связи с отброшенным пунктом русского мессианизма, с посланием псковского инока. Например, Гоголь был несомненным русским мессианистом, однако у него ни разу нет даже мимолетной ссылки на Филофея. Кажется, нигде не было ссылки и у другого такого же мессианиста — Хомякова. Вся мессианистская концепция Достоевского насквозь пропитана филофейскими мотивами, но я не помню ссылался ли он когда-либо на автора знаменитых посланий к великому князю Василию. Опрокидывание национального мессианизма, производимое кн. Ев. Трубецким, по характеру своих аргументов, ссылками, например, на апостола Павла и разные части Нового Завета — мне было чуждо, но помню, что я обеими руками ухватился за его статью по соображениям совершенно особого рода.

В 1911-1913 г.г. я работал в «Русском Слове» самой распространенной дореволюционной газете в России. Во время войны ее тираж значительно превышал миллион экземпляров. Издатель газеты, ее главный пайщик — И. Д. Сытин, почти неграмотный человек, самородок-организатор с изумительным размахом и настойчивостью, сумел материально поставить на ноги самую большую в России газету, и самое большое издательство, в частности, всяких учебников и книг для школ. Вмешательство его в газету осуществлялось больше всего чрез Ф. И. Благова, женатого на его дочери и потому получившего чин редактора газеты. Но Сытин смотрел на Благова не как на редактора, а как на своего приказчика в редакции, обязанного во всех отношениях «охранять» газету. В течение многих лет фактическим редактором был В. М. Дорошевич, превосходный, но несколько бульварный газетчик, привлекший внимание широкой публики своими фельетонами, в которые он ввел «короткую строчку», иногда в два и даже одно слово. С Сытиным он находился в пер-

манентной ссоре, а Благова абсолютно игнорировал, смотрел на него как на пустое место. Отношения между этими лицами в 1910 г. настолько обострились, что Дорошевичу пришлось уйти из газеты. Однако Сытин, суеверно считавший, что тираж газеты от полного ухода из нее Дорошевича, может пасть, после нескольких месяцев колебаний предложил ему вернуться в редакцию с увеличением его жалования до 48 тысяч рублей в год (огромная сумма!), но вместе с тем с установлением новых и довольно странных условий его работы. Дорошевичу, жившему в Петербурге, предлагалось писать фельетоны (назначено было какое-то небольшое число), а приезжать в Москву лишь несколько раз в год, в общей сложности всего на пять месяцев, чтобы «оживлять» газету, «делать ее более интересной», «вносить в нее новое». Но кто же должен фактически вести газету, когда Дорошевича нет? Благов на это совершенно не был способен. Он не был в состоянии написать даже маленькую статью, а когда ему нужно было править какую-нибудь заметку или статью — он просто выковыривал из них «опасные» слова. После некоторого безлюдья, отсутствия «командира», вызвавшего настоящую анархию в редакции, на амплуа фактического редактора был приглашен И. Р. Кугель, редактор лучшей газеты юга — «Киевской Мысли». По разным причинам, которые мне почти не ведомы, (сам Кугель о них молчал) соглашение с ним расстроилось. Он даже не приступал к работе и ему была уплачена огромная неустойка (40 тысяч рублей!), часть которой Кугель вложил в организацию в Петербурге газеты «День». Вместо Кугеля официально в качестве помощника Благова был приглашен я. Приглашение было сделано без всякого извещения Дорошевича и тот приехав в Москву в конце 1911 года отнесся ко мне сначала почти враждебно, всячески явно подчеркивая желание меня миновать, ко мне не обращаться. Мои недоброжелатели ему немедленно передали, что я называю его монгольским Хутухтой. Но это не ухудшило наших отношений. Наоборот. Однажды ко мне подошел сторож и таинственно приблизившись к моему уху тихо прошептал: «Вас просят к себе господин Хутухта». Я молча встал и отправился прямо к Дорошевичу, который меня встретил хохотом и приглашением ехать завтракать в «Прагу». Когда он увидел, что я не принадлежу к пресмыкающимся ни перед ним, ни перед Сытиным, ни перед Благовым — наши отношения на-

столько улучшились что в начале 1912 г. в той же «Праге» он передал мне в следующем виде «ключи от редакции».

«На газетном поле я достаточно повоевал и погоны генерал-лейтенанта заслужил. Теперь возня с газетой, приезды в Москву меня утомляют, да по правде сказать, все это интересовать меня перестало. Мне время тлеть, а вам цвести, поэтому передаю вам ключи от редакции, мои права и обязанности». В сущности с этого момента Дорошевич почти перестал приезжать в Москву. И так продолжалось до осени 1913 г., когда у меня произошла с ним острая стычка по поводу его холопской статьи о 300-летии дома Романовых и я, со злобой хлопнув дверью, ушел из «Русского Слова», к чему уже меня вела моя психология: желание надолго отдохнуть от адской, изнуряющей редакционной работы. До этой ссоры, в которой, каюсь, я был до неприличия резок (в 1917 г. после революции Дорошевич первый приехал ко мне мириться) — никаких даже малейших столкновений между нами не было. Дорошевич получал свои 48 тысяч, изредка присылал фельетоны, жил в Петербурге, потом в Севастополе, где у него был дом, уезжал на автомобиле заграницу, слал оттуда моей жене остроумные письма, подписываясь «Мохнатый», а мне не написал ни одного письма с вопросами что делается в редакции.

Почему я вошел в редакцию «Русского Слова»? Не потому что гнался за большим гонораром. Когда Кугель покинул "Киевскую Мысль», ее издатель предлагал мне занять его место, а я предпочел уехать в Москву. Соблазнял меня огромный тираж «Русского Слова», и его способность информации с помощью обширной, в таких размерах ни в одной русской газете не существующей сети иностранных и российских корреспондентов. (Энергичнейшим корреспондентом «Р. С.» из Берлина был И. М. Троцкий. Он здравствует и поныне, сотрудничая в «Нов. Рус. Слове»). Меня увлекала мысль из «Рус. Слова» — этой политически вечно хромавшей газеты (Дорошевич этого не чувствовал) попытаться сделать уважаемый, с большим весом, демократический орган. Но прежде чем войти в «Р. С.» — я счел нужным узнать мнение о том лиц, суждения которых меня интересовали. Е. Д. Кускова — та сразу сказала: «Конечно, входить, безусловно входить! И главный вопрос здесь не сколько дадут жалованья, а сколько получите 'прав'». Иного мнения был А. Н. Потресов, лидер меньшевиков — ликвидаторов, редактор журнала «Наша Заря» в Петербурге. В объявлениях в его жур-

нале я был указан как сотрудник, но ничего в журнал не писал. «Сытинская газета, сказал он, богатое, чисто капиталистическое предприятие. Далее половинчатого либерализма, Сытин рисковать не захочет. Уверен, что из ваших попыток и проб трансформировать газету — ничего не получится. Входить в редакцию «Р. С.» по-моему не следует. Если вообще нужно было выбирать — «Р. С.» или «Киевская Мысль» — я, разумеется, выбрал бы последнюю».

Можно ли сказать, что из моего участия в «Р. С.» — ничего не получилось? Без всякой похвальбы скажу, что за время работы в нем я многого достиг. В газету вошел совершенно новый для нее состав сотрудников. Профессора (с известным именем), компрометировавшего газету явной рекламой магнатов промышленности, я удалил и заместил почтенным профессором Исаевым, в то время весьма симпатизировавшим меньшевикам. Вытеснив долголетнего передовика «Рус. Слова», весьма склонного к взяткам, я заменил его меньшевиком Даринским, киевским журналистом. Писать экономические и финансовые статьи я пригласил приват-доцента Бернацкого (будущий министр у Врангеля) — он был тогда меньшевиком. Для статей по земскому и городскому делу мною был приглашен меньшевик Б. Веселовский, а для статей по кооперации меньшевик З. С. Стенсель-Ленский. Стремился ли я такими приглашениями превратить «Русское Слово» в меньшевистский орган? Думать, что я этого хотел — глупо, хотя кое-кто из Петербурга писал доносики Сытину и указывал, что я будто бы, состоя членом Центрального Комитета соц.-дем. партии именно этого хочу. Никогда я в партии никакого высокого положения не занимал и если был меньшевиком, то, по моему собственному суждению и по суждению настоящих меньшевиков, был всегда — очень плохим меньшевиком и самым крайним «ликвидатором». Но мне нужно было влить «демократическую» кровь в газету. К кому же для этого я должен был обращаться?

Но «управление» таким «Левиафаном» как «Русское Слово» было, повторяю, совсем не легким делом (кстати — прибывший в 1912 или 1913 г. в Москву сотрудник нью-иоркского «Геральд Трибюн» был поражен чисто «американской» работой газеты). Нелегко и потому, что через газету с помощью ее, издатель, поистине гениальный безграмотный И. Д. Сытин, хотел проводить свои некоторые коммерческие предприятия,

а с некоторыми из них, так же как с политическими обещаниями, которые он делал министрам — нужно было бороться. Было и другое. Придя в газету, ведь я не мог разогнать (двух я все-таки удалил) всех неподходящих, на мой взгляд, сотрудников и заменить их какими-то «левыми». С полученным в «наследство» составом сотрудников нужно было считаться. Например, статьи по внешней политике писал очень сведующий в этой области человек В. Г. Михайловский (он вместе с тем заведывал и статистикой Городского Управления Москвы). А человек он был опасный. На восточную славянскую часть Европы он смотрел вроде как на вотчину России. Ненавистную «лоскутную» Австро-Венгрию он хотел бы разрушить, чтобы освобожденные от немецкого и венгерского ига славянские народы во главе с Чехией вдвинуть в орбиту полного влияния России. Турцию он также хотел разрушить и водрузить крест на Айя-Софии. Мне приходилось выколачивать ярый национализм из его статей и я всегда чувствовал, хотя он молчал, что это совсем не по душе Ф. И. Благову. При «Рус. Слове», в качестве самостоятельного издания (отношения к нему я не имел), выходил иллюстрированный журнал «Искра», который составлял серб Бойович. В «Рус. Слове» он играл ту же роль, что знаменитые черногорские княгини Милица и Анастасия при царской фамилии. Он тоже всемерно «науськивал» Россию на военный разгром Австро-Венгрии, чтобы на очищенном месте построить «Великую Сербию». К нашептыванию Бойовича Ф. И. Благов весьма прислушивался: он считал долгом России стоять за братьев-славян. Быть всегда на стороже, чтобы пресекать ультра-националистические повороты, обязывало и многое другое и в частности вот что. В иностранном отделе «Рус. Слова» принимал и обрабатывал телеграммы, заказывал статьи, получал их от собственных корреспондентов — Аврех и Орлов. Аврех до этого долгое время был корреспондентом «Рус. Слова» в Тегеране. По разным причинам он возненавидел Персию. Большой циник он говорил, что существование этого ни на что негодного «народца» бок о бок с Кавказом — есть какое-то глупейшее историческое недоразумение. По его убеждению, Россия, конечно, при первом же удобном случае должна Персию захватить.

Из всего, что я очень кратко изложил — будет понятно почему в 1912 г. я с таким удовольствием прочитал статью Е. Тру-

бецкого, бичующую мессианский агрессивный национализм (вегетарианского мессианизма, особенно у больших наций, нет в природе, он всегда с ножем!) и немедленно подсунул ее Ф. И. Благову, к слову сказать, до журналов никогда не дотрагивавшегося. Я, конечно, не сказал ему, что она прямо касается его базарного национализма и бьет его, а представил ее как доказательство, что «вам, Федору Ивановичу, и мне нужно быть особенно зоркими при правке, чтобы не получить от такого религиозного человека как уважаемый князь Евгений Трубецкой упреков в пропаганде мессианских националистических разжиганий войны, захватов чужих территорий и тому подобных пакостей». Статью Благов прочитал и мне вернул ни одного слова при этом не промолвив.

Н. Валентинов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

АНДРЕ МАЗОН

13 июля 1967 года французская наука понесла большую потерю: скончался профессор Андре Мазон (для русских Андрей Альбинович) в возрасте 85 лет. Долгие годы покойный стоял во главе французской славистики, которая была ему обязана своим расцветом за последние полвека. Благодаря его неутомимым усилиям был создан в Париже в 1921 году Институт славяноведения и при нем славистическая библиотека, ставшая одной из самых богатых в Западной Европе. За сорок пять лет своего существования Институт выпустил, под редакцией проф. Мазона более ста ценных научных изданий и сорок шесть томов журнала «Ревю де з'этюд слав», одного из ведущих славистических органов Европы. В полном смысле этого слова проф. Мазон был патриархом славяноведения, и не только французского. В своих научных трудах он уделял главное место русским темам, литературным и лингвистическим, и его смерть является потерей также и для русской науки. Кроме русского языка и литературы, проф. Мазон работал также в двух других культурных областях — чешской и македонской — и конечно был в курсе проблем славяноведения вообще. В настоящей заметке, однако, будут указаны только его заслуги перед русским языкознанием и русским литературоведением. Заслуги эти бесспорны и достаточно внушительны.

Как всякий молодой европейский славист начала этого века, Мазон, после окончания университета в Париже, провел некоторое время в русской научной среде, в Петербурге, где его учителями были Шахматов и Венгеров. Его первый академический пост был также в России: с 1905 по 1908 год он был лектором французского языка в Харьковском университете. За это время он подготовил свою первую книгу о русских глагольных видах,[1] которыми, кстати сказать, тогда еще мало интере-

[1] "Morphologie des aspects du verbe russe" (1908).

совались в России, но которые всегда являлись камнем преткновения для иностранцев. Позже он отказался от некоторых положений этой книги. Его вторая книга[2] о глагольных видах (бывшая его т. наз. «дополнительной» докторской диссертацией) посвящена их употреблению и представляет собой собрание тонко комментированных видовых конструкций и, несмотря на полувековую давность, не утратила до сих пор своей ценности. В самом конце первой мировой войны Мазон, служивший переводчиком во французском флоте, был послан в Россию и в конце концов очутился в Бутырской тюрьме, где просидел несколько месяцев в 1918 году. Это было идеальное место для наблюдений над теми новыми словами и словечками, которые хлынули в русский язык во время войны и революции. Они собраны в его небольшой книжке,[3] вышедшей в 1920 году. Русскому языку посвящено также несколько небольших статей.

Но языковедение не стояло в центре интересов Мазона. Оно было для него как бы подготовительным этапом для его трудов по литературе. Для него, как для высоко-образованного француза с широкой и солидной гуманистической культурой, язык был прежде всего средством выражения человеческих ценностей, эстетических и интеллектуальных. Поэтому для него было совершенно неприемлемо то течение современной лингвистики, которое пытается свести изучение языка к безличной регистрации механических процессов. Сама заносчивость сторонников этого течения служила Мазону лишним доказательством его очевидного упадка и недоброкачественности.

Его труды в области русской литературы разнообразны и солидны. Его докторская диссертация[4] все еще является одной из лучших книг по Гончарову, которым Мазон впоследствии, впрочем, больше не занимался, перенеся свое внимание на Тургенева. Ему посчастливилось найти путь к значительному рукописному наследию писателя, хранившемуся у потомков Полины Виардо. Мазон дал подробное описание этих рукописей, снабдив их обширными выдержками.[5] В следующем году эта

[2] "Emplois des aspects du verbe russe" (1914).
[3] "Lexique de la guerre et de la révolution en Russie".
[4] "Un maître du roman russe: Ivan Gontcharov" (1914).
[5] "Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev" (1930).

книга вышла в русском переводе в Москве в издании «Академия». Среди парижских рукописей Тургенева находилось несколько дотоле неизвестных «стихотворений в прозе», которые престарелый писатель, повидимому, вообще не собирался печатать, но, вероятно, не успел уничтожить: умирающие писатели, как известно, не думают о будущих историках литературы. Эти Senilia, как их называл сам Тургенев, были изданы Мазоном в том же 1930 году.[6] Позже Мазон дал первое полное издание всех «стихотворений в прозе»,[7] с французским переводом и примечаниями. Несколько статей, основанных все на том же рукописном наследии, дополняют названные труды. Кроме Тургенева, Мазон интересовался Львом Толстым, но тут результаты его трудов менее значительны: несколько статей, издание с французским переводом и примечаниями четырех Книг для чтения (1951), а также издание, тоже с переводом и примечаниями «Бабьей доли» (1945). Последний рассказ написан собственно Т. А. Кузьминской, но исправления и дополнения Толстого в нем настолько существенны, что его можно считать соавтором.

Занимался Мазон и фольклором, но гл. обр. македонским. Все же следует отметить его исследования о двух из наименее ясных русских былин — о Микуле Селяниновиче и Святогоре. В полном согласии с французской литературной традицией, Мазон считал фольклор лишь «так наз. народной литературой»: между ним и художественной литературой он не видел принципиальной разницы.

Древнерусская литература всегда привлекала внимание Мазона. Он посвятил несколько небольших исследований различным памятникам, как Апокриф о Китоврасе и Соломоне, Троянская притча, Слово об Александре старом, Повесть о Горе Злочастии. В Париже ему удалось напасть на след считавшейся утерянной первой русской пьесы XVII века, «Артаксерксово действо». Найденная им парижская рукопись содержала не только русский текст (правда, без одного действия), но и немецкий оригинал пастора Грегори. Мазон ее издал совместно с Ф. Кокроном.[8] Вскоре после этого была найдена в Советском

---

[6] "Nouveaux poèmes en prose d'Ivan Tourguénev".

[7] "Poèmes en prose d'Ivan Tourguénev" (1946).

[8] "La Comédie d'Artaxerxès" (1954).

Союзе другая, полная рукопись действа, но без немецкого оригинала, и издана в Москве.

В области древнерусской литературы имя Мазона, однако, останется связанным с его трудами о «Слове о полку Игореве». Ему, с его отличным знанием древнерусской литературы, типично французским чувством меры и изощренным вкусом, было все труднее принимать официальную версию о возникновении этого, во многих отношениях странного и как бы выпадающего из древнерусской литературной традиции, произведения в XII веке. Изучая во всех деталях «Слово», он пришел к заключению, что для него не остается иного выхода, как присоединиться ко всем тем, кто до него сомневался в древности этого памятника, и считать «Задонщину» прототипом «Слова», а не наоборот, как того требовала официальная доктрина. Для него «Слово» было произведением XVIII века. Свои аргументы Мазон изложил в серии статей, которые потом собрал в книгу;[9] за книгой последовал еще ряд статей. Как и следовало ожидать, на него обрушилась волна патриотического негодования, как официального советского, так и эмигрантского, причем волна эта несла не только традицию, внушавшуюся со школьной скамьи, но у многих и опасения за их установившуюся научную репутацию. Конечно, были отдельные голоса и чисто научной объективной критики, но общая атмосфера возникшей дискуссии была все же отравлена с самого начала и не могла привести поэтому к плодотворным результатам. До сих пор ни той ни другой стороне не удалось привести окончательных и неоспоримых доказательств своей правоты. Мужественная попытка Мазона все же дала толчок более интенсивному изучению «Слова», о чем свидетельствует большое количество статей доказывающих, или пытающихся доказать, приоритет «Слова» по отношению к «Задонщине». Но самое количество этих статей и их часто раздраженный и не всегда корректный тон не могли не казаться подозрительными Мазону и только лишний раз убеждали его в его правоте. У него всегда были открытые сторонники, но перед смертью он был уверен, что непредубежденное и не высказывающееся пока большинство славистов медленно склоняется на его сторону. У него появились новые единомышленники, даже в твердыне официальной доктрины — СССР. С работой одного из них, А.

[9] "Le Slovo d'Igor" (1940).

А. Зимина, он имел возможность ознакомиться в Москве в машинописи (до сих пор, увы, не разрешенной к печатанию). Надо надеяться, что разбушевавшееся море войдет снова в берега, и нормальная научная дискуссия станет возможной. К такой дискуссии Мазон всегда стремился, и не его вина, если она часто подменялась (правда, не всеми) плохо прикрытым раздражением, столь непонятным вежливому и сдержанному ученому, воспитанному на блестящей гуманитарной традиции строго рационалистической французской науки.

Б. Унбегаун

В. Л. ПАСТУХОВ

Казалось бы, все это было совсем недавно, а на самом деле уже 18 лет тому назад. 1949-ый год; квартира Марии Самойловны Цетлиной на 72-ой улице нью-йоркского Запада была тогда одним из центров культурной жизни русского Нью-Йорка. Здесь собиралась Лига: А. Ф. Керенский, В. Зензинов, Б. Николаевский, Г. П. Федотов и др. Здесь иногда заседал Литературный фонд. Здесь устраивались собрания «Нового Журнала», под председательством М. М. Карповича, бывали Р. Б. Гуль, Н. Н. Берберова и др. Раза два в месяц собирались поэты: И. Елагин, О. Анстей, Л. Алексеева, И. Левин и др.

У Марии Самойловны я впервые встретил Всеволода Леонидовича Пастухова. В начале 50-х г.г. мы с ним виделись очень часто. Замечательный пианист, он часто играл на рояле у М. С. Бывал я и на его нью-йоркских концертах.

— Пастуховы — старый ярославский род, во мне нет ни капли нерусской крови! — говорил В. Л. — Но я везде чувствую себя как дома... или же я нигде не дома и, поэтому, мне легко... и он заразительно смеялся.

В обществе В. Л. был незаменим. Очаровывала его приятная светскость, его благожелательная простота в разговоре с любым собеседником.

— В музыке вы ровно ничего не понимаете, — говорил он мне. Но это был не заслуженный упрек музыканта, пианиста. В. Л-ча только смешил собеседник, путающий Шуберта и Шумана, и немузыкальному участнику очередного диалога с ним, тоже делалось смешно.

Лучше я прочту вам стихи:

Все забыть и запомнить одно лишь,
Что Архангельск не так уж далек...

— Кто написал? Угадайте! Слышали о Рюрике Ивневе? Его совсем забыли, а встречаются у него стихи удивительные.

Позднее В. Л. написал воспоминания об Ивневе. Этот очерк был помещен в «Опытах». Вместе с Р. Н. Гринбергом В. Л. Пастухов редактировал первые три выпуска этого журнала (1953-54).

В Петрограде В. Л. бывал в музыкальных кругах, а также и в литературных — встречал Кузмина, Гумилева, Г. Иванова, И. Одоевцеву и мн. др. В. Л. прекрасно читал стихи — всегда улыбаясь, но с какими-то щемящими интонациями в конце строки, особенно в женских рифмах:

Ах, повторять мне одно лишь осталось:
Жалость и нежность, нежность и жалость...

Это его стихи, и они мне навсегда запомнились.

У Анненского **грузный полет** в поэзии, а у Пастухова **хрупкий полет,** — так он назвал свой второй, недавно опубликованный сборник. Название это возникло по ассоциации с тем зимним стихотворением Анненского, где «этот нищенский, синий и заплаканный лед». А у Пастухова полет быстро тающих снежинок, оттепель.

Не мне судить об игре Пастухова-пианиста. Но, помню, меня потрясло его исполнение Скрябина на вечере в Харвардском университете.

— Знаю, знаю, Скрябин теперь не в моде, но его еще будут играть, его музыка возродится... — говорил В. Л.

Последние десять лет В. Л., вместе с женой, Риммой Павловной, жил под Нью Йорком, в Дугластоне. К нему иногда заходили американские аспиранты-слависты. Помню, один из них как-то сказал: акмеистических манифестов В. Л. не помнил, вообще скептически относился к теории литературы, но зато, в беседе с ним, я, действительно перенесся в Петербург 1913 г., ощутил цвет и запах той эпохи, и я очень благодарен ему за это путешествие в Серебряный век....

«Хрупкий полет» окончился в жизни, но еще длится в воспоминаниях и в некоторых стихах В. Л.:

Так искрятся и светятся, летя,
Рои снежинок бело-неневестных...

Юрий Иваск

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ЛИТЕРАТОРА Ю. В. МАЛЬЦЕВА К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН г-ну У-ТАНУ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
г-ну У-ТАНУ
Нью-Йорк, США

Уважаемый господин секретарь,

я обращаюсь в Вам за помощью в то самое время, когда правительства стран, представленных в ООН, в том числе и Советское Правительство, торжественно объявили 1968 год Международным годом прав человека, я возлагаю мою последнюю надежду на Вашу помощь, потому что вот уже четвертый год я безуспешно пытаюсь осуществить одно из основных прав человека.

Статья 13 пункт 2 Всеобщей декларации прав человека

Мы получили копии этих заявлений Ю. В. Мальцева с оказией из СССР и считаем общественно необходимым опубликовать их. В нашем журнале мы публикуем их без ведома автора. Обращение Ю. В. Мальцева (и приложения к нему) мы переслали г-ну У-Тану. РЕД.

гласит: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную», а в статье 15 пункт 2 говорится: «Никто не может быть произвольно лишен права изменить свое гражданство». Советское Правительство официально признает эту Декларацию, более того оно считает возможным протестовать, когда другие государства не выполняют декларацию прав человека, один из таких протестов в частности появился совсем недавно в связи с нарушением прав человека военным правительством Греции. Орган Советского Правительства, газета «Известия», постоянно высказывается за строгое соблюдение Декларации прав человека (см. например, «Известия» от 10 декабря 1965 г. или «Известия» от 9 декабря 1967 г.). Но несмотря на все это меня вот уже четвертый год советские власти насильно удерживают в этой стране и четвертый год Верховный Совет СССР заставляет меня насильно числиться гражданином СССР.

Еще 15 декабря 1964 года я заявил Верховному Совету СССР о моем отказе от Советского гражданства и о намерении эмигрировать из Советского Союза. Я хочу уехать из этой страны, так как будучи литератором, я лишен возможности заниматься здесь своим делом. Я не приемлю официальной советской идеологии, я не верю в коммунизм — он представляется мне нереальной абстракцией — и поэтому в стране, где провозглашен обязательный принцип коммунистической партийности в искусстве я обречен на духовное уничтожение. Без возможности высказывать свои убеждения мне остается только рабское, чисто животное существование, недостойное человека.

Мои попытки выехать из страны в качестве советского гражданина также были безрезультатны. Я дважды, в 1960 и в 1966 году, получал официальные приглашения посетить Италию от директора Миланского Пикколо театра синьора Паоло Грасси, но оба раза мне было запрещено выехать из СССР.

Господин секретарь, Организация Объединенных Наций, которую вы возглавляете, при создании поставила себе благородную цель «вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности», как объявили об этом двадцать два года назад представители свободолюбивых народов. В уставе ООН, который ратифицирован также и советским правительством и положения которого являют-

ся нормами международного права, обязательными для всех его подписавших, ясно и определенно говорится об «уважении и соблюдении прав человека и основных свобод для всех». (статьи 55 и 56 Устава ООН).

Если лично Вы, господин секретарь, или при Вашем посредничестве Комиссия прав человека ООН не предпримите ничего для того, чтобы помочь мне осуществить мое право свободного человека, не будут ли тогда все слова о правах и свободах лишь чистейшей демагогией и даже просто надругательством над беспомощным, бессильным и бесправным существом, каким является на самом деле человек, находящийся в положении подобном моему?

Я надеюсь, что Вы, господин секретарь, правильно поймете чувства, которые руководят мною: это не преувеличенное мнение о собственной персоне или чрезмерное самолюбие человека, бесцеремонно решившего обратиться в столь высокую международную организацию с личной просьбой. Нет. Я столкнулся с несправедливостью, насилием и произволом, прикрывающимся лживыми заверениями и ханжескими обещаниями, и у меня есть все основания полагать, что точно в такое же положение попадает всякий человек, который подобно мне захотел бы уехать из этой страны, потому что советские власти не придумали специально для меня одного свои правила, согласно которым они действуют. Я хочу на деле осуществить свое право, на словах признаваемое Правительством, и я хочу, чтобы точно так же это право мог осуществить любой человек в этой стране. Борясь за себя и за свою свободу, я тем самым борюсь за свободу и за справедливость для всех. Защищая мое человеческое достоинство, я защищаю также и достоинство этой страны, потому что такая страна, в которой людей держат взаперти, как скотину в загоне, может вызывать лишь презрение и отвращение.

Если Вы, господин секретарь, все же не сочтете возможным предпринять какие-либо конкретные шаги по этому делу, не найдете удобным обратиться к советской делегации при ООН, то я прошу Вас, по крайней мере придать гласности это мое письмо, потому что гласность это, в конце концов, тоже форма борьбы с несправедливостью.

При этом прилагаю копии моих двух писем, адресованных в Верховный Совет СССР.

Примите, господин секретарь, заверения в моем глубочайшем к Вам почтении.

5 февраля 1968 г.

*Мальцев Юрий Владимирович**
Москва, М-403
Бирюлево, 2-я Медынская 15.

---

* Мальцев Юрий Владимирович, 35 лет, окончил филологический факультет Ленинградского университета в 1955 году. В период с 1956 по 1962 год часто сопровождал в качестве переводчика приезжавшие в СССР итальянские делегации и отдельных деятелей итальянской культуры (среди них: Миланский Пикколо театр, «Римские виртуозы», Эдуардо Де Филиппо, Джузеппе Де Сантис, Джульетта Мазина, Джина Лолобриджида и др.), За все время в советской печати мной опубликовано следующее: перевод киносценария Ч. Дзаваттини «Я продаю свой глаз» («Искусство кино» № 9 за 1958 г.), перевод рассказа А. Моравия «Концерт Бетховена» (в сборнике «Римские рассказы», Изд. Иностранной Литературы, 1957 г.), перевод киносценария Де Сантиса, Гверра, Петри «Человек без воскресенья» («Дружба народов», № 2 за 1959 г.), перевод рассказа К. Монтелла «Случай в министерстве» («Огонек» № 43 за 1959 г.), перевод киносценария Де Сантиса и К. Альваро «Мы те, кто выращивает хлеб» («Искусство кино», № 10 за 1960 г.), перевод пьесы Л. Скварцина «Романьола» («Театр», № 5 за 1961 г.), перевод пьесы Г. Рокка «Бумажная гора» (Изд. «Искусство» 1962 г.), перевод рассказа А. Моравия «Ничего» («Литературная газета от 30 ноября 1963 г.), перевод рассказа А. Моравия «Рекомендация» («Знамя», № 6 за 1964 г.), перевод брошюры о Миланском театре Ла Скала (к гастролям в СССР, Изд. «Искусство», 1964 г.), перевод рассказов А. Моравия в сборнике «Дом, в котором совершено преступление» (Изд. «Прогресс» 1964 г.), фельетон «О чародеях и близоруких людях» (газ. «Коммунист», Ереван, от 17 дек. 1955 г.), статья «Познакомьтесь — театр Пикколо» (газ. «Советская культура» от 14 июля 1960 г.), статья «Мещане в раю» («Театральная жизнь» № 4 за 1962 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
т. Н. В. ПОДГОРНОМУ

Я, Мальцев Юрий Владимирович, пятнадцать месяцев тому назад подал ходатайство в Верховный Совет СССР, заявляя о своем отказе от советского подданства и о желании эмигрировать из Советского Союза, потому, что, будучи как по своему призванию так и по образованию литератором (я окончил филологический факультет Ленинградского университета и четыре курса сценарного факультета ВГИК'а) я лишен возможности заниматься в этой стране своим делом. Советские редакции отказываются печатать мои повести, мои рассказы и мои статьи в таком виде, в каком я их пишу, с теми мыслями, теми мнениями и теми настроениями, которые я в них выражаю: их либо вовсе отвергают, либо заявляют мне, что если я хочу их напечатать, то я должен переделать их в соответствии с указаниями редакции, то есть в соответствии с требованиями официальной советской идеологии и в соответствии с партийными установками. Но я не член этой партии, я не коммунист и не марксист и я не желаю выслушивать приказания коммунистической партии или, выражаясь вашим языком, ее «руководящие указания» и ее «постановления по вопросам искусства». Мне противно видеть, как литературу хотят низвести до уровня примитивной пропаганды, ибо нет ничего более противоестественного для искусства, как заставлять его служить политике и официальной идеологии. И в этом я совершенно солидарен с итальянскими коммунистами, которые вот уже несколько лет ведут по этому вопросу полемику с КПСС на страницах «Unità», «Contemporaneo», и «Rinascita», отстаивая автономию искусства, его независимость от политики и партийных программ и провозглашая терпимость к инакомыслящим. Мне чужда официальная советская идеология, так же как и этой идеологии чужды мой образ мыслей, мое мироощущение, мои настроения и мои вкусы, мой пессимизм, мой индивидуализм и мой скептицизм.

Пятнадцать месяцев прошло с тех пор, как я подал свое ходатайство, пятнадцать месяцев меня вызывают на допросы в различные инстанции Министерства охраны общественного порядка, где меня снова и снова заставляют объяснять причины

моего выхода из советского гражданства и затем заявляют, что мне не разрешат уехать из этой страны, прикрывая это ханжеским предлогом: потому, видите ли, что у меня нет родственников за границей. Какая трогательная забота о моем благополучии! Пятнадцать месяцев меня силой держат в этой стране несмотря на то, что Советское Правительство ратифицировало Всеобщую Декларацию прав человека, которая, следовательно, имеет для него силу закона,** в которой сказано, что каждый человек имеет право покинуть свою страну и которая гарантирует это право каждому человеку независимо от его религиозных, политических и прочих убеждений. Пятнадцать месяцев меня насильно держат в этой стране несмотря на то, что газета «Правда» (10 декабря 1965 г.) и ваш орган Верховного Совета СССР газета «Известия» (10 декабря 1965 г.) утверждают, что Советский Союз является чуть ли не единственной страной в мире, которая на деле и эффективно выполняет эту самую Декларацию прав человека. Газета «Известия» в своей лжи идет еще дальше: она прямо заявляет, что в этой стране никого не удерживают насильно и что тот, кто утверждает, будто здесь кого-то держат силой, тот клевещет на советские законы («Известия» 4 октября 1964 г. № 237 (14707).

Запрещая мне покинуть эту страну, меня тем самым приговаривают к духовному уничтожению, потому что как мыслящий человек и как самостоятельная личность я не имею права на существование в этой стране. Мне не кажется, что это намного гуманнее, чем физическое уничтожение людей, и во всяком случае это намного мучительнее.

Всякое уважающее себя правительство обычно высылает прочь из страны всех недовольных и считает, что оно наказывает человека тем, что лишает его своего гражданства, вы же, вопреки всякому понятию о достоинстве, считаете, что наказываете человека тем, что насильно удерживаете его в числе своих подданных.

Но я не намерен далее сносить это насилие и это надруга-

** При составлении письма я допустил неточность: декларация не ратифицирована, а подписана Советским Правительством и следовательно является добровольно принятым обязательством, а не законом.

тельство над моим человеческим достоинством, над моей свободой и над моими правами, не намерен сносить далее эту ложь и это ханжество.

Заявляю вам, что я более не являюсь гражданином СССР.

Я требую, чтобы мне немедленно было разрешено покинуть пределы этой страны.

Копию этого письма я направляю в Комиссию Защиты прав человека Организации Объединенных Наций.

15 марта 1966 г.

Мальцев Юрий Владимирович
Москва, М-403
Бирюлево, Восточная 15.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
т. Н. В. ПОДГОРНОМУ

В ответ на мое письмо от 15 марта 1966 года, копию которого я здесь прилагаю, мне было объявлено, что мое заявление о выходе из советского гражданства отклонено, то есть мне объявили, что меня и дальше будут насильно удерживать в этой стране и что я должен в принудительном порядке числиться гражданином СССР.

Вы, конечно, можете насильно держать меня в этой стране, вопреки всем вашим лживым заявлениям о правах человека; вы можете задержать мое письмо, адресованное в Комиссию защиты прав человека, что вы и сделали, несмотря на то, что конституция гарантирует мне неприкосновенность и тайну переписки; вы можете превратить меня в невольника, и уже превратили, но вы не можете заставить меня насильно быть гражданином вашей страны.

Я не могу быть подданным правительства, которое вынуждено прибегать к демагогии, лжи и нарушению собственных деклараций и законов.

Повторяю вам, что я не считаю себя больше гражданином СССР.

И вам придется признать этот факт, потому что только в соответствии с этим моим решением я буду дальше жить и действовать.

22 июля 1966 г.

Мальцев Юрий Владимирович
Москва, М-403
Бирюлево, Восточная 15.

НЕОЛОГИЗМЫ КАРАМЗИНА

В кн. 89 «Нового Журнала», в отделе библиографии, в отзыве о книге Л. Хиндли профессор Ю. Иваск пишет, что Г. Хюттль-Уорт «писала о неологизмах Карамзина (и их оказалось меньше, чем обычно думают)». Если профессор Иваск имеет в виду **Die Bereicherung Des Russischen Wortschatzes IM XVIII. Jahrhundert, Wien, 1956,** то надо сказать, что с выводами, опубликованными в этой книге, согласиться никак нельзя.

На страницах 43-45 этой работы г-жа Хюттль-Уорт указывает на неряшливость работ некоторых русских ученых. Поэтому мы вправе ожидать от нее более строгого отношения к своему труду. Но, к сожалению, этого нет. Например, слово БУДУЩНОСТЬ у Новикова и Карамзина имеет разное значение, чего г-жа Хюттль-Уорт не поняла. У Карамзина новое, современное значение, и поэтому, это, конечно, неологизм. Мы должны отметить, что г-жа Хюттль-Уорт некоторых неологизмов Карамзина просто не нашла. Например: МЛАДЕНЧЕСТВЕННННЫЙ, ВСЕТВОРЯЩИЙ и некоторые другие. В «Сочинениях Карамзина», Спб., 1848 г., т. 3, стр. 380 есть слово младенчественный а на стр. 449 и 451 — всетворящий. Именно этим изданием пользовалась Г. Хюттль-Уорт для своей работы. Поэтому ее фразы: «у Карамзина не найдено», «у Карамзина нет», — просто неверны. У нее нет даже тех неологизмов, на которые указал сам Карамзин. Например, из-за слова ДОБРОЕЗЖИЙ чиновник отказался принять объявление от Карамзина, заметив, что такого слова нет в русском языке. Карамзин поясняет, что это слово он сочинил по аналогии; см. М. П. Погодин, «Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам». М. 1866, часть 2, стр. 479. Этот труд также указан в библиографии Г. Хюттль-Уорт, как источник ее исследований.

В ее работе отсутствуют многие явные неологизмы Карамзина: — бастиды, беседник (член литературного общества Беседа), валь-

сировать, баваруаз (с пояснением Карамзина, горячий напиток), взяткобрательство, вич (называться вичем или полным именем), всеотносимость, всетворящий (о чем см. выше), газетир, гераклитствовать (с пояснением — мудрствовать), духопризывание, духопризыватель, жан-жакисты, женевохуление (бранить Женеву), карамзинолюбивый (любить Карамзина), куртизировать и т. д.

Слово ЛУНОТРЯСЕНИЕ недавно в СССР отнесли к новообразованиям, связанным с полетом на луну. Но оно появилось у Карамзина в «Вестнике Европы» за 1803 г., кн. 20, стр. 288. Его нет у Г. Хюттль-Уорт. Нет также и слова СЕРДЦЕНАБЛЮДАТЕЛЬ (сердцевед, психолог), появившегося в 1791 году у Карамзина. Нет слов: стиходей, стихоиды, стихолюбивый, эротохуление, платеры, нотицы и т. п. Отсутствие этих слов наряду со многими другими не позволяют нам никак согласиться с выводами Г. Хюттль-Уорт и с замечанием проф. Ю. Иваска.

Можно возразить, что некоторые неологизмы не вошли в общую сокровищницу русского языка, например: полулюди, получеловек (калека, урод) и т. п., но в поисках неологизмов мы не ограничиваемся только обще-русскими словами. У Г. Хюттль-Уорт в ее словаре много слов, не вошедших в обще-русскую речь и, тем не менее, зарегистрированных среди неологизмов.

П. П. Лапикен

ЗАМЕТКИ

Я думаю, что необходимо вскрывать пристрастие и отмечать однобокость в критических и научных трудах литературоведческого или философского содержания.

Я твердо убежден, что при сознательном желании быть объективным, объективность (конечно не полная, но все же достаточная) достигается. Нельзя «смешивать, как писал С. Франк, объективного познания с личным исповеданием».

Бывает так, что литературовед стремится доказать влияние одного автора, старшего годами, на другого, более молодого. И не сравнив точно годов первых изданий старшего и младшего, видя совпадения ряда мотивов в ткани сюжета, смело делает заключение. Известный югославянский ученый — Д. Прохаска в своей книге о Достоевском приводил схему сюжета романа Диккенса и схему «Неточки Незвановой». Казалось, влияние доказано. Однако, упоминаемый ученым английский роман был написан и издан несколькими годами позднее неоконченной «Неточки Незвановой». Для вполне обоснованной аргументации при утверждении влияния одного произведения на другое, по-моему, необходимо применять т. н. метод

цепных доказательств. 1) Утверждение года, если не написания, то работы над сюжетом и года выхода в свет. 2) Разработка мотивов и их сцепления в сюжетную фабулу. Сходства, отличия, приблизительные параллели. 3) Детали манеры изображать, стилистическо-фразеологические совпадения. Напр. попытки нового в перемене смысла или формы в фразеологических единствах, их переосмысление. Сюда же относятся особенности в лексикологии например, введение сказа, как метода изображения героев и обстановки. (Этот метод особенно разработан был Н. Лесковым, а взят частично от Даля, Гоголя и прежде всего Мельникова-Печерского). 4) Идеи и обрисовка героев. 5) Упоминает ли автор в своих произведениях, частных письмах, мемуарах и т. п. имя писателя или имена героев из его произведений. Если есть возможность, то изучение библиотеки писателя часто дает ключ к ряду его произведений. 6) Учитывание, т. наз., отталкивания от сюжета другого автора.

А. Бем в ряде статей старался уловить в творчестве Достоевского его ответы на тот вызов, который как бы делали ему романы и повести других писателей. Здесь особенно важно внимательное чтение черновиков и планов, заметок и набросков писателя. 7) Необходимо учитывать воспоминания современников, порою болезненно чутких к тем намекам в тексте, которых мы не замечаем. Конечно, современники тоже ошибаются. Критика типа Белинского проходила мимо крупнейших явлений и порою, не могла понять того, что нам кажется неоспоримым и ясным. Верить же утверждениям самих авторов-художников, следует только после проверки всех фактов. И часто авторы готовы отречься от своего детища по тем или иным причинам (Отрицание Пушкиным своего авторства «Гавриилиады»). Бывает, что автор не признает памфлета-карикатуры им написанной на определенное лицо или событие. «Крокодил» Достоевского — сатира на Н. Г. Чернышевского, на О. С. Чернышевскую и Добролюбова. Но автор этой сатиры против души «Современника» никак не хотел, при жизни, признать против кого направлено острие этого рассказа, чей стиль он пародирует, чьи слова приводит. Таких случаев в истории литературы не так уж мало. Поэму «Поп» ясно, что писал Тургенев, а признаться позднее, разумеется, он не хотел. 8) Проверка необходима и утверждений т. н. «авторитетных критиков», знатоков жизни великих писателей. Читая труд Бирюкова о Л. Толстом нельзя отделаться от чувства, что многое замалчивается, украшается влюбленным адептом. Другое, это следование своей схеме, желание высказаться не «о», а по поводу изучаемого, стремление излагать в основном свои мысли навеянные чтением другого. Этим грешат и Мережковский, и Бердяев, и столь многие иностранцы, писавшие томы по поводу Достоевского и Толстого. Их талант, их блеск стиля и мыслей соединенные с эрудицией и большой общей

культурой увлекали многих читателей. Но сами по себе труды эти объективного знания не давали. Читая труд человека критико-философской окраски надо все проверять и всегда быть начеку. Приведу хотя бы примеры из книги В. Зеньковского о Гоголе (1961 г.). Как известно, всю жизнь проф. Зеньковский работал над творчеством и биографией Гоголя, однако, вот что читаем мы на стр. 47 о «Старосветских помещиках». «...Необоснованно для читателя являются слова и о том, что добрая улыбка Пульхерии Ивановны была «уж чересчур *приторна*». Снова Гоголь подсыпает ненужной соли...» Ничего подобного в тексте у Гоголя нет: «Афанасий Иванович... всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица». Как всякому ясно, Гоголь дает лишь оправдание серьезности доброты Пульхерии Ивановны и никакой *соли* не подсыпает. Тот же В. Зеньковский на стр. 66 говорит об исключительной силе лирического вдохновения в «Мертвых душах», на стр. 232 утверждается «лирический строй души Гоголя» и сразу же: «Гоголю была чужда всякая лирическая восторженность, сентиментальность». Далее в главе пятой, вдруг подчеркивается, что «Гоголь был и остался всю жизнь романтиком, он жил своими мечтами и грезами...» и т. д.

Трудно отрицать очень хорошее знание античной древности, греческого языка, истории Д. Мережковским. У него одно время была и исключительная любовь — влюбленность в Элладу. И вот, Д. С. утверждал печатно, что де древние были столь целомудренны в поклонении красоте нагого тела, что на состязаниях голые гречанки не возбуждали, дескать, вожделения у наблюдателей мужского пола. За сим следуют дифирамбы духу Аттики. Не вдаваясь в детали нарисованной эрудитом картины, можем задать такой вопрос: а как же обстояло дело с юношами и подростками? Не распаляли ли их тела вожделений у мужчин склонных к т. н. «греческой любви»? Ведь есть даже постановления Афинского ареопага относительно купания юных граждан, дабы они не соблазняли тех кого в данное время не след соблазнять. И тут-то задаешь себе вопрос: знал ли Д. С. об этом? Ответ, — скорее всего — преотлично знал. Но стоило ли тогда петь дифирамбы целомудрию и чистоте нравов древних?...

И в литературе и в ее истории увлечение одной стороной нудит столь многих пренебрегать другими сторонами, другими элементами в составе сложного жизненного явления. А бумага, увы, многое терпит: и пристрастия и слепоту.

Р. П-в

АЛЫЕ ПАРУСА

В этом маленьком городке — Феодосии — жили четыре счастливых человека. Одним был Алексей Алексеевич, некогда судебный работник, теперь счетовод табачной фабрики (бывшей Стамболи). Вторым был мой муж, делопроизводитель местного Финотдела. И мы, их жены. Все были счастливы потому, что после ряда невзгодных лет нам, как казалось, удалось забиться в глухую щель, где все надеялись прожить маленькими незаметными людьми. Лет за 15 до этого я с мужем набрели на этот городок во время поездки по Черному морю из Севастополя в Батум.

Житейский уклад наш в Феодосии был несложен. С утра мужчины уходили на работу, я же с Верой Ивановной были заняты проблемой продовольствия.

Тихо проходили дни в небольших заботах и труде. В летнее время по вечерам мы обычно бродили допоздна́ по набережной. Зимой свой досуг проводили чаще всего в чтении. И вот в какой то день в нашем доме появился томик с рассказами Грина, который мы все прочли вслух сразу за один вечер.

Рассказы эти понравились нам и своеобразной фабулой и манерой письма; повесть же «Алые паруса» сразу всех очаровала так, что последующие дни мы все были под ее впечатлением.

Но бывают же в жизни курьезные совпадения: не прошло после этого и месяца, как однажды за обедом мой муж сказал:

«А я сегодня разговаривал с Грином». И сразу все окаменели, а потом заговорили все разом, посыпались вопросы и когда шум стих, муж стал рассказывать:

«Моя работа в Финотделе заключается в подготовке жалоб налогоплательщиков на обложение их налогами; жалоб этих всегда уйма, ибо, как правило, плательщиков на всякий случай переоблагают. Так вот подходит к моему окошку одна такая обложенная личность и подает заявление. Я читаю: «жалоба на обложение подоходным налогом», а внизу — адрес и подпись: литератор Александр Грин.

Как? Грин живет здесь, в Феодосии?, подивился я и даже переспросил: «Вы — Грин, писатель, автор такой чудесной вещи, как «Алые паруса»?»

Он усмехнулся, кивнул головой, а потом, словно смутившись, стараясь перевести разговор, стал жаловаться на то, что его обложили налогом на сумму вдвое большую чем он заработал, хотя пришедшему к нему для обследования агенту, он и предъявил договоры с издательствами.

Видя ошибочность этого обложения, я взял у него документы, приобщил к делу и успокоил Грина, заверив, что эта ошибка будет исправлена.

Виноват в этом оказался совсем еще неопытный парнишка, но с большим самомнением. Когда я спросил его что он там наворотил в деле Грина, несмотря на то, что в деле есть неоспоримые документы? Он ответил:

«А что мне документы? Я к нему захожу, а он сидит в столовой под люстрой с позванивающими стеклянными кандибоберами, пьет кофе, а на столе, как у настоящего капиталиста, лежит кусок масла не меньше, чем с полфунта. Ну, я и увеличил его заработок раз в пять! Ничего, уплотит!»

Тут все служащие начали меня расспрашивать, какой из себя Грин, на кого похож, какое производит впечатление...

«Да я его», говорю, «не раз встречал до этого в нашем городе, только не знал, что это Грин. Высокий, прямой, ходит всегда медленно, ни на кого, будто, не обращая внимания. Я, между прочим сказал ему, что читал с друзьями наднях его рассказы. Он спросил только, в каком издании, но постеснялся, показалось мне, задать вопрос, понравились ли они нам?

«Господа», проговорила Вера Ивановна «у меня родилась чудесная идея! Давайте зайдем как нибудь, гуляя, к Грину и скажем, что мы его почитатели, любим его рассказы, да сразу и заберем его к себе и тут с ним познакомимся!»

«Или вот, когда ты встретишь его еще в Финотделе, постарайся пригласить его к нам. Как было бы чудесно!» проговорила я.

«Пригласить Грина?, — переспросил муж. — Нет! Решительно отказываюсь! Вы не помните, разве, до каких мук доводили Чехова его поклонники. По-моему писатель любит своего читателя только издали».

Как то вышла я в послеобеденное время во двор, стала снимать белье и вдруг ахнула, когда, обернувшись, взглянула на море. Издали, на горизонте, показался корабль. Но это не был обыкновенный пароход с дымящимися трубами; нет, это плыл корабль, весь в парусах! Начинающее склоняться к закату солнце заливало его красным светом. Он был так необычайно красив! Я бросилась в дом. «Скорее», кричу, «выходите, по морю плывет сказочный корабль!»

И вот, все мы стоим у глиняного забора, восхищенно глядя вниз на раскинувшуюся перед нами синюю гладь с волшебным кораблем; стоим как зачарованные.

Трехмачтовый фрегат, на котором живописно укреплены рядами десятка два распущенных квадратных и треугольных алеющих парусов, плывет на нас. Все ближе и ближе эта сияющая громада белого корабля с алыми парусами, словно старинная испанская каравелла!

«Господа да это же корабль Грина с алыми парусами!», выкрикивает кто то.

Улицы были оживлены, в самый порт невозможно было пробраться; мы стояли в сторонке и наблюдали, как подъезжавшие один за другим ялики доставляли с корабля на берег молоденьких матросов, которые расхватывались толпой, главным образом девушками, как дорогие гости. Прибывшее судно оказалось учебной яхтой Севастопольской Морской Школы.

Вскоре, тихая, спокойная жизнь двух наших маленьких семей распалась также нежданно, как и создалась. Однажды муж встретился в городе с приехавшим сюда в дом отдыха бывшим своим приятелем по Орловскому Техникуму, где раньше они оба работали.

«Чего ты сидишь в этой дыре? Возвращайся!», уговаривал он мужа всякий раз, приходя к нам. «У нас все так теперь переменилось, жизнь вошла в норму, условия работы прекрасные, такие же как ты преподаватели во как нужны»...

Муж задумался, но когда к новому учебному году получил из Техникума официальное приглашение, то тлевшая внутри тоска по педагогической работе вспыхнула и решение было принято.

Через несколько дней мы уехали в Орел. Но переписка с Феодосией все время поддерживалась и однажды мы получили от Веры Ивановны такое письмо:

...«я оправилась от своего длительного малокровия и так окрепла, что поступила на работу и уже второй месяц работаю санитарным врачем. Тут я познакомилась и подружилась с женой писателя Грина (увы, она теперь вдова). Нина Николаевна тоже врач, мы вместе работаем и часто говорим о Грине. И вот что она рассказала мне: «Мужу всегда казалось, что его не знают, что у него нет читателей и он не раз говорил с горечью о том, как мечтает встретить хоть одного бы человека, который интересуется его книгами и читает их».

И еще она рассказала, что настоящая фамилия Александра Степановича была Гриневский; что Грин — это псевдоним и что родом он из Вятки. А ведь я сама родилась и до шестнадцати лет жила в Вятке!

И когда она мне об этом написала, я невольно вспомнила: «Так это же Сашка Гриневский! Боже мой! Ведь мы жили на одной улице с его семьей, через два только дома! Да ведь этот же Сашка был затейником всевозможных забав и игр в нашем детстве, отчаянным проказником, организатором и вожаком при набегах на чужие сады!

И как мне стало горько, что все это так поздно выяснилось? О, сколько было бы с ним интересных бесед и воспоминаний! А главное, какой бы сердечной теплотой окружили мы его в Феодосии, согрев своими заботами и вниманием, чего ему так недоставало!

Нат. Ельницкая

OXFORD SLAVONIC PAPERS

В 89 кн. «Н. Ж.» мы с сожалением сообщали, о прекращении издания тетрадей «Оксфорд Славоник Пеперс». Как мы узнали сейчас это ценное издание, слава Богу, не прекратится. Оно будет продолжать выходить под новой редакцией, в состав которой вошли проф. Джон Феннель, преемник проф. С. А. Коновалова по кафедре русской литературы, проф. Роберт Оти, преемник проф. Б. Г. Унбегауна по кафедре сравнительной славянской филологии и Джон Симмонс, известный библиограф и историк русской книги и русского книгопечатания. Сейчас подготовляется к выпуску тетрадь 14-я.

УХОД ИЗ ПЕНКЛУБА В ИЗГНАНИИ

Ввиду совершенно антиобщественных и непонятных мне по своим целям действий секретаря организации Драгомира Ненова и председателя Алгирдаса Ландсбергиса я не считаю для себя возможным состоять не только в правлении «Пен-Клуба в Изгнании», но и рядовым членом подобной организации. Сообщаю о своем уходе из нее и считаю общественно-полезным это заявление опубликовать.

Роман Гуль

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

ЗАПИСКИ РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В США. Статьи Н. Арсеньева, М. Полторацкой, Б. Одинцова, Г. Семенцова, С. Пушкарева, А. Боголепова, Г. Струве, Н. Лосского, Е. Спекторского, Д. Иванцова, К. Белоусова, А. Семенцова. Нью Йорк. 1967 (216 стр.)

ГРИГОРИЙ ВИНОКУР. *Маяковский — новатор языка.* Перепечатка моск. издания 1943 г. Примечания Д. Чижевского. Славише Пропилеен. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1967 (134 стр.)

БОРИС ЭЙХЕНБАУМ. *Лермонтов.* Перепечатка ленинград. издания 1924 г. Славише Пропилеен. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1967 (167 стр.)

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ. *Прозрачность.* Перепечатка москов. издания 1904 г. Вступление Иоганнеса Хольтхузена. Славише Пропилеен. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1967 (172 стр.)

МАНИФЕСТЫ И ПРОГРАММЫ РУССКИХ ФУТУРИСТОВ. Вступление В. Маркова. Славише Пропилеен. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1967 (182 стр.)

БОРЬБА. Центр. орган СБОРН. Янв. 1968, № 72. Год изд. 21-й.

Е. ДИМЕР. *Дальние пристани.* Стихи. Изд. Камкина. Вашингтон. 1967. (73 стр.)

М. ШИПОВНИКОВ. *Из чащи промелькнувших лет.* Стихи. Изд. Камкина. Вашингтон. 1967. (66 стр.)

БИБЛИОГРАФИЯ

ЗАПИСКИ РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ в С.Ш.А. Нью Йорк, 1967. Под редакцией Н. С. Арсеньева, А. А. Боголепова, В. Н. Литвиновича, Е. Т. и В. С. Федюкович и П. С. Шидловского.

Русские академические группы или союзы русских ученых образовались после 1918-1919 г.г. в ряде европейских столиц — в Белграде, Праге, Берлине, Париже и др. — из русских эмигрантов — профессоров, доцентов и молодых ученых, «готовившихся к профессорскому званию», когда все эти лица оказались вынужденными покинуть родину, порабощенную тоталитарным режимом, положившим конец свободе научного исследования.

В Европе русские ученые продолжали свою научную работу и — насколько позволяли средства — издавали свои труды, а иногда даже многотомные серии ученых трудов.

Политические перемены в Европе, происшедшие в результате второй мировой войны, вынудили не малую группу русских ученых — старых эмигрантов и бывших советских подданных — искать убежища в США, где в 1948 г. образовалась Русская Академическая Группа, бывшая сначала секцией **Association of American Foreign Scholars.**

Ныне Русская Академическая Группа, как особая организация, ставит своей целью издание трудов русских ученых, и в 1967-м году она издала, при поддержке **Humanities Fund** в Нью Йорке и Православного благотворительно-просветительного фонда в Сиракузах, свой первый сборник статей.

В отзыве об этом сборнике я выделю статью проф. А. А. Боголепова: «Православная Церковь в Советском Союзе», ибо статья эта и по своему размеру и по своему содержанию, по моему мнению, занимает первое место в сборнике и требует особого внимания. Об остальных статьях интересного и разнообразного по содержанию сборника я представлю лишь весьма краткий «отчет», называя автора и заглавие статьи и давая краткое резюме ее содержания.

В статье проф. А. А. Боголепова излагается история постоянной и систематической борьбы «советского» правительства против Православной Церкви и против религии вообще. Борьба эта началась под либеральным лозунгом «отделения церкви от государства» и продолжалась с непрерывным нарушением всех законов не только божеских и человеческих, но и советских.

В первые годы революции все имущество церкви было конфи-

скована государством. Множество храмов и монастырей было закрыто (добавим: множество епископов и священников были убиты или замучены в ссылке). Сохранившиеся церковные организации были лишены права вести религиозную «пропаганду» и заниматься благотворительной и просветительной деятельностью. Иерархический строй церкви был разрушен, архиереи были лишены власти над священниками; священники были лишены гражданских прав. Религиозные общины («двадцатки»), снимавшие «в аренду» церковные здания, были поставлены под неприязненный контроль местных органов власти. К 1941 г. в Сов. Союзе оставалось лишь около 10% православных приходских церквей из общего числа церквей, существовавших перед революцией.

И все же уничтожить Православную Церковь не удалось. В годы второй мировой войны, когда сов. правительству понадобилась мобилизация всех национальных сил для отражения страшного натиска гитлеровских армий, оно вспомнило и о той духовной силе, которая воплощалась в Православной Церкви, и пошло на примирение с ней (примирение, конечно, временное и лицемерное). Был восстановлен иерархический строй церкви. В 1943 г. был разрешен созыв собора епископов, который избрал митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. В 1945 г. следующий церковный собор (с участием клириков и мирян) избрал, на место скончавшегося патриарха Сергия, нового патриарха Алексия и принял (по соглашению с сов. правительством) новое «Положение об управлении Русской Православной Церкви». Прежние «двадцатки» были превращены в приходские общины, избиравшие приходский совет и ревизионную комиссию. Было разрешено открыть духовные школы (две духовные академии и 6 семинарий). Однако, вся жизнь церковных организаций была поставлена под бдительный надзор органов сов. власти: совета по делам Русской Православной Церкви (при совете министров РСФСР) в центре и его уполномоченных при местных советах.

В общем, разрешенные сов. правительством церковные реформы 40-х г.г. представляли собой, по выражению проф. Боголепова, «переход от открытой насильственной борьбы с религией к «холодной войне» под прикрытием перемирия». Сов. правительство стремилось использовать православную церковь как свое орудие в делах внешней политики, но внутри государства оно не хотело терпеть сколько-нибудь независимую духовную силу, и с конца 50-х годов начался новый нажим на церковь.

Множество церквей, открытых в 40-е годы, были снова закрыты: среди «ликвидированных» монастырей оказалась и Киево-Печерская Лавра. Надзор местных властей над церковными организациями и их вмешательство в церковную жизнь значительно усилились. К системе «регистрации» (т. е. утверждения в должности) присоединилась практика «снятия с регистрации», т. е. увольнение неугодных клири-

ков. В помощь местным уполномоченным Совета по церковным делам были организованы «комиссии содействия» при исполкомах, задачей которых была всесторонняя слежка за духовными лицами и за членами церковных общин, которые подвергались всевозможным притеснениям. Особенно настойчиво стремилась (и стремится) власть устранить от участия в церковной жизни детей и подростков (до 18-ти лет).

В 1961 г. священный синод православной церкви и затем собор епископов, по приказу правительства, приняли новые правила церковной организации: священники должны избираться приходской общиной; их исключительной компетенцией должно быть совершение церковных служб и треб, и они были совсем устранены от жизни приходских советов, поставленных под контроль местных горсоветов и райсоветов.

В конце своей статьи проф. Боголепов говорит о возникших в 1965-66 г.г. со стороны верующих и части клира протестах против новых гонений на церковь и искажений церковной организации, в частности, о заявлениях патриарху (и правительству) группы епископов, возглавляемых архиепископом калужским Гермогеном, московских священников о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина и мирян Кировской епархии. Послушная правительству патриархия покарала протестантов, но эти протесты, по мнению проф. Боголепова, «свидетельствуют о начале нового течения в жизни Русской Православной Церкви», и он заканчивает свою статью оптимистическими словами: «Когда советское правительство начало снова открытую войну против религии и стало отнимать данные ранее льготы, а иерархия продолжала безмолвно идти на дальнейшие уступки, то в разных кругах Церкви поднялся открытый протест против злоупотреблений администрации и уступчивости иерархии. Этот исповеднический протест знаменует начало новой фазы в жизни Русской Православной Церкви и других религиозных объединений в Советском Союзе».

В статье проф. Н. С. Арсеньева «Мои воспоминания о Московском Университете (1906-1910 г.г.)» автор пишет о своих выдающихся учителях (как В. О. Ключевский, Л. М. Лопатин, П. Г. Виноградов, А. И. Соболевский и др.), с которыми студенты находились в «личном тесном общении», и о славных традициях Московского университета, которыми были добросовестное искание истины, свобода научного творчества, уважение к человеческой личности, терпимость к мнениям инакомыслящих.

В начале XX века против этих принципов шел натиск теоретиков материализма и атеизма, — «догматическое, полное нетерпимости желание навязать узкое и скудное миросозерцание другим, с подавлением духовной свободы других», но «против этого духовного гнета восстала сама молодежь», что проявилось, в частности, в образовании и успехе Общества памяти известного философа-идеали-

ста кн. С. Н. Трубецкого, в которое входило около 300 студентов и доцентов Московского университета.

Профессор М. А. Полторацкая в статье «Советская аспирантура» рассказывает о своих наблюдениях и переживаниях в 1933-37 годах, когда она была аспиранткой в «институте языка и мышления» (в институте лингвистики) при Академии наук СССР. Эти годы аспирантуры прошли для нее «под впечатлениями двоякого рода: а) специфически советскими, т. е. устрашающими и подавляющими, и б) под обще-человеческими: радостно увлекающими и возвышающими». К первым относятся пичкание студентов «истматом» и «диаматом», политические чистки, сексотство, обыски: ко вторым — радость научного познания и творчества и общение с профессорами, которые оставались служителями науки и друзьями студентов.

В статье покойного профессора Б. Н. Одинцова: «Первые месяцы автономии в Московском университете»* рассказывается о борьбе умеренной части студенчества против диктатуры захваченного левыми партиями «центрального университетского органа» и руководимых им сходок, путем образования «Делегатского совета», состоявшего из представителей, избранных курсовыми собраниями.

Содержание статьи Ю. А. Семенцова: «Преподавание химии в средних школах Советского Союза в 30-х и 40-х годах» явствует из ее заглавия.

Статья С. Г. Пушкарева: «Русская земля в «бесгосударное время» (1606-1613 г.г.) говорит о том «смутном» времени, когда на Руси были номинальные, но безвластные «цари» — Василий Шуйский и второй Лже-Димитрий («Тушинский вор»), потом польский королевич Владислав — и когда страна находилась в состоянии внутренней анархии и под угрозой потери своей политической независимости: в 1610-12 г.г. польский гарнизон занимал Москву, шведы в 1611 г. заняли Новгород Великий с его областью. В это безотрадное время в стране началось (по инициативе патриарха Гермогена) широкое национально-патриотическое движение, центрами которого стали «посадские» (т. е. городские) общества средней и северной России. При отсутствии центральной государственной власти «земские люди» Московского государства проявили замечательную энергию и самодеятельность. Посадские «миры», возглавляемые своими выборными старостами, целовальниками и выбранными для этого советами «приговорных людей», находясь в непрерывных сношениях между собою, организовали сначала первое, потом второе земское ополчение, и (при поддержке патриотически настроенной части казаков) служилые и посадские люди взяли Москву и восстановили национальную верховную власть.

Литературовед проф. Г. П. Струве представлен в сборнике двумя «историко-литературными заметками»: 1. Об одном стихо-

* Это была осень 1905 года и зима 1905-6 г.

творении Валерия Брюсова, и 2) К истории получения И. А. Буниным нобелевской премии.

«Идеал-реализм против материализма» есть резюме доклада покойного проф. Н. О. Лосского, читанного им в Нью Йорке в сентябре 1953 года.

В статье покойного профессора Е. В. Спекторского: «Свобода и детерминизм» дается определение различных видов детерминизма. — «Человек это не механизм, а механик. Благодаря этому человек из раба природы превращается в ее господина. Но в других областях, помимо техники (где человек «освобождается от рабства природной необходимости»), деятельность человека регулируется сложными сочетаниями объективных и субъективных «регулятивов».

Проф. Д. Н. Иванцов в статье: «Хозяйство и нужда» возражает против положения, что «нужда» является «источником и движущей силой хозяйствования», и приводит «доводы в пользу следующих двух положений: 1) отношения между скудостью и хозяйствованием слишком сложны, чтобы их можно было уложить в одну формулу; 2) поскольку можно уловить какую-то общую равнодействующую этих отношений, есть все основания думать, что в своих наиболее острых проявлениях скудость во всяком случае препятствует, а не содействует развитию хозяйственной деятельности». В дальнейшем изложении автор устанавливает три следующих положения о соотношении «нужды» и хозяйственной деятельности: 1) «многообразие и качественная разнородность явлений, воспринимаемых нами как нужда»; 2) «многообразие и качественная разнородность душевных откликов на нужду со стороны нуждающихся»; и 3) «многообразие и качественная разнородность мотивационных и организационных установок борьбы за устранение скудости».

Проф. К. Г. Белоусов в статье: «Высыхание Каспийского моря» говорит об этом явлении и о проектах борьбы с ним.

Статья А. П. Семенцова: «Оптическая асимметрия и витализм», сопровождаемая множеством ссылок на специальную литературу, находится вне сферы моей компетенции.

Далее в сборнике следуют заметки о нескольких докладах, прочитанных в заседаниях Русской Академической Группы; био-библиографические заметки по поводу восьмидесятилетия проф. А. А. Боголепова и проф. Д. Н. Иванцова; некрологи проф. Б. Н. Одинцова и председателя Общества друзей русской культуры Г. И. Новицкого; несколько библиографических заметок о вышедших недавно книгах.

В заключение остается поблагодарить Правление Русской Академической Группы в США и редакторов «Записок» за их труды и заботы связанные с нелегким делом издания научных трудов и мемуаров русских ученых заграницей, и выразить пожелание, чтобы начатое ими благое дело успешно развивалось дальше.

С. Пушкарев

REQUIEM. ***Anna Ahmatova — Marie Under.*** Вступительная статья А. Раннита и эпилог Ф. Мориака. Международное Литер. Содружество. Нью Иорк 1967.

Два больших поэта — А. Ахматова и М. Ундер — сумели вернуть так называемой «гражданской поэзии» имя подлинной поэзии. Их «песни времени», несмотря на даты, поставленные под стихами, ощущаются, как безвременные, вечные. Ибо это песни скорби двух женщин, взявших на себя долг сказать за свой народ все — о войне, тюрьмах, страданиях. Мария Ундер, написавшая «Рождественский привет 1941 года», «Мать солдата», «Жалобу» и другие стихи о судьбе эстонского народа, потерявшего независимость в сороковом году, стала для своего народа в изгнании как бы символом самóй страны, самóй Эстонии. «Реквием» Анны Ахматовой ощущается русскими, и дома и в рассеянии, как написанный о них и за них. Ведь спросила же Ахматову у Ленинградской тюрьмы какая-то женщина: а *это* вы можете описать? — Могу, — ответила Ахматова и описала *это* за всех и для всех. Избрать «Реквием» для перевода для Марии Ундер было как бы продолжением своего собственного творчества. Мы знаем, что «Реквием» переведен на многие языки, но для Ундер, для всех эстонцев, эти стихи гораздо больше «о себе», чем для англичан или французов.

Перевод Марией Ундер сделан необыкновенно. Такие переводы редки. Ундер дает абсолютно точный перевод, в большинстве стихов это как бы полный текст — и все-таки это и эстонский стих Ундер и стих Ахматовой. Автор и переводчик идут вместе, в переводах не прибавлено, ни убавлено ни слова, но ощущения подстрочника нет. Это превосходные стихотворения. Особенно хорошо переведено восьмистишие «Тихо льется тихий Дон». Так же скупо, точно и художественно переведены стихи «Семнадцать месяцев кричу», «Приговор», «Распятие», «Эпилог». Я совершенно уверена, что если бы прочесть эти переводы человеку, не знающему эстонского языка, он по ритму, по мелодии мог бы угадать оригинал. Например, такое двустишие:

Муж в могиле, сын в тюрьме,	Poeg on vanglas, hauas mees,
Помолитесь обо мне.	Palvetage minu eest.

Книга эта, изданная на двух языках, русском и эстонском, предназначается, конечно, для эстонского читателя, знающего или не знающего русский язык. На эстонского читателя расчитано и предисловие эстонского поэта Алексиса Раннита. Его интересный и своеобразный анализ творчества Ахматовой и Ундер заканчивается словами: «'Реквием' и стихи Ундер на те же темы — лучшее доказательство того, что большие поэты могут создавать убедительное художественное воплощение даже самых страшных глубин человеческого унижения».

Т. Петровская

ART TREASURES OF RUSSIA. Text by M. Alpatov. Commentaries by O. Dacenko. Translated by Norbert Guterman. H. N. Abrams Publishers. New York. 1967 (plates 104 + p. 178).

В издательстве Харри Эбреймз вышел английский перевод книги советского искусствоведа М. В. Алпатова — «Сокровища русского искусства». Первоначально эта книга была издана во Франции по-французски. Теперь и США имеют этот роскошно изданный in-кварто труд с великолепно выполненными цветными репродукциями древних икон, церквей, шитья и церковной утвари. Все 104 репродукции снабжены подробными аннотациями Ольги Даценко, лектора при национальных музеях Франции. Из них читатель не только узнаёт дату и место возникновения памятника, но и находит пояснение иконографического сюжета с ссылкой на Евангельскую цитату там, где это требуется (черта, почти не практикуемая в советских изданиях). За исключением небольших оплошностей, вызванных очевидно двойным переводом текста, это издание приятно поражает своей солидностью, как в смысле высококачественных, не случайно подобранных иллюстраций, так и в смысле серьезной сопроводительной статьи М. Алпатова, известного искусствоведа, давно зарекомендовавшего себя тонким знатоком не только русского, но и мирового искусства.

М. В. Алпатов принадлежит к еще уцелевшей русской интеллектуальной элите. Будучи немногим старше 20 лет, окончив московский университет, он уже тогда побывал на Среднем Востоке, где знакомился с византийским искусством и собирал материал для диссертации. Вскоре он начинает печатать статьи в иностранных журналах, в чем ему помогает знание языков. В 1925 году, совместно с немецким византологом О. Вульфом он выпускает в Лейпциге великолепно иллюстрированную книгу о древнерусских иконах. В СССР он печатает ряд книг и монографий о русских и западных художниках. Но в 30-40 г.г. работать становится трудно. Только с середины 50 г.г. мы снова видим его работы в печати и среди них монументальный труд «Всеобщая история искусств». В 50-60 г.г. выходит ряд его монографий (о древних и новых художниках).

Алпатов не только тонкий знаток искусства вообще, это серьезный ученый, с большой широтой взгляда с глубоким знанием разных эпох и их культур. Нельзя, конечно, сказать, чтобы искусствоведческая работа такого самостоятельно мыслящего человека проходила гладко в несвободных условиях, в которых он живет; но очень крупные ученые, если им повезло уцелеть в годы сталинского террора, как-то могут работать.

Текст Алпатова в отчетной книге делится на вводную и основную части. Учитывая незнание западным миром предмета, надо отметить, что чрезвычайно ценна вводная часть.

Запад мало знаком с историческим да и всяческим православием (и в его византийском, и в русском преломлении), на котором основана иконопись, т. е. его проекция в изобразительное искусство. Иконопись — сложный вид большого искусства; и нужно многое знать, видеть и продумать, чтобы понять его. Книга Алпатова как раз и пытается ввести западного читателя в этот удивительный и необычный мир древнерусской иконописи.

В противоположность обычным поверхностным текстам, сопровождающим репродукции в таких парадных изданиях, автор в вводной части рассматривает ряд главнейших проблем искусства иконописи. Он указывает на ее происхождение из сложившейся византийской религиозной живописи со строгой богословской традицией, но в дальнейшем развившей свой особый стиль, оставшись, однако, в рамках раз установленной иконографии. Он правильно указывает и на то, что несмотря на некоторое разветвление на местные школы общая эстетическая концепция древнерусской иконописи в основном не меняется. Это искусство, говорит автор, несет в себе наследие большой эллинской эстетической культуры с привнесением восточного понимания цвета, двухмерного пространства и объемов, выраженных обратной перспективой. Высокий период русской иконописи, правильно отмечает автор, отличается от византийского ее удивительным декоративным чувством композиции, очень яркими, но гармоническими красками и мягкостью выражения ликов.

Работу Алпатова об иконах отличает и его большая осведомленность в мировом искусстве. Его постоянные ссылки на западные и античные памятники помогают читателю поставить искусство древне-русской иконописи в исторический ряд с прочими большими стилями мирового искусства. Очень интересно сопоставление автора древне-русских икон (не в смысле влияния, а параллельного художественного развития) с основоположником итальянской сиенской школы живописи, Гвидо да Сиена; или знаменитой «Троицы» Рублева — с аттическими надгробными стэллами V века до Р. Х. Есть и другие интересные сопоставления.

Но Алпатов не только историк искусства. Его сила — в глубоком интуитивном проникновении в памятники искусства и вскрытии тех эстетических законов, которым эти произведения подчинены. Понимание этих законов далеко не всегда дано созерцающим искусство. Сам Алпатов говорит, что современный человек, трагически раздираемый многими противоречиями, часто не в силах понять всю глубину мудрости, заключенную в этом, с поверхностной точки зрения, «детском» или «примитивном» искусстве.

Но есть у Алпатова и некоторые противоречия: считая искусство иконописи не церковным искусством, т. к. оно ставило перед собой эстетические цели, он сам указывает на то, что древнерусскими художниками обычно были или монахи, или служители церкви,

что не мешало (а возможно и помогало) им вносить в свои произведения, как и стилистические новшества, так и ту глубину духовности, которая и сейчас, по словам Алпатова, т. е. через много веков, продолжает оказывать свое действие на зрителей. Мы не будем по понятным причинам осуждать автора за такое резкое разделение понятия «церковности» и «духовности» в применении к России XIV-XV веков, по тогдашнему, Святой Руси, когда не могло быть и речи о какой то официальной (кроме разве византийской) церковной линии в противоположность какой-то иной, духовно-нецерковной, из которой якобы и родилась иконопись. Когда автор говорит о второй половине XVI и XVII вв., когда действительно эта официальная линия появилась, это понятно. Иконописное искусство этого времени, возможно под влиянием и этого фактора, начинает вырождаться, а в XVII веке, оказавшись в тесном соприкосновении с Западом, и вовсе теряет свою самобытность.

Другой явной натяжкой автора является его утверждение о гуманистическом направлении иконописи XV века. Понятие гуманизма, т. е. проникновения человеческих элементов в противоположность церковно-теократическим в жизнь, культуру и стиль искусства, связанного обычно с эпохой Возрождения на Западе, совершенно неприменимо к древнерусской иконописи.

Неправильно брать термин, исторически связанный с эпохой Возрождения на Западе и механически пересаживать его в историю развития иконописи. Не говоря уже о том, что и само понятие «Возрождения» и связанного с ним гуманизма, разработанного Буркгартом, даже в приложении к Западной Европе подвергается пересмотру в науке. В древнерусской иконописи такого «Возрождения» и связанного с ним гуманизма не было вовсе. Искусство иконописи испокон веков было связано и построено на греческой художественной традиции, и от этой традиции, как и от канонической иконографии, оно никуда не отходило в период своего расцвета. А ее исключительная духовная направленность покоилась на непоколебимой вере в Бога и на выработанных канонах православной Церкви. Вера и Церковь были тем организующим и исторически-новым фактором, который и породил русскую иконопись. Прерванное на столетие трагическим нашествием монголов, в XIV веке, в момент творческого созидания русского государства это искусство возникает вновь на прежней основе и тут-то и создается самый высокий и тонкий стиль иконописи — искусства абстрактно-духовного по самой своей сути. Но и в этом, совершенно очевидном случае, учитывая несвободные условия работы в СССР, мы не можем винить автора в употреблении ставшего в Советском Союзе крайне ненаучным и даже вульгарным понятия «гуманизм». К этому же относится и утверждение автора, что в знаменитой «Троице» Рублева передана физическая красота человеческого тела. Считая «Троицу» Рублева

исключительным по художественной высоте памятником мы никак не можем согласиться с этим утверждением. Мы чувствуем несомненную красоту в фигурах ангелов, но красота эта совершенно иного порядка. И в этой красоте не последнюю роль играет строгая каноничность стиля. При этом вся вещь дышет античностью в ее лучшем высоком смысле. Не в очеловечивании, не в анатомии и не в физической красоте тут дело, а в чем-то совершенно ином, о чем далее говорит нам и сам автор: «Бесконечный мир значений открывается ему (зрителю). Глядя на этих трех крылатых юношей он соприкасается, так сказать, с тайной вселенной».

Характеризуя иконопись, сам Алпатов говорит, что не сами вещи мы видим изображенными на иконах, а суть вещей. Очень правильна также его мысль о том, что в иконах нет явной аллегоричности, такой типичной для западного средневекового искусства. Иконы по сути своей глубоко символичны, говорит автор, но эти символы скрыты и не так легко неподготовленному человеку проникнуть в них. Отсюда частое непонимание иконописи.

Подытоживая все основные художественные черты иконописи на ее взлете автор очень верно отмечает прекрасно уравновешенную композицию, лаконизм, отчетливую силуэтность, гармоническое сочетание ярких тонов, ритмическую повторность линий, плоскостность, объемы, переданные обратной перспективой и пр.

Переходя к фактическому материалу Алпатов придерживается принятого хронологического порядка и указывает на самые характерные памятники для различных эпох и школ иконописи. Древнейшие русские иконы XII-XIII вв. писаные на досках неизвестными мастерами и несущие на себе еще сильное византийское влияние автор все-таки распределяет по местным школам. Он дает образцы Киевской школы, Новгородской и Владимиро-Суздальской. Он утверждает, и не без основания, что подобных икон в самой Византии не существовало и это дает ему право считать эти памятники русскими. К середине и концу XIV в. Алпатов относит два чрезвычайно важных события в художественной жизни древней Руси. Первое — это приезд на Русь греческого иконописца Феофана, большого мастера, привезшего с собой веянья искусства эпохи Палеологов и идеи исихазма, но работавшего на русской почве в тесном согласии с русскими вкусами и традициями. Второе событие — это создание в Благовещенском соборе в Кремле первого высокого иконостаса, т. е. соединения икон, связанных одной общей богословской идеей. По правильному утверждению Алпатова иконостас в его развитом виде есть создание чисто национальное, русское.

Уже давно специалисты научились различать Новгородскую школу иконописи XIV-XV вв. от Московской того же времени, но именно Алпатову принадлежит стилистическое вскрытие этих двух направлений. Если в новгородских иконах, говорит автор, мы ви-

дим больше черт народных, и в типах лиц, и в стремлении к живому повествованию, и во внедрении оцерковленного быта в изображения, и, наконец, в любви к локальным тонам — то в московских иконах, более верных высокой античной традиции, мы имеем непревзойденный духовный смысл, выраженный более утонченными художественными средствами с разработанным колоритом полутонов. Из послерублевской эпохи автор выделяет одну икону «Апокалипсис», близкую по стилю к мастеру Дионисию. Указывая на бóльшую общую драматичность этой иконы, по сравнению с иконами Дионисия, автор подчеркивает стремление этого неизвестного художника подражать классическим образцам. Он называет его «Кремлевским мастером» (икона происходит из Успенского собора в Московском Кремле).

В отчетной книге Алпатов очень бегло касается древнерусской архитектуры. По его мнению при возведении церквей строители учитывали особенности русского пейзажа. Строительство больших соборов в Кремле автор связывает с желанием московских властителей поднять значение столицы и своего авторитета. Дóльше автор останавливается на шитье, тоже высоком искусстве, созданном женщинами древней Руси. В упадке иконописного искусства во второй половине XVI века Алпатов винит ставший слишком ощутимым контроль власти и Церкви. Процесс этот, конечно, более сложен.

За небольшими оговорками мы можем только приветствовать прекрасную и серьезную книгу М. В. Алпатова с великолепно выполненными и интересно прокомментированными репродукциями.

Н. Ильинская

М. БУЛГАКОВ. *Мастер и Маргарита.* ИМКА-Пресс. Париж. 1967.

В 1966-67 г.г. в журнале «Москва» был напечатан роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Роман этот имел большой успех и в СССР и за рубежом. Издательство ИМКА-Пресс в Париже выпустило роман отдельным изданием. Лондонское изд-во Харвилл-Пресс опубликовало роман по-английски и несколько позднее этот же перевод появился в американском изд-ве — Харпер и Роу (перевод М. Глинни). Одновременно другое американское изд-во, Гров-Пресс, выпустило еще один перевод «Мастера и Маргариты» (перевод М. Гинзбург). Теперь известно, что по рукописи Булгакова «Мастер и Маргарита» печатавшейся в журнале «Москва» прошелся карательный карандаш советского цензора. Многие места оказались вымараны, главным образом, по политическим мотивам.

Над романом «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков работал двенадцать последних лет своей жизни. Я думаю, что он сознавал, что рукопись его обречена лежать долгие годы в ящике письменного стола.

«Мастер и Маргарита» — исторический роман (о последнем периоде земной жизни Христа и о мучениях совести Понтия Пилата) внутри другого романа (о советской действительности), представляющего собой сюрреалистический гротеск, который по глубине мысли, по художественным достоинствам, по сатирической изобразительности, по смелости фантазии не имеет, по-моему, равных в современной русской литературе.

Роман о Христе и Пилате написан мастером, который является главным и положительным героем романа. Роман этот выстрадан его автором, и утверждение земной жизни Христа — одна из главных тем, которой мастеру удается достигнуть, но — страшной ценой: мастер теряет рассудок.

В своей книге «Иисус Неизвестный» Д. Мережковский приводит ряд неоспоримых свидетельств тому, что Христос действительно жил, и говорит, что если все эти свидетельства, как точки, соединить линиями, то получится не мифическая фигура, а историческое тело, имя которому — Христос. Булгаковский Мастер, утверждая реальность земной жизни Христа, идет иным путем: обладая литературным талантом и силой выстраданного убеждения, он вселяет в читателя нерушимую веру в подлинность евангельских описаний земной жизни Христа. К утверждению подлинности земной жизни Иисуса мастер приходит путем преодоления мучительных сомнений и колебаний. Когда читаешь страницы о Христе и Пилате, создается впечатление, что роман построен как опровержение высказываний тех, кто ставят под сомнение земную жизнь Христа. До некоторой степени все повествование в целом и особенно диалоги Пилата с Христом можно рассматривать как дискуссию с многотомным трудом известного ученого и революционера Николая Морозова о Христе, особенно в той его части, которая имеет отношение к прокуратору Иудеи Пилату, земное существование которого надо считать доказанным.

Для Морозова характерно, что в своем труде о Христе он хоть и отрекается от вульгарного богоборчества, но не раз поддается соблазну утверждать, что существовал скорее миф о Христе, а не Христос как лицо историческое. В крайнем случае, исторический Христос, по Морозову, почти ничто по сравнению с мифом о Христе. Но вот Понтий Пилат для Морозова оказался камнем преткновения, который трудно убрать с дороги. И если Морозов пытается перенести Христа из истории в мифологию, то Пилат упорно держит его на территории истории. В одной из записных книжек Морозов выдвигает даже такую гипотезу: а что случилось бы, если бы Понтий Пилат, вопреки требованиям первосвященников, отпустил Иисуса а не Варраву? Тогда, по Морозову, христианство — не как религия, охватившая почти полмира, а всего на всего как секта — может быть продержалось сравнительно недолго.

У Булгакова, его мастер — образованный, начитанный человек заинтригован фигурой Понтия Пилата не меньше, чем Морозов. И совершенно обдуманно мастер делает образ Понтия Пилата краеугольным камнем своего повествования. Именно противопоставляя Христа Пилату, мастер приходит к заключению, что муки и страдания Христа — неотъемлемая, бесспорная историческая правда. И весь этот исторический роман можно было бы назвать Евангелием от Пилата, апокрифом о Пилате, если бы мастер словами Христа не осудил прокуратора Иудеи.

В этом осуждении — ключ не только к пониманию исторического романа, написанного мастером, но и к пониманию того сюрреалистического гротеска, внутри которого дан этот роман, то-есть — ключ ко всей композиции. В сокращенной версии романа этот «ключ» вычеркнут цензурой. В полной же версии он есть, это — разговор Пилата с начальником тайной службы. Разговор уже после смерти Христа. Пилат спрашивает, не пытался ли распятый что-либо проповедывать солдатам, и начальник стражи припоминает, что в последние мгновения жизни Христос сказал, что одним из самых главных человеческих пороков он считает трусость. И далее мы узнаем, что Пилата начинает мучить мысль: — не относятся ли эти слова Христа прямо к нему?

Древний Рим — государство жестокое, и человек в нем — будь это сановник, как Пилат, или солдат, забивающий гвозди в тело Христа — боится сделать свободный выбор между добром и злом. (Ведь и Пилат и солдаты чувствуют к распинаемому не злобу, а скорее симпатию и жалость). Но этим всеобщим страхом вызвана та трусость, которую Христос в повествовании мастера называет одним из главных человеческих пороков.

Пилат у мастера мучится и внутренне раскаивается в содеянном, причем эти мучение и раскаяние продолжаются две тысячи лет, уже в загробной жизни Пилата, пока Маргарита не вымаливает ему снисхождение у князя Тьмы. Пилат, по мастеру, достоин снисхождения потому, что он невольно оказался косвенным виновником торжества христианского вероучения на протяжении двух тысяч лет человеческой истории.

Теперь обратимся к сюрреалистическому гротеску, внутри которого заключен исторический роман мастера о Христе и Пилате. Весь этот гротеск построен на контрасте двух планов: реалистического и фантастического, причем и реальное и ирреальное пронизаны у Булгакова горестной иронией. Я не знаю другого сатирика, который создал бы столь смелые, правдивые и выразительные карикатуры на советского человека и на ту атмосферу тридцатых годов, которая сплющивала и уродовала и жизнь, и духовный и нравственный облик человека. Перефразируя Пушкина, об этом плане «Мастера и Маргариты» можно сказать: здесь советский дух, здесь пах-

нет советчиной, застигнутой врасплох и показанной без всяких преувеличений. При чем эта серая, унылая, неприглядная советская действительность является резким контрастом с той ослепительной фантастикой, в которой Булгаков проявляет исключительную щедрость и изобретательность. Временами кажется, что вымыслы Гофмана и Гоголя воскресли под пером Булгакова.

У Булгакова человек, живущий в условиях советской действительности, не только боится сделать правильный выбор меж добром и злом, но сплошь и рядом утрачивает всякое различие между этими понятиями. Древний Пилатов грех тяготеет над советским человеком, хотя, как и Пилат, человек этот достоин и сочувствия и сожаления. Так, одна и та же тема перекинута, как висячий мост, от сюрреалистического гротеска к историческому роману внутри его. И все же в стране несвободы и гнета остаются подвижники и правдоискатели, которые перешагивают через страх, не считаясь с последствиями. Этих людей не запугаешь ни репрессиями, ни террором. У Булгакова к ним принадлежат и мастер, написавший роман о Христе, и поэт Иванушка Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный. К мастеру Булгаков относится с любовью, к Иванушке — с доброжелательной иронией. Но Булгаков в советской действительности видит не только людей утративших совесть, но и человека, обретшего ее. И те и другие показаны Булгаковым психологически убедительно. «Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Маргарита в романе Булгакова одержима именно такой любовью, и ее одухотворенность охраняет ее.

Я думаю, что роман «Мастер и Маргарита» — событие в русской пореволюционной литературе и подтверждение того, что Михаил Афанасьевич Булгаков был одним из самых выдающихся русских пореволюционных писателей.

Вяч. Завалишин

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА. *Душа вещей.* Советский писатель. Москва, 1966, стр. 148.

В ежегодных сборниках «День поэзии» принимают участие десятки поэтов. Увы, не хватает времени для чтения всех этих сотен, тысяч стихов! И далеко не во всех — ночевала поэзия. Вот здесь поразила строка, там — целое стихотворение, но редко запоминается лицо автора.

В этой новой продукции есть некоторый новый тон, есть *новь*, но черты, свойства, качества ее еще трудно определить.

Есть вещи, и у каждой вещи своя душа, понятная душе поэта. Налаживается душевная связь с окружающим миром. Это — тема поэзии Новеллы Матвеевой, и у ней, несомненно, есть *свое лицо.*

Ее привлекают очень разные вещи: ёж, лес, кувшинка, баклажа-

ны, водопад, пингвины; вдохновляют Матвееву и вещи отвлеченные, понятия: терпение, бессмертие, совершенство, гармония. У ней зоркий глаз на детали и, вместе с тем, есть воображение. Она везде ощущает загадочные соответствия между разными предметами. Ее радует особенная, непривычная, будто бы «бессвязная связь с вещами». Матвеева знает, что мир — един и, если «покопаться», то станет очевидным, что все в мире тесно связано:

Марс, Афины и старый башмак,
Шквал, корзина, известка,
Страшный суд и дорожная грязь.

Да, и Страшный суд тоже упоминается в этом лирическом «наборе слов». Правда, апокалиптика Матвеевой — не религиозная, а историческая, «атомная». При этом она верит, что «атомы за нас», и кто-то в предсмертную минуту догадается, что «входят в яд и ад противоядье и противоадье». Верит она и в то, что творчество по ту сторону смерти: даже светопреставление не помешает художнику поглядывать на свой последний мазок с «критическим прищуром».

Г. П. Федотов напомнил в одном из своих очерков слова католического святого — Алоисиа Гонзаги. Он играл в мяч и кто-то спросил его: — Что ты будешь делать, если через час наступит конец мира? Юный иезуит ответил: — Я буду продолжать игру. — Из этого Федотов выводит «максиму»: твори так, как будто мир никогда не кончится и, вместе с тем, помня о том, что завтра может наступить конец света. Новелла Матвеева, наверно, подписалась бы под этой «максимой», если бы ее знала.

Лучшие стихи Матвеевой — легкие, веселые, с причудами:

Дай мне задержаться
На пороге полдня,
Дай облокотиться
О косяк луча.

Матвеева склонна и к размышлениям. Что такое гармония? — спрашивает она. Это —

Не смятенье,
А полный статуй сад, да бабушкин рассказ,
Да яблони крахмальное цветенье.
Не зли меня, гармония! Но шествуй не спеша!
Не будь ты никогда! Иль будь вовеки...
Ты хороша гармония, но *слишком хороша*,
О слишком хороша для глаз калеки!

Глаза калеки — это вечная укоризна из философии Ивана Карамазова, который не прощал гармонии слезинку безвинно замученного ребенка.

Матвеева пишет и сатирические стихи, и в них часто жертву свою она метко и весело подстреливает. Есть у Матвеевой и лирическая энергия. Она чем-то сродни Цветаевой. Иногда в ее стихах слышит-

ся цветаевское «постукивание» слов: Лак,/Ты мой враг... Метрика ее скорее традиционная, консервативная. В языке не мало своеобразия, например, — разговорные выражения в философских стихах.

Творческий оптимизм Новеллы Матвеевой близок оптимизму Николая Моршена. Но, как и Моршен, она знает, что во внешности вещей, и в их душе — не только свет, но и тени. Она также знает, что ничего даром не дается, что гармония не восторжествовала и, поэтому, нуждается и в защите, и в оправдании.

Ю. Иваск

EUGEN LYONS. ***Worker's Paradise Lost. Fifty Years of Soviet Communism.*** **Funk and Wagnalls. New York. 1967 (387 pages).**

Автор отчетной книги — Юджин Лайонс, известный американский публицист, один из руководителей журнала «Ридерс дайджест». Лайонс автор многих книг: «Назначение в утопию», «Сталин, царь всея Руси», «Красное десятилетие», «Народы России — наши тайные союзники» и др.

Россия и российский коммунизм давно привлекают внимание Лайонса — и тогда, когда он сочувствовал коммунистическому движению, и позже, когда глубоко разочаровался в нем, став его непримиримым врагом. С 1928 по 1934 год Лайонс был московским корреспондентом американского агентства «Юнайтед пресс». Хорошо владея русским языком, Лайонс в Советском Союзе мог многое наблюдать и многое видел. В 1930-ом году Сталин дал Лайонсу первое интервью.

Порвав с коммунизмом, Лайонс остался верным другом России и русского народа. И свою книгу «Потерянный рай трудящихся» он посвятил «народам России — первым и наиболее потерпевшим жертвам коммунизма». В своем предисловии Лайонс пишет: — «В сегодняшнем, быстро и непрестанно меняющемся мире 50 лет равны нескольким столетиям былых эпох... И теперь как раз наступило время для ясных и определенных оценок. Чего же достиг советский коммунизм?»

В первых главах книги Юджин Лайонс ставит три важных вопроса. Можно ли считать, что коммунизм удержался у власти благодаря каким-то действительным преимуществам социализма и может ли социализм, (не как теория, а как практически существующая в СССР система) быть положительным примером для других стран, особенно для слаборазвитых государств? И дальше: — достигнуты ли в СССР цели, провозглашенные идеологами комунизма в 1917-ом году?

Отвечая на эти вопросы, Лайонс пишет, что прежде всего надо бы точно выяснить, сколько миллионов людей за эти 50 лет погибли от террора, насильственной коллективизации, концлагерей. И не луч-

ше бы было для страны и народа не проводить доктринерские коммунистические «эксперименты», а сохранить жизнь этих десятков миллионов людей? Лайонс указывает, что за последние 50 лет все передовые страны достигли бóльшего прогресса чем СССР, не лишая своих граждан ни политической, ни духовной свободы.

Говоря о целях революции, Лайонс пишет, что Ленин когда-то до революции ратовавший за землю крестьянам, за амнистию политическим заключенным, за свободу слова, собраний и печати и за другие демократические свободы, этот же Ленин, захватив власть, установил небывалую в мире тотальную диктатуру.

Далее Лайонс задается вопросом: чем же объяснить длительность диктатуры коммунистов? И отвечает: главным образом мощью полицейско-террористической машины коммунизма, но отнюдь не жизнестойкостью режима, как такового.

Большой раздел книги Лайонса назван «Миф и реальности». Здесь автор рассматривает всевозможные мифы, созданные в СССР партийной пропагандой. Здесь и миф о том, что большевики якобы пришли к власти в результате восстания рабочих и крестьян под руководством компартии. И миф о том, что дореволюционная Россия будто бы была необычайно отсталой и экономически, и культурно и духовно. Опровергая это, Лайонс ссылается на статистические данные, показывающие, что с 1885-го по 1899-ый год, а также с 1907-го по 1913-ый год средний годовой рост промышленного производства в России был выше, чем в Соединенных Штатах, Великобритании и Германии. В 1912-ом году Россия вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов по сооружению сети железных дорог. И вплоть до 1917-го года Россия производила столько хлеба, что его хватало не только уж для собственного потребления, но и на экспорт. Лайонс пишет: — «Среди главных индустриальных стран Советский Союз представляет собой единственный парадокс: по валовой продукции он на втором месте в мире и уступает только Соединенным Штатам, а по производству предметов потребления на душу населения — на 20-ом...»

Далее, Лайонс указывает, что культурный и духовный уровень дореволюционной жизни России был очень высок и во многом выше уровня многих других европейских стран. Разбор этой чрезвычайно полезной для иностранцев книги мы закончим такой выдержкой из нее: — «Чувство уважения к долголетним страданиям русских людей говорит нам, что нельзя стараться отыскивать какие-то незначительные положительные показатели в системе, повинной в таких великих преступлениях. Нельзя приписывать советской олигархии успехи, достигнутые народами России, вопреки всему уродству тоталитарной системы».

Книга Юджина Лайонса «Потерянный рай трудящихся» исключительно ценна по своему анализу, как истории СССР, так и совре-

менной советской жизни. Отметим к тому же, что она блестяще написана и читается с большим интересом.

Л. Земельс

PAUL DEBRECZENY. *Nikolay Gogol and His Contemporary Critics.* Transactions of the American Philosophical Society. The American Philosophical Society. Philadelphia, 1966.

В отчетной книге Дебрецени рассматривает отзывы о Гоголе его современников в связи с их философскими, социальными и политическими взглядами. В книге особенно хорошо освещен вопрос об изменении отношения Белинского к Гоголю в связи с переменами в политических взглядах известного критика. В своем анализе отношения критиков к Гоголю, Дебрецени старается быть объективным. Но когда речь заходит об отношении Гоголя к критикам, то у автора порой прорывается странное осуждение Гоголя.

На основании сопоставления «Выбранных мест из переписки с друзьями», «Ревизора» и «Мертвых душ» Дебрецени определяет «Выбранные места» — «как смесь размышлений на социальные, религиозные и литературные темы», в которых Гоголь смешал эстетику с социальным дидактизмом. Дебрецени считает, что статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) и отрицательная оценка Сенковским «Ревизора» послужили толчком к философскому морализаторству Гоголя, наиболее ярко проявившемуся в «Выбранных местах». В этом утверждении — не только, по нашему мнению, неверная отрицательная характеристика Гоголя как человека, неспособного на самостоятельные решения, но есть здесь и некоторое хронологическое несоответствие.

Статьи об эстетике напечатаны Гоголем в «Арабесках», но написаны они в 1831 г., а рассказ «Портрет» впервые был окончен в 1834 г. Это доказывает, что Гоголь был знаком с философией немецкого идеализма и знал о теургической роли поэта задолго до упомянутых отзывов Белинского и Сенковского. Некоторое осуждение автором неустойчивости характера Гоголя видно и в анализе его взгляда на «Ревизора». Дебрецени различает тут четыре фазы. Сначала Гоголь не видел в «Ревизоре» никакой социальной или политической критики, затем вторая и третья фазы: он стал рассматривать свою комедию как социальную и политическую критику. Четвертая фаза, по мнению Дебрецени, восходит к 1842-му г., когда Гоголь видит в «Ревизоре» только отражение своих собственных душевных недостатков. Вначале своего анализа взглядов Гоголя на «Ревизора» Дебрецени старается как-то обосновать свои утверждения, но под конец он неожиданно заявляет, что Гоголю «нельзя верить». Дело в том, что в 1841 г. Гоголь напечатал свой известный «Отры-

вок из письма ... к одному литератору», указывая, что письмо это было написано 25-го мая 1836 г. Если это так, то этот отрывок мог бы служить доказательством, что Гоголь всегда рассматривал «Ревизора» в плоскости морали, а вовсе не как политическую или социальную критику. Дебрецени предпочитает, однако, не верить Гоголю, ссылаясь на то, что и бóльшая часть «Театрального разъезда» тоже была написана только в 1842, а не в 1836 году, как утверждал Гоголь. Дебрецени приписывает также Гоголю только социальное и политическое истолкование «Мертвых душ», не находя никакой существенной разницы между ними и «Ревизором». Идея о трилогии в духе Данте пришла Гоголю якобы только после отрицательных рецензий на «Мертвые души». Критика личности Гоголя занимает центральное место в книге Дебрецени; она основана на спекулятивном анализе «Выбранных мест...», как и вся прежняя критика такого рода.

Нам представляется неоправданным суровое осуждение таланта Гоголя на основе лишь этой его книги. Только художественные произведения Гоголя, а не его морально-философские суждения могут служить для этого материалом.

Несмотря на все это книга Дебрецени ценна хорошим изложением мнений критиков-современников о творчестве Гоголя дающих не только картину отношения отдельных критиков к Гоголю, но и их взаимоотношений между собой. Исследование Дебрецени прекрасно документировано и на английском языке является первой книгой такого рода.

Г. Мотолянец

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 89 «Н. Ж.» в статье Н. Ульянова «О сути», которая набиралась в большой спешке, надо сделать следующие исправления: на стр. 68, 8-я строка снизу должна читаться «обогащает мир благородным металлом» и на стр. 76, 16-я строка сверху должна читаться: «не получили отповеди Бунин и Маковский», а 25-я строка сверху должна читаться: «Серьезнее обстояло с Маковским».

В стихах Н. Моршена «Своеволье», стр. 55, 11-я строка должна читаться: «Так в любви — твоеволье».

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Н. УЛЬЯНОВ. *Диптих.* Изд. автора. Нью Иорк. 1967 (226 стр.)

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. *На берегах Невы.* Изд. кн. маг. В. Камкина. 1968 (491 стр).

Д. ГОРБАЦЕВИЧ. *Два месяца в гостях у колхозников.* Изд. автора. Нью Иорк. 1967. (159 стр.)

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1968 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)
Цена одной книги — 3 долл.
Во Франции — 10 франков

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.